

Наринэ Абгарян

KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



31000039390433

СИМОН



KC
KING
COUNTY
LIBRARY
SYSTEM

KIRK

Наринэ Абгарян

СИМОН



Москва

Издательство АСТ

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос = Рус)6
А13

Серия «Люди, которые всегда со мной»

Дизайн обложки: *Юлия Межова*
На обложке использована
иллюстрация *Юлии Межовой*

В оформлении книги использованы
иллюстрации *Соны Абгарян*

Абгарян, Наринэ
А13 Симон / Наринэ Абгарян. — Москва: Издатель-
ство АСТ, 2021. — 349, [1] с. — (Люди, которые
всегда со мной).

ISBN 978-5-17-127547-1

В маленьком армянском городке умирает каменщик Симон. Он прожил долгую жизнь, пользовался уважением горожан, но при этом был известен бесчисленными амурными похождениями. Чтобы проводить его в последний путь, в доме Симона собираются все женщины, которых он когда-то любил. И у каждой из них — своя история.

Как и все книги Наринэ Абгарян, этот роман трагикомичен и полон мудрой доброты. И, как и все книги Наринэ Абгарян, он о любви.

© Наринэ Абгарян, текст, 2020
© Юлия Межова, обложка, 2020
© Сона Абгарян, иллюстрации, 2020
© ООО «Издательство АСТ», 2020

Моему сыну

ПРОВОДЦЫ



У Айинанц Меланьи умер муж. Не сказать чтобы его смерть стала для людей неожиданностью, ведь Симону было крепко за семьдесят, а точнее — без году восемьдесят лет. Но расстроились все — муж Меланьи был душой компании и общим любимцем. Жил он широко и безудержно, в тратах себя не ограничивал, ел словно в последний раз, пил так, будто завтра утвердят сухой закон и впредь за спиртное будет полагаться смертная казнь. Поэтому завтракал Симон вином (для бодрости), обедал тутовкой (от изжоги), ужинал кизиловкой (чтоб крепко спалось). Несмотря на царящие в Берде¹ пуританские нравы, в интрижках он себе не отказывал. Любил женщин — самозабвенно и на износ, очаровывался с наскака, ревновал и боготворил, на излете отношений обязательно дарил какое-нибудь недорогое, но красивое украшение. «Расставаться нужно так, чтобы баба, встретив-

¹ Берд — город в Тавушском регионе Армении.

шись с тобой на улице, не прожгла плевком!» — учил он друзей. Друзья отшучивались и, намекая на его любвеобильность, дразнили джантльменом, от слова «джан» — душа моя.

Меланья по молодости устраивала мужу сцены ревности, но с годами научилась смотреть на его похождения сквозь пальцы. И все же иногда, чтоб не слишком зарывался, закатывала скандалы с битьем тарелок и чашек, которые заранее откладывала из щербатых, предназначенных на выброс. Симон наблюдал с нескрываемым восхищением, как жена мечется по дому, грохая об пол посуду.

— Ишь! — комментировал, подметая потом осколки. Пока он прибирался, Меланья курила на веранде, стряхивая пепел в парадные туфли мужа. Жили, в общем, душа в душу.

Симон умер накануне своего 79-летия, абсолютно здоровым и бодрым. Плотно поужинав и опрокинув от бессонницы стопочку кизиловки, он уснул в привычное время, а утром не смог подняться с постели. Вызванная скорая диагностировала инсульт, но до больницы не довезла — Симон умер, когда машина выезжала со двора. Выдали его семье к утру следующего дня, одетым в шерстяной костюм и белоснежную рубашку, тщательно побритым и причесанным на идеально ровный пробор. Столь нарядного усопшего не стыдно было бы в гроб положить и предъявить общественности, если бы не багровые, в синюшный перелив, уши, портящие представительный вид. Молодой патологоанатом, предвосхищая расспросы родственников, пояснил, что подобное случается с людьми, умершими от инсульта.

— И как же нам быть? — прослезилась Меланья.

— Хоронить! — сухо бросил патологоанатом, которому явно было не до сантиментов.

Меланья долго раздумывала, как придать покойному приличный вид. От предложения старшей невестки замазать уши тональным кремом сердито отмахнулась — не дам из своего мужа меймуна¹ делать! Обозвав бессовестной, выставила вон младшую, предложившую повязать ему косынку. Средней невестке не дала даже рта раскрыть — все одно толкового не скажет. Ничего в итоге не придумав, она понадеялась на тактичность земляков и решила оставить все, как есть. Перепоручила невесткам хлопоты по поминальному столу, переделась в темное и подчеркнуто скромное и уселась в изголовье гроба, вознамерившись провести в скорбном молчании два дня.

Но надежды на тактичность земляков не оправдались. При виде покойного они, позабыв о словах сочувствия, первым делом справлялись, почему у него такие вызывающе-синие уши. Меланья вынуждена была, прерывая молчание, обстоятельно им отвечать. Мужчины обескураженно цокали языком, женщины сразу же предлагали что-нибудь предпринять.

— Да что тут предпримешь! — вздыхала Меланья.

— Ну хоть что-нибудь! — упорствовали женщины, сыпля наперебой идиотскими предложения-

¹ Обезьяна (фарси).

ми, как то: приложить к ушам листья подорожника, нарисовать йодную сетку, облепить перебродившим тестом, желательно холодным — чтоб наверняка. Мужчины в ответ крутили пальцем у виска, едко любопытствуя, как вообще можно помочь тому, кому ничем уже не поможешь. Цитата из «Идиота» о красоте, которой суждено спасти мир, неосмотрительно приведенная учителем литературы Офелией Амбарцумовной, вызвала в мужском лагере бесцеремонные смешки и вполне разумный довод, что красотой покойника не оживишь. «Зато приятно будет на него смотреть!» — не сдавался женский лагерь. Обстановка неуклонно накалялась, превращая церемонию прощания в перепалку. Траурный тон мероприятию вернула новоиспеченная вдова. Поднявшись со своего места и торжественным шагом направившись к буфету, она со скрипом его отворила, вытащила тяжеленную супницу и со значением грохнула ее об пол. Женщины, моментально вспомнив, за каким делом явились, дружно заголосили, мужчины вышли во двор — перекурить. Меланья, довольная произведенным эффектом, снова уселась в изголовье гроба.

Потихоньку стали подтягиваться бывшие пассии Симона, расфуфыренные, словно на пасхальную службу. Первой явилась Сев-Мушеганц Софья, в кардигане цвета топленого масла и с фальшивым жемчугом на дряблой шее. Следом заглянула Тевосанц Элиза. Сыновья Элизы давно перебрались во Фресно, потому она пришла во всем американском: платье, туфлях, даже сумка и помада цвета пыльной розы — и те были заграничные, о чем она

не преминула сообщить, устраиваясь по правую руку от вдовы. Меланья повела носом и поморщилась — пахла Элиза нестерпимо сладкими духами. «Передушилась, ага», — виновато шепнула та и уверила, что терпеть придется недолго — духи, в отличие от всего остального, не американские, поэтому быстро выветрятся. Из далекого Эчмиадзина приехала Бочканц Сусанна и в один миг взбесила публику литературной речью, высокомерно вздернутыми тонко выщипанными бровями и подобранными в частую складочку узкими губами. Ей тут же со злорадством припомнили хромоногую безграмотную мать и отца-оборванца. Сусанна вернула брови на законное место и, расслабив узел рта, перешла на диалект, чем сразу же снискала благосклонное к себе расположение. Последней пришла Вдовая Сильвия, удачно выдавшая дочь замуж в Россию. Невзирая на октябрьскую теплынь, она явилась в полушубке из чернобурки и бирюзовой фетровой шляпе. Встав к окну спиной (чтоб дневной свет не ложился на «упавшее лицо», но зато выгодно подчеркивал богатство гардероба), она, делая многозначительные проникновенные паузы, прочитала печальные стихи о разлуке.

Поэзия стала последней каплей. Бесцеремонно подвинув чернобурку, Меланья ушла к себе, переделась в маркизетовую блузку и длинную, выгодно подчеркивающую ее худощавую фигуру юбку, заколола волосы бабушкиным черепаховым гребнем. От искушения воткнуть в узел антикварные вязальные спицы из слоновой кости с сожалением отказалась. Зато напудрилась и подкрасила губы — не сидеть же среди этих расфуфыренных

куриц неухоженной выдрой! К тому времени, когда она вернулась, публика значительно поредела. Остались самые стойкие: родственники, бывшие коллеги мужа, пассии (все) и подслеповатая старая Катинка, кажется, намеренно позабытая своими детьми.

Именно она и предложила смазать уши покойного растопленным утиным жиром. Мол, вреда все одно не будет, а вот польза может приключиться. Ведь знахарка Пируз вполне успешно лечила утиным жиром не только синяки и ушибы, но даже переломы.

— Не хоронить же его синеухим, дочка! — прошамкала Катинка, утирая слезы краем передника. Меланья хотела было возразить, что покойному без разницы, какого цвета у него уши, но, поймав боковым зрением шевеление бровей Бочканц Сусанны, передумала — повода злорадоваться она ей не даст.

— Несите утиный жир! — скомандовала вдова.

— Главное — наложить сверху компрессы с камфорным маслом. Так знахарка делала! — сыпала инструкциями Катинка, следя за тем, чтобы камфары не переложили. Иначе, пояснила она, могут случиться судороги.

— Ну ему-то судороги не грозят! — отмахнулась невестка Меланья.

— Откудыва ты можешь знать? — встопорщилась старая Катинка. — И вообще, вместо того, чтобы языком молоть, ты бы лучше охладила утиный жир до комнатной температуры!

— Почему именно до комнатной? — полюбопытствовала Вдовая Сильвия, обмахиваясь

журналом: в полушубке и шляпе ей было нестерпимо жарко, но на предложения раздеться она отвечала неизменным отказом.

— Как почему? — всплеснула руками Катинка. — Чтоб не обжечь покойному кожу!

Сильвия, обменявшись ошалелыми взглядами с невесткой Меланьи, булькнула нечленораздельное и притихла.

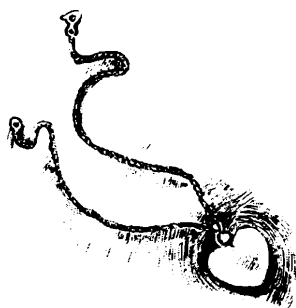
К тому времени, когда у детей Катинки проснулась совесть и они наконец-то явились за своей матерью, голову Симона украшали большие беспроводные наушники, отжатые со скандалом у младшего правнука. Наушники надежно фиксировали компрессы с камфорным маслом. Несмотря на неловкость ситуации, покойный выглядел вполне умиротворенным и даже счастливым. Вокруг гроба расселись вдова и бывшие пассии, потягивали домашнее вино и, разгоряченные то ли спиртным, то ли беспомощным видом Симона, откровенничали «за жизнь». Вдовая Сильвия, сдвинув на затылок фетровую шляпу и выставив на обозрение сотоварок почти лысую голову, жаловалась на поредевшие волосы. Софья, сняв фальшивый жемчуг и оттянув ворот водолазки, демонстрировала некрасивый шрам, оставшийся после операции на щитовидке. Элиза с горечью призналась, что сыновья, вознамерившись открыть свое дело и понабрав кредитов, еле сводят концы с концами и потому вся ее одежда приобретена не в приличном магазине, а в секонд-хенде, чуть ли не на развес. Сусанна же с упоением жаловалась на высокомерную городскую свекровь: «Старая гримза попрекает меня деревенским

происхождением, а сама рюкзак называет лугзагом!»

— Обмажь ей уши утиным жиром, вдруг по-
добрееет, — посоветовала Меланья под общий
смех. Изредка кто-то из женщин заглядывал под
наушники и сообщал остальным, что толку от ути-
ного жира ноль.

— Неужели вы надеялись, что толк будет? —
каждый раз осведомлялась Софья и, с удовлетво-
рением выслушав заверения в обратном, разлива-
ла по бокалам новую порцию вина.

КУЛОН



Запах моря был таким настойчивым, что Вдовая Сильвия проснулась с ощущением, будто оно плещется у нее под окнами. Она повернулась на бок, подогнула ноги, тщательно накрылась одеялом и пролежала так несколько минут, не размыкая век и дыша полной грудью. Форточка, уступив натиску стеклянного зимнего ветра, приоткрылась и впустила в дом солоноватый дух морозного ущелья. Тот метался по комнатам крупным бестолковым щенком, бился башкой о дверные косяки, застревал под тахтой и креслами, путался в тяжелых шторах, воевал с бахромой диванных подушек. Сильвия прислушивалась к его возне, блаженно улыбаясь — хорошо. Тем не менее вскоре она поднялась, пробежалась, босая, ежась от холода, по дощатым полам, плотно прикрыла форточку, не давая ей, поддетой порывом ветра, захлопнуться и наделать шума. Одевалась, настороженно прислушиваясь к тишине. Подошла на цыпочках к комнате дочери, прижалась ухом, удовлетворенно кивнула — спят!

Время двигалось к семи утра, ночь неохотно отступала, влача темный подол своего одеяния, но и день с приходом не особо спешил, ограничившись лишь тем, что лениво притушил и без того неяркое свечение звезд да передвинул к краю горизонта блеклую четвертушку луны. Было зябко и неприкаянно, там и сям, нехотя чирикнув, сразу же притихали воробьи, молчали дворовые собаки, а петухи, успев откукарекать по третьему кругу свое ежеутреннее приветствие, с чувством исполненного долга отдыхали.

Вдовая Сильвия вспомнила петуха из своего детства, невольно фыркнула. Тот был до того заполошным, что изводил криком всю округу. Иногда, чтоб немного уgomонить, дед смазывал ему под хвостом солидолом. Ничего не подозревающий петух взлетал на частокол, вознамериваясь в очередной раз сотрясти окрестные дворы торжествующим криком, набирал полные легкие воздуха, однако терпел фиаско: не встретив сопротивления, воздух беспрепятственно выходил через задний проход, обрывая в зародыше его «кукареку». Сделав несколько неудачных попыток крикнуть, петух сползал с частокола и плелся по двору, топорщась перьями на затылке и уныло свесив пестрые крылья. Весь его облик — скособоченный клюв, сокрушенный взгляд, неуверенная поступь — свидетельствовал о глубоком недоумении и неподдельном потрясении. «И что, теперь так и будет?» — будто бы жаловался он, едва слышно бухтя себе под нос. Сильвия не помнила, что стало с ним потом — то ли зарезали, то ли продали, но крик его, пустопорожний, торжествующий, до сих пор звучал в ушах.

Прочитав над водой коротенькую молитву и поблагодарив Бога за новый день, Вдовая Сильвия тщательно умылась. Этой церемонии ее научила глубоко уважающая и неукоснительно чтящая народные традиции бабушка. В свое время она даже умудрилась подстроить под них весь свой быт. К примеру, заметив, что пес задрал голову и обеспокоенно обнюхивает воздух, она, ничуть не сомневаясь, что дело движется к дождю, спешила убрать вывешенное на просушку белье. Если глаза бесцельно замирали на каком-нибудь предмете — тотчас застилала обеденный стол свежей скатертью и, проверив запасы сладкого, садилась молоть кофе — ведь ни для кого не секрет, что застывший взгляд к неожиданным гостям. Путникам она неизменно подкладывала в вещи узелок с горсточкой огородной земли — чтобы они благополучно вернулись домой. Никогда не передавала из рук в руки чеснок, потому что это могло навредить здоровью того, кто его просил. Не делала уборку на ночь, чтоб не расстраивать домашних духов — она искренне верила в них и непременно оставляла на чайном блюде угощение, к примеру — карамельные конфеты, фантики которых она обязательно приоткрывала, но полностью не разворачивала, тем самым облегчая работу и в то же время уважая желания духов: захотят угоститься — сами дальше справятся.

Сильвия, по молодости относившаяся с иронией к привычкам старшего поколения, с возрастом сама в них поверила и нет-нет да и ловила себя на том, что, вторя бабушке, старается переделать всю работу по дому до субботнего полудня, оставляя

свободным вечер и последующее воскресенье. Или же, помня о том, что в народе понедельник считают недобрым для начинаний днем, старалась ничего в этот день не планировать. А засеивать огород принималась во вторник — самый благоприятный для этого день.

Анна, дочь Вдовой Сильвии, мирилась с привычками матери, а вот зять, не вытерпев, иногда подтрунивал над тещей. Впрочем, делал он это до того смешно и по-доброму, что Сильвия не обижалась — молодой еще, наивный, жизни не понимает. На резонное замечание зятя, что к тридцати пяти годам вполне уже можно кое-что в жизни понимать, она снисходительно цокала языком: кое-что — это не все! Рано поседевшая и растратившая былую красоту, себя Вдовая Сильвия, невзирая на в общем-то небольшой возраст — пятьдесят два года — прочно записала в старухи и мягко, но решительно отметала любые попытки близких убедить ее в обратном. Рождение долгожданного внука окончательно укрепило ее в убеждении, что лучшие времена остались позади. Сразу же оформив на работе бессрочный отпуск, она с радостным облегчением переключилась с бухгалтерских расчетов на благословенные заботы бабушки, с первого же дня привязавшись к младенцу с той самоотверженной преданностью, на которую способны только люди, всю жизнь промечтавшие о беззаветной любви — и наконец-то ее заполучившие.

Анна, не считаясь с настоятельными советами воронежских врачей, приняла решение рожать в Берде. «Мне только у мамы будет спокойно», — отмела она все их доводы. Муж ее решение

поддержал, но компания, где он работал, требовала постоянного его присутствия, поэтому выбраться к семье он смог только к родам. Дождавшись выписки жены и сына из больницы и убедившись, что все с ними в порядке, он улетел обратно в Россию. Анна же намеревалась вернуться туда к началу лета. Перспектива провести долгие месяцы с дочерью и новорожденным внуком наполнила душу Вдовой Сильвии ощущением сбывшейся заветной мечты. «Аствац¹-джан, только не посчитай мое счастье излишним», — оказавшись в уединении, боязливо шептала она, воздевая к небу руки и торопливо осеняя себя крестом. С Богом она всегда говорила с глазу на глаз, не сомневаясь, что так меньше ему досаждают.

Появление внука изменило Вдовую Сильвию, женщину молчаливую и замкнутую, до неузнаваемости: она стала вдруг охочей до общения и могла проводить долгое время в телефонных беседах, неизменно норовя свести любое обсуждение к разговору о ребенке. Небольшая любительница магазинов — как правило, она приходила туда с тщательно составленным списком и, за несколько минут выбрав нужное, с облегчением уходила, теперь она проводила там чуть ли не часы, перебирая умильные, с зайчиками и бегемотиками, ползунки, чепчики и распашонки. Набрав целый ворох одежды, она какое-то время еще ходила вдоль полок, заменяя одну вещицу на ровно такую же, но без шва на спине, а потом, с чувством выполненного долга расплатившись, несла покупки домой.

¹ Аствац — Бог.

Под натиском чувств изменилось даже отношение Вдовой Сильвии к традициям. Если раньше они соблюдались с некоей вариативностью, то теперь именно там, где дело касалось новорожденного, она следовала им с маниакальной, доходящей до гротеска неукоснительностью. К примеру, обычай советовал хранить под матрасиком младенца нож или ножницы, чтобы отпугивать злых духов. Вдовая Сильвия, рассудив, что многого мало не бывает, разложила по противоположным краям дна кровати и то и другое. Следом, чуть поразмыслив, разместила в третьем углу оставшуюся от деда опасную бритву, предварительно заточив ее осколком водного камня и обмотав острое лезвие бинтом. Порывшись в коробке с вязаньем, присовокупила к арсеналу спицы. Сложив их крест-накрест в свободном уголке кровати, она накрыла обереги сложенным вчетверо шерстяным пледом, водрузила поверху детский матрас, подоткнула его простынкой и лишь тогда вздохнула с облегчением.

Обычай рекомендовал первые сорок дней жизни беречь новорожденного от посторонних, объясняя это тем, что в таком возрасте он особенно восприимчив к сглазу. Суровый мораторий был наложен на любых гостей. От двора было отказано даже теру Маттеосу, заглянувшему поздравить семью с прибавлением и напомнить, что на восьмой день младенца положено крестить. Вдовая Сильвия, перекинувшись со священником несколькими дежурными фразами, поблагодарила его за визит и решительно выпроводила за порог, не дав пройти дальше прихожей.

— Так что с крестинами? — любопытствовал на прощание тер Маттеос, отряхивая пропыленную рясу пестрящей золотистыми, не успевшими сойти с лета веснушками рукой.

— Сорок дней пройдет — там видно будет! — последовал исчерпывающий ответ.

Тер Маттеос даже бровью не повел, когда входная дверь непочтительно захлопнулась перед его носом. Пригладив отчаянно кудрявящуюся бороду растопыренной пятерней, он направился к лестнице, ведущей с открытой веранды во двор, однако замер на верхней ступеньке и, обозвав себя беспмятным болваном, вернулся. Вытащив из кармана накидки мягкую игрушку — смешного пучеглазого ослика в полосатом сюртучке, он было сунулся в дом, но потом махнул рукой, огляделся по сторонам и, не найдя более подходящего места, оставил игрушку на подлокотнике старой тахты. Удостоверившись, что ослик крепко сидит, святой отец принялся спускаться по заледенелым ступенькам, придерживаясь морозных перил кончиками пальцев и напевая под нос мотив любимой песни. Добравшись до нижней ступеньки, он прервал пение подбадривающим «оп-ля», полуприсел и грузно спрыгнул во двор, повергнув в изумление рассевшуюся на краешке забора стайку воробьев. Умолкнув, они уставились на него, наблюдая, как он идет к калитке, прищелкивая пальцами по болтающемуся на груди кресту. «Like last summer's rose I'm in love... love, love, love», — разливался его густо-бархатный бас, запоздало подхваченный бренчливым аккомпанементом наконец-то очнувшейся от потрясения птичьей стайки.

Ослик просидел на веранде совсем недолго — вышедшая задать корм птице Сильвия сразу же его заметила. Она умиленно повздыхала, но забирать его не стала. Ушла в птичник, вернулась оттуда с пустой миской из-под корма, неся под мышкой курочку с окровавленным гребешком. На днях петуху с большим скандалом подстригли когти, чтоб он курам бока и спины не обдирал, вот он и мстил, поганец. Обработав ранку зеленкой, Вдовая Сильвия отнесла пострадавшую обратно, постояла над развалившимся на верхней жерди насеста петухом-красавцем, хмыкнула, выдрала в сердцах из его хвоста длинное и наглое золотистое перо — в назидание, и под негодующие его крики ушла домой, бормоча под нос: «Скажи спасибо, что я тебе, ироду, клюв аптечной резинкой не обмотала!»

Тщательно вымыв руки, она вернулась на веранду — забрать ослика. Высвободила его из упаковки, повертела так и эдак, застегнула на пуговку ворсистый жилет, нажала на живот, прислушалась к деликатному «иа-иа», кивнула, соглашаясь: раз Создатель в оперные певцы не определил, то ничего тебе, горемыке, и не остается, как только иакать!

Тер Маттеос оказался единственным бердцем, рискнувшим заглянуть к Вдовой Сильвии. Соседи, не решаясь нарушить положенный традицией сорокадневный «карантин», ограничились телефонными звонками и поздравительными открытками. На звонки она отвечала подробным отчетом об аппетите, росте и прочих успехах быстро прибавляющего в весе младенца, открытки же, бегло пробежав глазами, складывала в жестяную коробку из-под сахарного печенья, чтобы потом, когда свободного

времени будет предостаточно, обстоятельно их перечитать. Директор консервного заводика, где она четверть века проработала бухгалтером, передал с посыльным заклеенный конверт. Вдовая Сильвия обнаружила внутри поздравительную открытку и три новенькие стодолларовые купюры с прозрачной синенькой полоской и портретом озабоченно поджавшего губы Бенджамина Франклина. Американский президент остро напомнил ей прабабку, умершую более века назад. Смерть ее стала притчей во языцех. Случилась она в Пасху, когда вся семья, включая многочисленных внуков и правнуков, собралась за праздничным столом. Прабабка, женщина крайне богобоязненная и благовоспитанная — никто прежде не слышал от нее резкого слова, опрокинув себе на колени солонку, явственно и громко чертыхнулась. Сконфуженно рассмеявшись, она попросила притвориться, что никто ничего не слышал, и пока родные, пряча улыбки, дружно уверяли, что все так и было, бедняжка тихо отдала богу душу. Посмертно прабабка снискала славу самой совестливой жительницы не только Берда, но и всего региона — ведь на памяти людей не было ни одного случая, чтобы человеку довелось умереть со стыда. Вдовая Сильвия прабабку в живых не застала и знала ее по старой фотографической карточке, на которой та, точь-в-точь как президент Франклин, полуобернув полное лицо и поджав губы, с претензией тарасилась в объектив большими, немного навывкате, круглыми глазами. Рука прабабки покоилась на плече напряженно улыбающегося пятилетнего мальчика в сюртучке, коротеньких штанишках и ботинках со сбитыми

носами. Над левым ухом мальчика торчала смешная кудряшка, которую хотелось пригладить пальцем, чтоб она не портила тщательно прилизанного общего вида. Мальчика звали Ованесом, он был младшим из семи внуков прабабушки и отцом Вдовой Сильвии. Сильвию, кстати, называли в честь прабабушки. Имя, столь не характерное для этих краев, предложила мать новорожденной, по слогам вычитав его на баночке мятных леденцов. И, хоть в церкви при крещении девочке дали более подходящее армянское имя, закрепилось за ней то, непривычное для слуха, отдающее голосом горного родника и шелестом весенней листвы. А потом, через два поколения, это имя перешло к правнучке.

Растроганная щедрым подарком, Вдовая Сильвия позвонила на консервный заводик и, стараясь не выдать волнения, сдержанно поблагодарила. Взяв с нее обещание, что сразу же после отъезда дочери она вернется на работу, начальство попрощалось. Двести долларов Сильвия отложила на потом, сотню же, разменяв в банке на армянские драмы, пустила на всякие насущные нужды: бутылочки, соски, подгузники, присыпку, а также продукты, прописанные в рацион кормящей матери. Анна возмутилась, что мать потратила свои деньги, но та решительно оборвала ее — мне это в радость, дочка. Оставшиеся двести долларов, походив по дому в поисках безопасного угла (банкам после денежной реформы, съевшей все ее сбережения, Сильвия не доверяла), она припрятала в пятом томе собрания сочинений Чехова. Правда, перед тем, как убрать книгу обратно, благоразумно сделала запись-напоминалку в блокноте, чтоб потом

не перерывать все книжные шкафы. Выглядела эта запись вполне интригующе и даже несколько криминально и, пожалуй, не всякому шифровальщику пришлось бы по зубам. «Прабабушку Сильвию искать в вишневом саду», — гласила она.

Запрет на «карантин» нарушили только для сватов, выбравшихся навестить внука из Иджевана. Ревниво и подобострастно рассмотрев спящего младенца, сватья сразу же с удовлетворением объявила, что он — копия ее отца, потому назвать его нужно в честь деда Багдасаром. Вдовая Сильвия хотела было возразить, что подобным ветхозаветным именем не всякий в наши дни решится ребенка обозвать, но ее опередил сват. Повертев в характерном недоумевающем жесте вздетый к потолку указательный палец, он обрушил на жену водопад негодования:

— У этого ребенка на лице вместо носа кнопка от телевизионного пульта! Какой из него Багдасар?

— А что, Багдасар означает «носатый»? — уставилась на него сбита с толку сватья.

— Конечно, раз под носом твоего отца в дождь вся наша улица собиралась!

— Ну раз ребенок носом не вышел, может, его тогда Вараздатом назовем? В честь твоего отца-пьяницы?

— Женщина, ты соображаешь, что говоришь? В сотый раз повторяю: он не пьяницей был, а ценителем тутовки! И вообще! Тебе внука не жаль? Какой Багдасар, какой Вараздат? Имя у мальчика должно быть современным. А главное, звонким и стремительным, словно выпущенная из лука стрела.

— Стремительным?! Назовите тогда сразу Гепард. Чего мелочиться-то? — встряла в перепалку Вдовая Сильвия, уязвленная тем, что никто не поинтересовался ее мнением.

Сваты, спохватившись, сразу же принялись советовать с ней. В итоге, после недолгих и почти кровопролитных препирательств, право выбора благоразумно решено было оставить за родителями младенца. Те, обещав придумать такое имя, которое устроит всех, развели взрослых по углам ринга. Однако с выбором не спешили, потому на второй неделе жизни ребенок продолжал оставаться безымянным. Традиции ничего предосудительного в этом не видели, так что и Вдовая Сильвия не беспокоилась. Придумают, никуда не денутся. Свидетельство о рождении-то надо ведь справлять.

Самый строгий из обычаев запрещал первые десять недель жизни вывозить новорожденного на прогулку, опять же чтобы побережь его от ненужного внимания окружающих. Но на дворе стоял чудесный ранний декабрь, и грех было лишать младенца возможности подышать морозным чистым воздухом. Пораскинув мозгами, Вдовая Сильвия придумала выход: она обшила верх прогулочной коляски дополнительной шторкой, которую сама же и смастерила из отреза тюля, для вящей непроницаемости пустив ткань двойным густым воланом. Сведущий человек сразу догадается, что нельзя заглядывать за шторку, а несведущего можно будет спокойно подвинуть! Анна, старающаяся никогда не перечить матери, осторожно поинтересовалась, зачем такие сложности, если первое время можно гулять, не покидая пределов двора. Вдовая Сильвия

отвела взгляд, помолчала, протяжно вздохнула, подняла на дочь ореховые, в пепельный перелив, окаймленные лучиками мелких морщин глаза и ответила с обезоруживающей искренностью: уж очень хочется внуком похвастать, дочка. Анна обняла ее, чмокнула в висок, улыбнулась: конечно, мамочка, как скажешь.

Дом Вдовой Сильвии замыкал неширокую улицу, упираясь задним двором в грудь обросшего кустарником холма Хали-Кар. Улиц, расположенных на плавно спускающемся ко дну ущелья склоне, было три, и все они брали начало с небольшой криводонной площади, на которой торчали административные постройки: управа, полиция, банк, загс, суд и нотариальная контора. Недолго проплутав между крепкостенных домов, эти улицы разбегались в разные стороны. Одна стремительно спускалась к подножию холма, а остальные две карабкались вверх и опоясывали его нарядными шаялями-поясами, которыми в старину поверх рубах-архалуков обвязывались мужчины.

Та из дорог, что огибала подножие и заканчивалась низеньким каменным мостом, называлась Нижней. Тянулась она вдоль невинной с виду, но непредсказуемой и взбалмошной, а в половодье разливающейся далеко за каменистые берега горной речки. В сезон таяния снегов и ливней она превращалась в неуправляемую лавину, сносившую на своем пути всякую преграду. Потому дома на Нижней улице выстроились на основательном от берега отдалении и непочтительно отвернулись,

отгородившись от него высоченными, битыми ледяной волной заборами.

Вымощенная камнем Садовая улица тянулась до вершины холма и заканчивалась у ворот небольшого парка, откуда открывался чудесный вид на окрестности: каменные жилища со стекленными верандами-шушабандами; сады, сквозь сирое полотно которых, созревая, золотились хурма и айва; ссутуленные горы, отвыкшие за лето от пронзительного дыхания ветров; стеклянный осколок далекого озера с линиям ликом неба в отражении. Дома Садовой улицы, расположенные на внушительной высоте, раньше остальных ловили в окнах лучи просыпающегося солнца и первыми прознавали о приближении скороспелого дождя.

Вдовая Сильвия жила на третьей, Мирной улице, которая тянулась по груди холма, разделяя его пополам. По обочинам Мирной улицы стояли дома с воздушными открытыми верандами и обширными садами-огородами. Защищенные от капризов речки и шумных ветров, они могли позволить себе вольность в виде основательных глубоких погребов, дощатых амбаров и низкорослых хлипких оград, сквозь щели которых неустанно шастали писклявые цыплята, доводя до истерических припадков заполошных наседок. Мирная улица, карабкаясь на пригорки и проворно устремляясь вниз, путалась под ногами и цеплялась за край одежды, оставляя на ней то перезрелую цветочную пыльцу, то приставучие колючки чертополоха, а то и иссушенные до невесомости сережки крапивы. Огибая дворы, в самом своем конце она резко поворачивала напра-

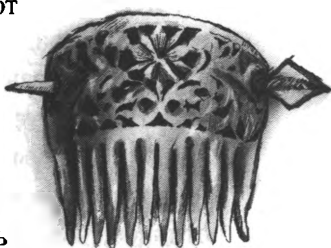


во и утыкалась в дом Вдовой Сильвии, не дойдя каких-то пару метров до ограды.

Много лет назад отец Сильвии заделал этот зазор, вымостив его речной галькой в незамысловатом узоры: два светлых каменных полукруга на темном фоне. Маленькой Сильвии тогда было всего пять, и она с нетерпением ждала вечера, когда отец возвращался с работы. Переодевшись и наспех пообедав, он забирал ее с собой на речку, где они проводили час-другой, выискивая крупную, с ладонь, гальку нужной формы и расцветки. Бабушка уступила им железное ведерко, в котором хранила всякую каменную мелочь для заточки садового инвентаря, и Сильвия до сих пор невольно жмурилась, вспоминая звонкий стук первой кинутой на дно этой старой, почти насквозь проржавевшей посуды гальки.

Пустив на поиски камня почти два летних месяца, отец наконец принялся мостить дорожку. Маленькая Сильвия запомнила тот день таким, будто наблюдала его с высоты. Отец умудрился где-то раздобыть крепкий корабельный канат и смастерил удобные качели, заботливо обшив сиденье подушкой на гусином пуху. Сильвия раскачалась до упора, до ледяных мурашек и застывшего в горле комка, и, чтобы отвлечься от страха, выискивала глазами то бабушку, чистящую зеленые стручки фасоли, то маму, достающую из каменной печи каравай пахнущего сладкой горбушкой хлеба, то деда, поливающего розовые кусты. Прошло уже почти полвека, в жизни произошло много всего, что

могло навсегда заслонить собой тот пронзительно-беззаботный день, но Сильвия запомнила его, словно многожды пересмотренный фильм, и часто переживала заново, восстанавливая в памяти мельчайшие подробности и радуясь всплывающим из небытия деталям,



о которых успела позабыть: простенький деревянный гребень в волосах бабушки, перекинутое через плечо желтое посудное полотенце, серебряную змейку речки, которую можно было увидеть, раскачавшись до клокочущего в горле сердца...

Над калиткой раскинулась чудом прижившаяся груша неведомого для этих краев сорта. Обернутый во влажную тряпицу саженец отец вез из крохотного литовского городка Дукштас, добираясь домой на перекладных почти неделю. Высадил деревце на краю сада, сразу за калиткой, там, где невысокий, но крепкий выступ скалы, образуя мелкую ложбинку, защитил бы непривычное к новому климату растение от промозглой влаги зимы и иссушающего жара лета. Груша сразу же вытянулась, но потом замедлилась в росте и, распавшись в кроне на две макушки, раздалась в боках. К пятому году жизни она обвесилась крупными сочно-сладкими желтоватыми плодами, нежно розовеющими обернутой к солнцу стороной. Первый свой урожай она дала в год, когда родилась Сильвия, потому в доме принято было считать, что это ее дерево. Маленькая Сильвия с удовольствием ухаживала за «своей» грушей: рыхлила землю, поливала, подсыпала древесной щепы — чтобы та удерживала влагу,

прилежно осматривала серовато-шероховатый, в редких крапушках чечевичек, ствол в поисках пятен от болезни: однажды, обнаружив крохотную отметину, не успокоилась, пока отец, вычистив ее, не обработал место поражения медным купоросом и садовым варом. Весной литовская груша невестилась, покрываясь, словно густой гипюровой фатой, снежно-кремовыми цветками. Они появлялись еще до листиков, пахли робко-сладким и долго не облетали. Маленькая Сильвия любила встать на цыпочки, осторожно притянуть к себе ветку и, стараясь не дышать, зарыться лицом в нежные лепестки, ловя их легкий ненавязчивый аромат. К середине лета, когда налившиеся плоды гнули к земле ветви, она собственноручно подпирала их специальными двурогими брусьями-опорами. Бережно, стараясь не поранить нежную кожицу, укладывала созревшие плоды в деревянные ящички, которые потом отправлялись в большой погреб — на хранение. Бабушка, старавшаяся пускать на заготовки и сухофрукты всякий собранный в саду урожай, на литовскую грушу даже не замахивалась, жалея ее для переработки. «Так съедим», — приговаривала она, окидывая довольным взглядом увешанное сладкими плодами, облюбванное медоносными пчелами дерево.

По далекой детской привычке Вдовая Сильвия считала литовскую грушу своей, и если в уходе за садом и огородом охотно принимала помощь соседей, то к этому дереву никого не подпускала, справляясь даже с такой непростой работой, как обрезка ветвей. Будущему зятю она чуть ли не с порога заявила: «Это — мое дерево». «То есть остальные

деревья в саду я могу считать своими?» — не растерялся тот и, смешавшись, покраснел. Вдовая Сильвия с удовлетворением отметила его смущение (совести, значит, не лишен) и решила, что дочь сделала правильный выбор. Чувство юмора, наравне с совестливостью и преданностью, она ценила пуще остальных качеств. Терпеть не могла скарденности, но и расточительности не поощряла. Сторонилась завистливых людей, сплетен на дух не переносила, пропуская их мимо ушей. О любви не заговаривала — ни с близкими, ни с родными, однако никто из них не сомневался — о любви она знала больше, чем кто-либо еще в этом мире.

На завтрак Сильвия отварила овсяной каши, немного ее передержав — недавно с изумлением обнаружила, что дочь любит, подождав, когда овсянка остынет, скрести ложкой по дну эмалированной кастрюльки, подъедая подрумяненную корочку. К тому времени, когда она заглянула в спальню, Анна успела переодеть и покормить проснувшегося сына. Сильвия поставила на прикроватную тумбочку поднос с завтраком, поцеловала сначала дочь, потом, умильно лопоча, — внука.

— Пойду погуляю с ребенком. Решилась наконец, — заявила она и добавила не терпящим возражений голосом: — А ты поешь и поспи, слышишь меня?!

Анна спорить не стала. Она не совсем еще отошла от последнего месяца беременности, когда, измученная беспокойно ворочающимся в тяжелом животе младенцем, вынуждена была бодрствовать

почти сутками. Потому сейчас использовала каждую минуту, чтобы доспать.

Стараясь не шуметь, Вдовая Сильвия выкатила коляску из дома, изрядно помучилась, спуская ее во двор. Перенесла туда тепло укутанного младенца, накрыла его простеганным ватным одеяльцем. Проверила еще раз содержимое сумки, в которую сложила все, что могло ему понадобиться. Тронулась в путь. С непривычки все выходило не так: сначала она умудрилась зацепиться верхом коляски за ветку литовской груши, затем застряла колесом в проеме калитки, вдобавок еще и не удержала ее, и та, выскользнув, с громким стуком захлопнулась и лязгнула заржавелой неповоротливой щеколдой.

— Отвинчу тебя к чертовой матери! — пригрозила Сильвия, срывая злость на щеколде, которой с того дня, как приладили к калитке, ни разу не удосужились воспользоваться.

По вымощенной галькой дорожке коляска покатилась плавным ходом, оставляя за собой влажный отпечаток колес. Всмотревшись, Вдовая Сильвия различила в узоре череду сердечек. Сунула руку за пазуху, нащупала кулон в форме сердца, который носила, не снимая. Подумала, что совпадения редко бывают случайными. Заглянув за шторку и убедившись, что внук спит, она набрала в грудь воздуха, медленно выдохнула, успокаиваясь, и, подбодрив себя гагаринским «поехали», выкатила коляску на улицу. Держалась ближе к кромке, огибая лужи и увязая колесами в подмерзшей грязи, привычно поругивая городские службы, так и не сподобившиеся сделать хоть какие-нибудь тротуары.

В некоторых домах уже затопили дровяные печки, и воздух сытно пах дымом и обогретым кровом. Где-то внизу громко загагакали гуси, им ответил заполошный петушиный крик и лай дворовых псов. Вдовая Сильвия притормозила, дожидаясь, пока ленивый лай, переметываясь со двора на двор и поднимаясь вверх по холму, благополучно стихнет на самой его макушке, — и лишь тогда продолжила путь. Прохожих в этот полуденный час было мало. С каждым она здоровалась и, выслушав поздравления, благодарила и продолжала путь. Никто из встреченных попыток заглянуть за шторку не делал, и все же, памятуя о бесхитростной, но от этого не менее раздражающей манере своих земляков совать куда не следовало нос, Сильвия бдительности не теряла. С людьми у нее всегда складывались ровные и уважительные отношения, но общение она старалась сводить к ни к чему не обязывающим приветствиям с дежурными расспросами о здоровье. На предложение зайти в гости, поблагодарив, неизменно отвечала вежливым отказом. К себе тоже не звала. Ее любили и ценили, но, вспомнив о ней, суеверно стучали по дереву костяшками согнутых пальцев — чтоб не приманить к себе испытание, которое выпало на ее долю. За глаза ее часто называли бедняжкой, но неизменно добавляли — слава богу, что теперь у нее все хорошо.

Смерзшаяся за ночь земля к полудню оттаяла, превратившись в труднопроходимую грязь. Коляска подскакивала на ухабах и застревала то одним, то другим колесом в жижистых ямах.

Приходилось сильно наваливаться на ручку, чтобы проехать дальше. Добравшись до конца улицы, Вдовая Сильвия совсем выбилась из сил. «Похвастать внуком хотела? Ну и как? Довольна собой?» — приговаривала она сквозь сбитое дыхание, потирая онемевшие от напряжения руки и проклиная себя за упрямое желание прогуляться в столь неподходящую погоду. К счастью, младенец, безучастный к тревоблениям бабушки, мирно спал, укутанный в теплое одеяльце и воздев кверху крохотные, затянутые в две пары шерстяных рукавичек, кулачки. Пеленать его, следуя новомодным тенденциям, Анна не позволяла, и Вдовой Сильвии пришлось, скрепя сердце и наступив на горло обычаю, уступить дочери. Раньше ведь как было? Расстелил одну пеленку, сверху, сложив пополам треугольником, положил вторую, надел на ребенка мягкую фланелевую распашонку, завязал тесемки чепчика узлом, заправив концы под ворот распашонки, приладил между ножек марлевый подгузник, затянул их нижней пеленкой, ручки — сложенной треугольником верхней и туго замотал в одеяльце так, чтобы только щеки торчали. Запеленатый, младенец спал спокойнее, потому что не пугал себя дергающимися ручками, да и, как уверяла бабушка, вырастал ладным и стройным — тугое пеленание выправляло тело.

— А если у него ноги кривыми будут? — отчаявшись переубедить дочь, сделала робкую попытку перетянуть на свою сторону зятя Сильвия, наблюдая за тем, как Анна укладывает младенца спать в мягких штанишках.

— Футболистом сделаем. Кривоногий футболист — находка для любой команды, — отшутился зять.

— Оба два балбеса, — возмутилась Сильвия, но махнула рукой — пусть в этот раз будет, как хотят!

Городская площадь была почти безлюдна. Двор управы пустовал, из банка вышли два одинаково худющих, сутуловатых солдата и, пересчитывая на ходу купюры, направились к продуктовым ларькам. От здания полиции, пронзительно взыв сиреной, но сразу же захлебнувшись, отъехала машина, полицейский, молодой курчавый парень, высунув руку в окно, помахал Вдовой Сильвии: простите, тетечка, не заметил коляску. Она кивнула: ничего страшного, но добавила про себя — остолоп безглазый.

На лавочке перед зданием управы сидели две старушки. Одна — большая, круглощекая и улыбающаяся, с детским конопатым лицом, вязала в четыре спицы. Иногда, отрываясь от дела, она поднимала голову и провожала пытливым взглядом редких посетителей, стараясь угадать по выражению лица, за какой надобностью они пришли в управу. Другая — смугленькая и горбоносая, резво орудуя ножом, перебирала большой пучок просвирняка. Поздоровавшись со старушками, Вдовая Сильвия первым делом осведомилась об их здоровье.

— Кости ноют, дочка. К снегу, — благожелательно ответила горбоносая. В ее голосе не прозвучало ни сетования, ни расстройства — а только смирение. Круглолицая, с одобрением оглядев шторку коляски, поинтересовалась, как внука назвали.

— Да вот раздумывают пока,— вздохнула Сильвия. И неожиданно для себя разоткровенничалась: — Хотелось бы, конечно, чтобы назвали именем моего отца.

— Ованес — хорошее имя. Доброе,— поспешили согласиться старушки.

Сильвия собиралась уже спросить, где они раздобыли в декабре просвиряк, но не успела — внимание старушек отвлекли хмурые люди, выспавшие из здания суда.

— Видно, в разбирательстве объявили перерыв,— возвестила полненькая старушка, разглядывая разбредающую по площади толпу, и со вздохом добавила: — Такая беда, такая беда!

— А что случилось? — всполошилась Вдовая Сильвия. Поглощенная заботами о внуке, она упустила последние новости.

— У Сайинанц Петроса сыновья подрались, какую-то ерунду не поделили. Старший толкнул младшего, тот упал, разбил голову. Одного похоронили, а другого посадят. Бедный Петрос, как теперь ему с таким горем жить! Было у человека два сына, остался один, да и тот с поломанной судьбой!

Старушки покряхтели, поцокали языком. Чернявая постучала по краю скамейки, боязливо поплевала — тьфу-тьфу-тьфу, Аствац-джан, отведи от нас такую беду!

По краю площади, тяжело опираясь на палку, шел высокий худощавый старик в истрепанном на локтях и вороте клетчатом пальто. Полненькая старушка, заметив его, мигом вынырнула из тягостных раздумий, толкнула локтем чернявую — глянь, ухажер твой идет, помнишь, как в

молодости за тобой ухлестывал? Чернявая хмыкнула, отложила нож, уставилась на старика. Тот, почуяв пристальное к себе внимание, браво развел плечи, скользнул пальцами по пуговицам пальто, проверяя, все ли застегнуты. Навесив на лицо непроницаемое выражение, он пошел, хорохорясь и небрежно, словно делая одолжение, опираясь на палку.

— Ходит с таким видом, будто его вулкан еще не потух! — проскрипела едко чернявая, когда старик поравнялся с ними.

Полненькая, от неожиданности выпустив спицы, всплеснула руками и уставилась на подругу. Вдовая Сильвия поспешно наклонилась, делая вид, будто ищет что-то в сумке с вещами младенца. Совладав с предательской улыбкой, она подняла голову, поздоровалась со стариком. Тот, хоть и не расслышал слов чернявой старушки, но догадывался, что ничего хорошего она не сказала. Потому, подчеркнуто вежливо ответив Вдовой Сильвии и кивнув полненькой, он не удостоил взглядом другую старушку и пошел дальше, не убавляя скорости. Хватило его запала, правда, ненадолго: добравшись до ларечка, торгующего всякой мелочью, он, якобы для того, чтобы внимательно рассмотреть товар, а на самом деле с целью справиться с одышкой, тяжело облокотился на витрину. Палка со стуком упала и откатилась к краю тротуара, гремя железным набалдашником. Кто-то из прохожих поднял ее, участливо спросил, нужна ли помощь. Старик помотал головой — все в порядке, отдышаться надо. У Вдовой Сильвии больно сжалось сердце. Своего отца она пожилым не застала. Ему сейчас было

бы столько же лет, сколько этому старику, и он бы, конечно, тоже хорохорился при виде симпатичных посторонних старушек... Хотя кто его знает, не уйди он так рано, и мама, наверное, бы жила, и они тогда все вместе пошли бы гулять с младенцем, увязая по щиколотки в грязи и ругая городские службы за то, что так и не удосужились провести хотя бы мало-мальских дорог...

Из печальных раздумий ее вывела перепалка старушек. Полненькая ругала чернявую за то, что та неучтиво обошлась с кавалером.

Чернявая с раздражением отмахивалась — ничего, переживет.

— Пережить-то переживет. Но зачем ты его потухшим вулканом обзываешь?

— А что, у тебя на этот счет имеются другие сведения? — ехидно поинтересовалась чернявая.

Полная, мгновенно оскорбившись, поднялась со скамейки и ушла не попрощавшись. Вдовая Сильвия хотела последовать за ней, но решила переждать поток возвращавшихся на слушание людей. Старик, заметив, что двор суда стремительно пустеет, заковылял обратно. Поравнявшись с чернявой старушкой, которая как раз, дочистив просвиряк, заворачивала его в газетный обрывок, он, поколебавшись, все-таки учтиво поклонился и поздоровался:

— Добрый день, Анушик-джан!

— Иди куда шел, — сердитый голос чернявой, прогремев набатом, настиг вторую старушку и больно толкнул в спину. Та остановилась, но оборачиваться не стала. Чернявая засеменила к ней, отряхивая на ходу подол шерстяной юбки. По-

равнявшись с Сильвией, она сунула ей кулек с зеленью — свари дочери суп, кормящей матери он нужнее. Та онемела от неожиданности, но, мигом стряхнув оцепенение, растроганно поблагодарила и спросила, сколько денег должна. Чернявая скривилась — не нервируй меня дурацкими вопросами! Обернувшись к старику, она бросила — вскользь, делано безразличным тоном:

— Заходи в гости, Самсон. Чаю, так и быть, тебе налью.

— Вот ведь язва! — развел руками старик. Окрыленный приглашением на чай, он мгновенно расцвел и скинул, казалось, с десятков лет. Вдовая Сильвия наблюдала происходившие с ним перемены, не скрывая улыбки.

На прощание старик поинтересовался, как внука назвали.

— Ованес, — неожиданно для себя соврала Сильвия и густо покраснела, не найдя объяснения собственной лжи. К счастью, старик не заметил ее замешательства.

— Хороший у тебя был отец, дочка. Добрый, — вздохнул он, и, по-родительски похлопав ее по щеке, направился к зданию суда, тяжело опираясь на палку и с оханьем подгибая ноющую ногу.

Когда Анна в телефонном разговоре сообщила о своем желании рожать в Армении, Вдовая Сильвия, не поверив услышанному, несколько раз переспросила: «В Армении? В Берде? Рожать?» Получив утвердительный ответ, она, перепугавшись, попыталась отговорить дочь:

— В Воронеже специалисты и клиники лучше, зачем тебе наша захудалая больница? Да и стоит ли лететь из одной страны в другую, рисковать собой и ребенком?

Но Анна стояла на своем. И Вдовая Сильвия, едва скрывая слезы радости, уступила.

Первым делом она сбегала на кладбище — рассказать о новости родителям. Прикупив на обратном пути десять свечек, половину поставила в часовне, а остальные принесла домой, чтобы зажечь их перед статуэткой Богоматери.

Статуэтка стояла на краю комода, с таким расчетом, чтобы луч рассветного солнца, проникая сквозь узкий зазор между шторами, падал на ее трогательное, по-детски кругленькое и розовощекое, совсем не скорбное лицо. Вдовая Сильвия привезла ее из своей последней поездки в Ереван. Все ее выезды в большой мир можно было сосчитать по пальцам одной руки — после возвращения в Берд она старалась его не покидать. Местному неврологу, заподозрившему у нее серьезное заболевание, стоило немалых усилий убедить ее выбраться в столицу, где в специализированной клинике можно было сделать все необходимые обследования. Красочно описав последствия болезни со странным названием «рассеянный склероз», он все-таки добился своего и, снабдив пациентку нужными бумагами, проводил ее в столицу. Скоротав два долгих дня в новенькой, с иголки клиники нейрохирургии, Вдовая Сильвия получила на руки совершенно нелепое заключение, где крупным и неожиданно читабельным почерком было написано, что диагноз нельзя подтвердить из-за

пограничного состояния пациентки, но и снять подозрения тоже не представляется возможным из-за того же пограничного состояния. Осанистый широкобровый невролог, выдавший ей заключение, посоветовал дообследоваться в какой-нибудь заграничной клинике. В Израиле, например, или в Германии. «Они там точно сумеют подтвердить заболевание. Ну или исключить его», — поспешно поправился он.

— Это дорого? — спросила Вдовая Сильвия.

— Очень.

— Не знаете, насколько «очень»? — чтоб занять паузу, возникшую, пока складывала в кипу справки и снимки, неловко пошутила она.

— Не могу сказать точно. Счет выставляет клиника. Думаю, как минимум тысяча двадцать долларов.

— Тысяча двадцать?

— Нет, что вы. Тысяч двадцать. То есть двадцать тысяч.

— Очень дорого, — покивала, соглашаясь, Вдовая Сильвия, ругая себя за бестолковость.

— Но здоровье дороже любых денег! — заученно бодрым голосом затараторил невролог, для убедительности широко жестикулируя. На полном запястье блеснул золотом вычурный браслет часов. Он заправил их под рукав халата и продолжил тем же фальшиво-жизнерадостным тоном: — У каждого армянина в родственниках половина страны. Можно подзанять, кредит, в конце концов, оформить. Есть еще благотворительные фонды, но там очередь большая, да и, говоря по правде, — здесь он подался вперед и

заговорщицки понизил голос, — денег у них так мало, что, когда выбор стоит между ребенком и взрослым, они помогают детям... Ну вы же понимаете?!

Вдовая Сильвия, заверив, что все понимает, с облегчением откланялась. Время до автобуса терпело, и она решила прогуляться по городу. В гулком переходе, ведущем от крытого рынка к мосту, она набрела на лоточек, торгующий керамическими статуэтками. Нарочито неладные, толстобокие и круглощечные, но невозможно умильные, эти статуэтки не оставляли равнодушными никого — всякий прохожий непременно останавливался и, повертев их в руках, выбирал себе одну или же, посетовав на дороговизну, но все же отпустив какую-нибудь добрую реплику в адрес автора, ретировался. Автор, он же продавец — невысокий, невероятно худющий молодой человек, совершенно смуглый и ослепительно-зеленоглазый, — смущенно благодарил и извинялся, что не может сбавить цену.

— Тогда уж совсем задаром отдавать, — тянул он на певучем севанском наречии, потирая озябшие руки и попеременно постукивая одним ботинком об другой — в переходе было ощутимо холодно.

Вдовая Сильвия сразу заметила для себя статуэтку Мариам.

— Сколько за Богоматерь просите? — спросила она.

Молодой человек, от удивления выкатив глаза, хотел было ответить, но закашлялся и принялся хватать воздух, по-птичьи дергая головой и ши-

роко разевая рот. Вдовая Сильвия поспешно обошла прилавок, постучала его по спине, ужаснулась худобе — позвонки выпирали, словно ребра стиральной доски.

— Болеете? — осведомилась участливо она.

— Это почему же?

— Худой очень, — виновато улыбнулась Вдовая Сильвия.

— Ем как не в себя, но все равно не толстею, — улыбнулся молодой человек, трогательным детским жестом утирая глаза краем ладони. Она невольно залюбовалась его необычной красотой: короткостриженные каштановые волосы, смугло-золотистая кожа, матово-зеленые, будто илистые, глаза. Несмотря на свою донную густоту, смотрели они ясно и открыто, и взгляд их был весел и легкий.

— Сколько за Богоматерь просите?

— О том, что это святая Мариам, знал только я. Вы — первая, кто об этом догадался. Так что я ее вам задаром отдам.

Вдовая Сильвия воспротивилась, но он решительно замотал головой — и не начинайте! Она оставила ему в благодарность всю еду, которую у себя нашла: горсть шоколадных конфет и яблоко.

— Как вы поняли, что это Мариам? — спросил он на прощание.

Она с минуту разглядывала круглые, в двойных ямочках, детские щеки Богоматери, ее прижатые к полной груди большие руки, мягкие складки фартука, в карманах которых явно что-то лежало: сухофрукты или, может быть, грецкие орехи. Или же, вполне возможно, это были куриные яйца,

которые она, причитая, собрала с грядок, ругая бестолковую птицу, несущуюся где попало.

— А я и не поняла, — ответила Вдовая Сильвия. И, чуть поразмыслив, неуверенно предположила: — Сердцем, может, почувствовала?

Вернувшись с кладбища, Вдовая Сильвия первым делом тщательно соскребла с подошв туфель налипшую грязь, протерла их влажной тряпочкой и, вынеся во двор, надела на колья забора. Пусть повисят в тени, вечером уберет. Потом она вымыла лицо и руки обычным хозяйственным мылом, запах которого терпеть не могла, но, свято веря в его дезинфицирующие способности, преданно им пользовалась. Всю одежду, в которой была, она старательно вытряхнула и убрала в шкаф, дверцу которого оставила настежь — тоже до вечера. Солнечный луч, беззастенчиво пробравшись внутрь, тускло забликовал на задней стенке, отразившись в стекле. Издали могло показаться, что там висит картина. На самом деле это был обнесенный стеклом лоскут фланелевой ткани с неровными рваными краями. Узор на нем был откровенно детским: пушистые желтые цыплята и утята, мохнатые облака со смеющимся круглощеким солнышком. Среди вешалок с одеждой этот убранный в раму лоскут смотрелся неуместно и даже нелепо, будто вырванное из одного времени событие, бесцеремонно вставленное в другое. Впрочем, Сильвию это не смущало. Она намеренно распределила внутреннее пространство шкафа таким образом, чтобы каждый раз, когда распах-

вала дверцу, ее взгляд первым делом падал именно на этот лоскут.

Затеpliant перед статуэткой Богородицы принесенные свечки и наспех пообедав, она взялась приводить в порядок комнату для дочери, под которую определила родительскую спальню. Это была лучшая комната в доме: просторная и уединенная, она выходила балконом на огромный, карабкающийся малинником вверх по склону сад. Летом там было прохладно, зимой — наоборот, тепло, и все благодаря солнцу, в разное время года по-разному освещающему западное крыло дома.

Обстановка в родительской спальне не менялась больше полувека, оставаясь такой, какой ее продумала бабушка, когда подготавливала комнату к заселению новобрачных — сына и его избранницы. Вдовая Сильвия любила в той обстановке все: широченный темного дерева шкаф в бронзовой фурнитуре; кровать с низким изголовьем и двумя прикроватными тумбочками с массивными латунными подсвечниками; основательный и толстобочный бельевой сундук, выглядящий неожиданно воздушным благодаря изящной резьбе, украшающей его выпуклую крышку; рассеянный вечерний свет дымчатых плафонов люстры, мягко отражающийся в натертом воском деревянном полу; массивное, обтянутое бархатом цвета выгоревшей травы кресло, в подлокотнике которого, если поддеть его за край и потянуть в сторону, обнаружится пепельница, навсегда пропахшая любимыми отцовскими сигаретами «Двин»... Правда, удобное на вид кресло на поверку оказалось совсем не таким: от неловко изогнутой спинки быстро затекала шея, а

слишком жесткое сиденье не располагало к расслабленному отдыху. Потому отец проводил в нем совсем недолгое время, ровно столько, чтобы хватало выкурить пару сигарет и, проигнорировав первые страницы местной газеты, пробежать глазами спортивные новости. Под конец он всегда оставлял фельетоны, которые зачитывал вслух, похихатывая и отмечая прекрасное чувство юмора и отличный стиль. Мать на его похвалы поджимала губы (автор фельетонов, строптивая и своевольная журналистка Шушаник Амирян, снискала себе не очень добрую славу), но вынуждена была соглашаться — написано виртуозно!

Вдовая Сильвия берегла каждую, даже самую, казалось, незначительную деталь интерьера родительской спальни, не делала там перестановок, оставляя все так, как было еще при бабушке. Одно время она собиралась перебраться туда, но так и не решилась — побоялась потревожить и разогнать ощущение незримого присутствия родителей, которое испытывала каждый раз, когда заглядывала в их комнату. Но она любила проводить там вечера, особенно осенние, когда бережный свет уходящего солнца затушевывал медовым сиянием буйное разноцветье листвы. Она могла сидеть подолгу в отцовском кресле, не тяготясь его жесткостью, с книгой или вовсе без дела, и любоваться красотой осеннего сада, ни о чем, кроме этой красоты, не размышляя — с возрастом она научилась отгонять плохие мысли. Изредка она выдвигала полочку с пепельницей и, повозюкав по ее дну указательным пальцем, приноживалась, упиваясь знакомым с детства горьким табачным

запахом, который прочно ассоциировался у нее с отцом.

Если позволяла погода, вечернюю чашечку кофе она выпивала на балконе родительской спальни. Неотрывно глядела на линию горизонта, постепенно выцветающую из ярко-золотистого в постиранный голубой. Пела иволга, перебивая свой же монотонный свист нежно-вопросительной, берущей за душу трелью. «Надо же! — удивлялась Сильвия. — Всю жизнь слушаю ее пение и не могу наслушаться».

В последний месяц, когда стало ясно, что матери ничем уже не помочь и она потихоньку угасает, Сильвия мыла ее здесь же, приспособив под купание большой жестяной таз, в котором замачивала белье. Она растирала исхудавшее тело матери полотенцем, подстригала ногти, одевала в чистое, бережно расчесывала поредевшие волосы, сушила их феном. Непременно повязывала любимый шелковый платок, предварительно слегка его надушив. Мать по-детски трогательно задирала подбородок и подставляла шею, чтобы удобнее было завязать платок, и благодарно улыбалась. Говорить она совсем уже не могла, чаще, напичканная лекарствами, спала, и тогда Сильвия лежала подолгу рядом, глядя ее по руке, или же, оставив приоткрытой дверь, чтоб услышать, если она проснется, уходила в соседнюю комнату, где, включив телевизор на маленькую громкость, смотрела какой-нибудь сериал. Вечерами, когда солнце закатывалось за плечо Хали-Кара, она выносила больную на балкон. Та лежала на тахте, накрытая теплым пледом, а Сильвия, устроившись

за крохотным столиком, пила кофе. Если мать пребывала в благостном настроении, она пересказывала ей новости или читала ее любимого О. Генри. Мать слушала, прикрыв глаза, иногда слабо улыбалась. Если уставала, сжимала пальцы в кулак или же легонько хмурилась, и Сильвия тотчас же покладисто прерывала чтение. И наступала такая тишина, что слышно было, как внизу, на самом дне ущелья, шумит ледяная горная речка. Сильвия каждый раз с удивлением подмечала, как резко, словно по мановению палочки, умолкает птичий гомон. Только что вроде бы щебетали довольные ласточки и склочно чирикали воробьи, — а вот уже наступила вязкая деревенская тишина, густая и непроходимая, словно илистый берег водоема. Следом за крошечной тишиной приходил запах моря. Он поднимался со дна ущелья и затопливал собой, казалось, все видимое и невидимое пространство. Сильвия думала, что только сама его ощущает, но однажды мать сквозь полудрему прошелестела: «Так пахнет, что кажется — если прислушаться, можно различить плеск волн». — «Чем пахнет?» — «Морем».

Она умерла в последнюю неделю октября, не приходя в сознание и не попрощавшись с дочерью. С тех пор Сильвия не отмечала своего дня рождения, не оттого, что наступал он сразу за очередной годовщиной смерти матери, и даже не в знак траура по ней, а потому, что с уходом родителей не видела смысла в своем существовании.

С подготовкой спальни она провозилась до ночи. Перемыла по новой окна и вынесла на стирку шторы, натерла полы воском. Перетащила в хозяй-

ственную комнату содержимое бельевого сундука. Освободила все полки шкафа. Поколебавшись, принесла из своей комнаты истрепанный томик стихов Терьяна ¹, положила его в ящичек прикроватной тумбочки — пусть побудет возле дочери, постережет ее покой.

Домой добрались быстрее, чем на прогулку собирались. Вдовая Сильвия наконец-то приноровилась к ходу коляски и даже научилась, легонько налегая на ручку, объезжать неровности на дороге. В какой-то миг ей показалось, что младенец проснулся, и она, осторожно отогнув край шторы, заглянула к нему, но он спал, крепко укутанный в одеяльце, совсем еще крохотный, не отошедший от перехода из одного мира в другой, но, судя по довольноному круглому личику — вполне уже с этим смирившийся. Глаза его были полуоткрыты, умиленно торчали редкие реснички, крылья носа украшала мелкая россыпь белых пятнышек, щеки слегка румянились от холодного воздуха. Вдовой Сильвии нестерпимо захотелось взять его на руки, прижать к себе, вдохнуть молочный запах нежной кожи, и она даже потянулась к нему, но сразу же одернула себя, обозвав безголовой дурой. Катил коляску, представляя, как вернется домой, как поскребется в комнату дочери, как та проснется — пахнущая сладким покоем ее девочка, как, поморщившись от тянущей боли — шов после кесарева быстро затягивался, но упорно ныл, она

¹ Ваан Терьян (1885—1920) — армянский поэт.

повернется на бок, высвобождая из прорези ночной рубашки набухшую, в прожилках голубых вен, большую грудь и станет кормить сына, водя по его щечке указательным пальцем, а он будет жадно пить, давясь тугой струей молока, вынуждая мать оттягивать сосок, чтобы дать ему отдышаться, и строить умильные гримасы, сердясь, что прерывают кормление. Ишь, сам размером с носовой платок, а уже с характером, растроганно прошепчет Вдовая Сильвия, подкладывая под щечку внука салфетку, чтобы поймать тоненькую струйку молока, вытекающую из жадного ротика.

А потом он уснет у матери под боком, и она будет лежать — неловко изогнувшись, подложив под щеку ладонь, и без устали любоваться им. Ровно так много лет назад любовалась новорожденной дочерью Сильвия, ровно так водила пальцем по ее щечке, когда она, давясь молоком, жадно пила, втягивая воздух крохотными, в булавочную головку, ноздрями, чепчик ее съехал набок, обнажив прозрачную раковину розового ушка и нежный пух волос, золотистый от матово-рассеянного света ночника. Пеленка, на которой она лежала, завернулась с краю, и Сильвия пригладила ее, а потом водила пальцем по контурам пушистых желтых цыплят и утят, мохнатых облаков со смеющимся круглощеким солнышком, и, если бы ее спросили, что такое счастье, она бы ответила, ни секунды не сомневаясь: счастье — вот оно, рядом, и другим оно не бывает.

Анна проснулась сразу, как только мать приоткрыла дверь в комнату. Сонно улыбнулась, спросила одними губами — как погуляли? Прекрасно,

тоже одними губами ответила Вдовая Сильвия, и сразу же повысила голос — чего это мы шепчем, он ведь пока почти ничего не слышит! Она подробно рассказала о прогулке, в красках расписав историю старушек и благоразумно опутив новость о трагедии, постигшей семью Сайинанц Петроса (зачем расстраивать кормящую мать). Обрадовав дочь вестью о чуде раздобытом просвирняке, она ушла на кухню — варить суп. Мацуна для чесночного соуса осталось совсем мало, пришлось разбавлять водой. Нужно будет позвонить молочнице, заказать литров пять молока, чтоб и мацун заквасить, и творога сготовить — последний на завтрак ушел. После смерти матери Сильвия вынуждена была продать корову и коз — возни с ними было много, да и деньги были очень нужны. Ну а потом, когда выправилась, заводить снова живность не стала, рассудив, что молока ей нужно совсем мало, дешевле покупать, чем со скотиной возиться.

Выключив под кастрюлей огонь, она сразу же налила тарелочку супа, а вот добавлять туда чесночный соус не стала, вовремя вспомнив, что острое может испортить вкус материнского молока. Заставив поднос корзиночкой с хлебом и блюдцем с малосольной брынзой, она, осторожно ступая, направилась к комнате дочери. Толкнув локтем дверь, поймала конец фразы, которую та произнесла с нескрываемой нежностью: «...как стану выходить из дому, первым делом отправлю тебе по почте фотографии ребенка...»

Анна при виде входящей в комнату матери смешалась, на полуслове оборвала себя и отключила телефон. Ничего не говоря, Вдовая Сильвия

поставила поднос на прикроватную тумбочку таким образом, чтобы дочери не нужно было за ним тянуться. Та приподнялась на локте, коснулась ее руки.

— Мам, я просто хотела...

— Не оправдывайся.

— Он мой отец, он имеет право видеть внука. — Анна досадливо поморщилась, сердясь на себя за то, как все так глупо вышло.

С усилием проглотив колючий ком в горле, Сильвия выдавила: «Ешь, пока не остыло. А я пойду чаю заварю».

Боясь выпалить в сердцах лишнее и обидеть ни в чем не повинную дочь, она поспешно вышла из комнаты. Добравшись до ванной, закрылась там с той поспешностью, с которой запираются, спасаясь от преследования. Дышать стало невозможно: воздух, превратившись в стеклянные осколки, ранил горло и рвал легкие. Сердце с такой яростью билось в груди, будто хотело проломить ребра и выскочить наружу. Вдовая Сильвия пустила воду, подержала под ледяной струей руки, не ощущая холода. Подняла глаза, поймала в зеркале искаженное злостью свое лицо, усмехнулась. Яростно ополоснулась и утерлась полотенцем. Слез не было, отчаяния тоже. Только каменная, неподъемная обида, с которой она справляться так и не научилась.

— Ма-ам? — раздался за дверью обеспокоенный голос Анны. Она не сразу вспомнила, как отпирается задвижка, бестолково подергала ручку, наконец-то сообразила, что нужно отвести в сторону металлический язычок и нажать на кнопку. Дочь

стояла в узком коридорчике — босая, в ночной рубашке, придерживая себя под животом, с заколотым на макушке растрепанным пучком волос — и жалко кривила рот. Вдовая Сильвия еще не научилась распознавать все ее гримасы, но именно эту, беспомощно-виноватую, успела выучить наизусть. Анна всегда так делала, когда пыталась исправить неловкую ситуацию, возникшую из-за допущенной ею оплошности. Нужно было как можно скорее уводить разговор в сторону, чтобы она не расплакалась.

— Кто тебя просил шлепать босой по холодным полам! — напустилась Вдовая Сильвия на дочь. — Простыть хочешь? Мастита тебе не хватало? Ну-ка, марш в постель!

Анна подалась вперед, крепко, всем телом прижалась к матери, словно желая обратиться с ней в единое целое, горячо зашептала:

— Прости, пожалуйста. Если ты против, я больше не буду говорить с ним о ребенке.

— Я бы очень тебя ругала, если бы ты именно так поступила, — ответила Вдовая Сильвия, делая ударение на «так».

Она накинула на плечи дочери банный халат, заставила надеть свои тапки и повела ее в спальню, легонько подталкивая в спину и причитая — ишь чего надумала, глупенькая! Дочь шмыгала носом, трогательно цеплялась за ее рукав тонкими длинными пальцами и приговаривала — мамочка, мамочка.

Других детей у родителей Сильвии не случилось. Причиной тому был досадный резус-конфликт, с

которым медицина в пятидесятые годы прошлого столетия не умела еще справляться. Впрочем, родители были из породы людей, умудряющихся даже в самом грустном сыскать крупицу хорошего, потому не сильно по этой причине расстраивались. Или же умело скрывали свои переживания, и в первую очередь — друг от друга. Сильвия не припомнила бы ни одного разговора, где они сокрушались, что не смогли родить еще детей.

Она росла в безграничной любви. Каждый ее день рождения превращался в огромный праздник, а подарков, которые она обнаруживала под новогодней елкой, хватило бы на всю ее детсадовскую группу. Она почти не знала запретов, не имела ни малейшего представления о телесных наказаниях, коими не гнушались в других семьях, и искренне расстраивалась, когда кто-то из сверстников жаловался на своих родителей. В ее представлении отец с матерью были божествами, которые ничего, кроме беззаветной любви и поклонения, не заслуживали.

Окончила школу Сильвия с золотой медалью и, с блеском сдав вступительные экзамены, поступила на математический факультет Ереванского государственного университета. Снимала комнату с одноклассницей Офелией, поступившей на филологический факультет. Девочки, не особо близкие в школе, за студенческие годы сроднились и, совершенно не кривя душой, называли друг друга сестрами. Для Офелии, выросшей с двумя братьями-дуболомами, Сильвия стала настоящей отдушиной: с ней можно было говорить обо всем, делиться секретами и мечтами, не боясь напороться на грубые

издевки и обидные тумак. Сильвия же привязалась к подруге всей душой.

Девушки со второго курса получали повышенную стипендию, потому умудрялись не только не зависеть от родных, но и в каждый свой приезд привозить им гостинцы. Не пропускали спектаклей и концертов, ходили на дополнительные образовательные лекции. Влюбившись во французскую «новую волну», караулили фильмы Франсуа Трюффо и Жан-Люка Годара. Открыв для себя утонченный западный мир, старались по возможности ему соответствовать, в том числе и в быту. Хозяйка дома, у которой они снимали угловую комнату, женщина склочная и патологически скупая, с завидным постоянством устраивала им разносы, обвиняя в расточительности. «Это что за мещанство?» — скандалила она, выдергивая из-под вазочки с фруктами белоснежную батистовую салфетку, которую Сильвия купила у обнищавшей старенькой аристократки.

— Так красиво же! — оправдывались девушки, которым в голову бы не пришло ответить грубостью хоть и чужой, но годящейся им в матери женщине.

Хозяйка выуживала из посудного ящичка купленные на блошином рынке золоченые ножи для рыбы и размахивала ими, словно саблями:

— Вы еще скажите, что и это красиво!

— А что в этом некрасивого? — сдвигала к переносице брови Офелия. Закаленная в боях с братьями, она, в отличие от Сильвии, мгновенно теряющейся в ссоре, умела хотя бы настаивать на своем.

— Буржуазное излишество — вот что в этом некрасивого! Комсомолки голову всякой ерундой не забивают, они думают о светлом будущем страны! — выпаливала хозяйка и, кинув обратно ножи, с грохотом задвигала ящичек. Девушки давно бы сняли другую комнату, но останавливало удобное расположение дома: он находился в самом центре города, до университета и большинства театров рукой подать. Потому они сносили скандалы и несуетную скупость хозяйки, запрещавшей включать после десяти вечера свет. Из-за этого они вынуждены были ставить будильник на самую рань, чтобы не приходиться на занятия неподготовленными.

Однажды, удачно сдав зимнюю сессию, девушки вознамерились устроить по этому случаю светские посиделки: купить севанской форели и белого вина, а на десерт — фруктов и кусочек рокфора. Офелия снарядила подругу за продуктами на рынок, а сама, смыв косметику и сурово замотавшись чуть ли не по самые глаза в шерстяной платок (мало ли какие опасные личности обивают пороги магазинов, торгующих спиртным), пошла за вином. Продавец, курносый курчавый юноша, сын французских репатриантов, на вид совсем подросток, невозможно долговязый и длиннорукий, видя, как взопревшая от жары и волнения Офелия переминается перед витриной, прочитал ей небольшую лекцию о благородных качествах рислинга и уверил, что ничего приятнее она еще не пила. Офелия, плененная не столько лекцией, сколько манерами юноши — представившись, он обращался к ней старосветским «ориорд»¹ и каждый раз извинялся, когда ка-

¹ Обращение к незамужней девушке (арм.).

сался кончиками пальцев ее локтя, чтобы подвести к другой витрине, безропотно купила рекомендуемое.

Вино действительно оказалось хорошим, кислотным и немного даже солоноватым, удачно оттеняющим нежный вкус рыбы. К возвращению подруги Сильвия успела припустить форель в сливочном масле с эстрагоном и запечь картофель. Получилось до того вкусно, что девушки съели все в один присест, хотя предполагали растянуть рыбу на два дня. Покончив с ужином, они приступили к десерту: красиво разложили на блюде сыр, виноград и орехи, заварили кофе, разлили по бокалам остатки вина, завели патефон. За десертом их и застала заглянувшая за очередной комнатной платой хозяйка. Окинув колючим взглядом красиво сервированный стол, она не преминула учинить новый скандал. И неожиданно для себя натолкнулась на решительный отпор: терпение девушек лопнуло, да и выпитое вино придало им храбрости, потому они, не сговариваясь, подхватили под мышки опостылевшую хозяйку, выволокли ее из комнаты и захлопнули перед ее носом дверь.

— Я надеюсь, вы эти тридцать рублей пустите на строительство будущего страны! — ехидно бросила Офелия, сунув ей деньги. Сильвия прыснула и сползла по стенке, шепотом подсказывая: «Светлого! Светлого будущего».

Придя в себя от потрясения, хозяйка какое-то время заливисто ругалась и даже пыталась втиснуться в окно, но разошедшаяся Офелия пригрозила отрезать ей язык рыбным ножом. Угроза удивительным образом возымела действие: хозяйка

прекратила третировать постоялиц и даже стала закрывать глаза на горящий по вечерам свет.

Вскорости у Офелии завязались отношения с тем самым юношей из винного отдела гастронома. На четвертом курсе она вышла замуж и съехала к нему на квартиру. Последний год обучения отчаянно скучающая по подруге Сильвия вынуждена была прожить одна. Она часто заглядывала в гости к молодоженам и, наблюдая их трогательные отношения, мечтала о такой же любви. Однако никому из кавалеров, коих на математическом факультете было множество, она предпочтения так и не отдала: сверстники казались ей дураковатыми легкомысленными подростками. Сильвия мечтала о таком мужчине, каким был герой Высоцкого в фильме «Служили два товарища». Ее покорила образ мужественного поручика-белогвардейца, самоотверженно и по-настоящему любящего страну и не представляющего своей жизни без нее. Офелия, не понимающая, как можно предпочесть красным офицерам белогвардейца, восторгов подруги не разделяла, но благоразумно помалкивала, ведь сама тоже отличилась, выйдя не за обычного советского комсомольца, а за сына репатриантов, бежавших от большевиков во Францию сразу после падения армянской республики и вернувшихся на родину лишь после Второй мировой войны.

Замуж Сильвия вышла по меркам того времени поздно — в двадцать три года. Пропустив мимо ушей увещевания декана, прочившего ей большое

научное будущее, она не стала продолжать учебу в аспирантуре и попала по распределению в город Иджеван. Ромик был старше ее почти на десять лет. Выпускник исторического факультета университета и активный общественник, он к тридцати двум годам успел продвинуться по карьерной лестнице и дослужиться до секретаря комитета по образованию. Со столь молниеносным продвижением ему помогли связи и влияние отца, первого секретаря Иджеванского райисполкома. Познакомились молодые люди в школе, куда с проверкой выбралась комиссия роно. Сильвия к тому времени из худенького, почти тщедушного цыпленка, каким пробывала почти все студенческие годы, превратилась в цветущую девушку с довольно выдающимися, но совершенно не портящими ее стройного сложения формами. Росту она была небольшого, однако выглядела значительно выше благодаря тонкококстному легкому строению и гордой посадке головы. Не свыкнувшись с метаморфозами, которым буквально за полтора года подверглось ее тело, она слегка сутулилась, пытаясь зрительно уменьшить крупную грудь, и носила длинные пиджаки, прикрывающие отяжелевшие бедра. Впрочем, старания были излишни — даже объемная верхняя одежда не в силах была скрыть ее завлекательных округлостей. Единственное, что она успешно прятала от посторонних глаз, — это удивительно тоненькую, в один обхват мужских ладоней, талию.

— Ты похожа на песочные часы! — ошеломленно выдохнул Ромик, впервые увидев ее не в рабочем костюме, а в шерстяном, опоясанном тонким кожаным ремешком платье.

— Скажешь тоже! — зарделась Сильвия, спрятав за спиной вспотевшие от волнения ладони.

Она влюбилась в него с первого взгляда.

Природа одарила Ромика той капризной мужской красотой, которая настораживала здравомыслящих женщин: направленный куда-то в переносицу собеседника нарочито отстраненный взгляд серо-пепельных глаз, вопросительно вздернутые брови, тонкое мятежное лицо, хищный рот. Невысокий, ладно скроенный, малословный и стремительный в движениях, он оставлял впечатление решительного человека, каким на самом деле не был. Уверенности ему придавала не убежденность в собственных силах, а крепкий тыл: всемогущий отец, сдувающая с него пылинки мать, беззаветно любящие бабушки-дедушки, которых он иронично называл «рухлядь». Ромик, как и Сильвия, был единственным ребенком в семье. Но, в отличие от своей избранницы, вырос эгоистичным и необязательным. Привыкший всегда добиваться своего, он воспринимал любой отказ как личное оскорбление, был злопамятен и обид никогда не прощал.

Сильвия замечала недостатки своего возлюбленного, но полагала, что сумеет с ними справиться. Она искренне верила, что любовью и терпением можно исправить все. Ромик был первым мужчиной, которого она по-настоящему, вполне осознанно и открыто полюбила. Он был вежлив и щедр, умел красиво ухаживать, был начитан, галантен, терпелив и не нахрапист. Как и она, ценил хорошее кино и знал в нем толк. Трогательно благодарил за любое проявление чуткости. Яичницу с помидорами, пожаренную наспех Сильвией, называл

не иначе как божественной, а свитер, который она связала ему ко дню рождения, упорно проносил почти месяц, игнорируя настойчивые просьбы матери — рукава уже лоснятся, Ромик-джан, дай постираю!

Офелия, к которой на новогодние каникулы выбрали погостить влюбленные, восторгов подруги не разделила, но и говорить ей ничего не стала, списав все на собственную придирчивость.

— Бывает ведь такое, человек неплохой, но необъяснимым образом вызывает у тебя отторжение, — после отъезда гостей нажаловалась она мужу.

Тот возразил:

— Почему необъяснимым образом? Очень даже объяснимым. По-моему, человек он не так чтобы очень хороший. И какой-то слишком самоуверенный. Будто пятно бензина на луже — красивое и бессмысленное. Думаю, она еще наплачется с ним.

Напуганная словами мужа, Офелия отправила Сильвии письмо, где предостерегала ее от скоропалительных решений. «Родная моя, знаешь, как я тебя люблю. Ты мне не чужая, и врать я тебе не стану. Хочу, чтобы ты не совершала опрометчивых поступков, потому прошу: не торопись с замужеством, взвесь все за и против. По-моему, Ромик не тот человек, который тебе нужен. Он, как бы это помягче выразиться, слишком сконцентрирован на своей исключительности. Боюсь, если выйдешь за него замуж, превратишься в его обслугу. Очень хотелось бы ошибаться, но ощущения у меня сложились совсем не радужные».

Сильвию письмо подружки задело. Отвечать на него она не стала и сделала величайшую глупость — пересказала его содержание Ромику. На этом дружба девушек закончилась. Офелия несколько раз пыталась возобновить ее, отправляла подружке покаянные письма и заказывала междугородные телефонные разговоры, но Сильвия была непреклонна: она обещала своему возлюбленному, пригрозившему ей разрывом, прекратить дружбу с Офелией. И слово свое сдержала.

Свадьбу по просьбе невесты сыграли достаточно скромную и нешумную. Семья жениха подарила новобрачным квартиру, семья невесты — раздобытую с огромным трудом путевку на курорт в Юрмалу. Первое сближение новоиспеченных супругов случилось в ереванской гостинице, где они ночевали перед отлетом, и закончилось катастрофой: у Сильвии приключился сильнейший спазм, и страдающим от невыносимой боли молодым пришлось предпринять несколько попыток, чтобы высвободиться.

Она прорыдала всю ночь, перепуганная и расстроенная, Ромик же, отойдя от боли, неумело утешал ее — не бери в голову, в первый раз всякое бывает. Она, понемногу успокоившись, принялась ревниво выспрашивать, откуда он это знает, он пожал плечами: «Женщин у меня до тебя было достаточно». — «Сколько?» — «Не считал, все равно сбился бы со счета». — «Дурак!» — «Ревнуешь?» — «Очень надо! А девственницы у тебя были?» — «Нет, что ты. Девственницу испор-

тил — будь добр жениться. А я тебя ждал». — «Ты действительно меня ждал?» — «Как видишь».

Сильвия лежала на спине, сложив под головой руки, и старалась не думать о саднящей боли в промежности. Ромик откинул одеяло, несколько секунд любовался ее красивым телом, медленно, старательно провел по нему горячими ладонями, будто стремясь запомнить каждый его изгиб. Она испуганно задержала дыхание, но он, учуяв ее страх, покачал головой — «не поверишь — сам боюсь». — «Прости». — «Да ну что ты! Прилетим в Палангу, там попробуем. Ты же не была в Литве, не знаешь, как там красиво». — «Зато у меня есть литовская груша». — «А хочешь, я тебе про цветущие рапсовые поля расскажу?» — «Хочу».

Поездку на курорт Сильвия запомнила разрозненными сценами, и, как потом ни старалась, собрать их воедино не смогла: воспоминания распадались, будто плохо подогнанные части мозаики. Вот они с Ромиком заказывают ванильное желе со взбитыми сливками, и она признается, что никогда не ела ничего вкусней, а он дразнит ее деревенщиной. Вот они в Музее янтаря наблюдают доисторическое насекомое в медовом осколке застывшей смолы, и она никак не поверит, что наличие этого прозрачного трупика делает янтарь в разы дороже. Вот они, затаив дыхание, любовются сдержанной красотой костела Успения Пресвятой Девы. Вот стоят на закатном берегу, взявшись за руки, и наблюдают фантастическое небо Балтики, затянутое от края до края рваными лоскутами бирюзовых и абрикосовых облаков... А вот она каменеет от малейшего прикосновения мужа и бессильно рыдает

от боли и унижения, ощутив очередной спазм, стеснивший мертвыми тисками ее бедра. Ромик, не меньше ее переживавший происходящее, раз за разом мрачнел, не понимая причину приступов жены и не зная, что сделать для того, чтобы предотвратить их. «Возможно, я просто урод», — как-то, доведенная до отчаяния очередным приступом, сквозь рыдания пролепетала она. «Возможно», — бросил он, ранив ее своим ответом до глубины души.

Вернувшись в Иджеван, Сильвия сразу же собралась к врачу. Попытка гинеколога провести осмотр закончилась чудовищной истерикой — она не позволила ему не то что прикоснуться, а даже приблизиться к себе. Он немедленно направил ее к психиатру, заверив, что проблемы у нее не по женской части, а вот здесь — и для наглядности постучал себя по лбу. К психиатру Сильвия не пошла из страха, что тот запрет ее в клинике для душевнобольных. Мужу она соврала, что все с ней в порядке, нужно просто немного потерпеть, а сама, записавшись на прием к терапевту и пожаловавшись на плохой сон, выпросила снотворное. Посоветоваться ей было не с кем — мать расстраивать она не собиралась, да и постеснялась бы затрагивать с ней столь личные темы, а с Офелией, которой она, ни секунды не сомневаясь, открыла бы душу, прекратила общение. Рассудив, что таблетка димедрола, выпитая на ночь, позволит расслабиться и справиться со страхом, она решила таким образом бороться с приступами. Снотворное действительно помогло, по крайней мере, оно притупило чувство паники, и обрадованная Сильвия собиралась при-

нимать его регулярно несколько месяцев, а потом, постепенно уменьшая дозу, отменить вовсе. Но скоро обнаружилось, что она забеременела, и самоличение пришлось прекратить.

Сильвия до последнего откладывала поход к гинекологу, памятуя об истерике, которую закатила у него на приеме, однако на третьем месяце беременности все-таки собралась — нужно было заводить карту и определяться с акушером. Убедить свекровь не ехать в поликлинику она не смогла — та мало того что настояла на своем, еще и выпросила у мужа служебную машину, чтобы торжественно доставить беременную невестку к врачу. С того визита жизнь Сильвии и покатила под откос. Она снова не смогла подпустить к себе гинеколога, а на вопрос, сходила ли к психотерапевту, ответила уклончивой скороговоркой «как-нибудь потом». Свекровь, женщина вполне милая, но темная, став свидетелем истерики невестки, сделала неутешительные выводы о ее психическом состоянии и затрубила в рог. Следующий год превратился для Сильвии в бесконечное испытание. Беременность она провела на сохранении. После родов, заставив на втором месяце прекратить кормление грудью, свекровь затаскала ее по врачам. К тому времени отношения с Ромиком у Сильвии совсем разладились: он все чаще срывал на ней злость, обзывая ненормальной, а потом и вовсе стал игнорировать. Скоро у него завязались отношения с секретаршей, женщиной разведенной и ушедшей, которая, будучи в курсе событий, растрезвонила по всему городу о «сумасшествии» Сильвии. Сильвия предприняла попытку вырваться из замкнутого круга и упростила

мужа отпустить ее с дочерью на неделю к родителям, вознамерившись никогда больше не возвращаться. Но любовница Ромика, моментально разгадав ее план, предостерегла его от опрометчивых поступков. Она отлично понимала, что заполучить его сможет только в случае, если дочка останется с ним, потому не просто отсоветовала отпускать жену к родителям, но и вскользь предложила упрятать ее в стационар, чтобы «ее там наконец-то вылечили». Вместе с тем она развернула масштабный фронт работы, набиваясь в доверие к матери любовника, и, добившись своего, настроила ее против «полоумной» невестки, утверждая, что она, будучи не в себе, подвергает опасности жизнь ребенка.

Спустя годы, прочитав множество медицинских статей о вагинизме, Сильвия сокрушалась, почему такое должно было случиться именно с ней. Почему ей так не повезло с лечащими врачами и мужем. Будь первые более знающими, а второй — терпеливее, и с ее бедой можно было бы справиться. Она бы сама, наверное, смогла выкарабкаться, если бы понимала, что с ней творится. Но никто не объяснил, не успокоил, не убедил, что ее вины в происходящем нет... Врачи выписывали успокоительные препараты, которые не помогали, а свекровь, не скрывающая своей неприязни, норовила всякий раз упрекнуть ее в полоумии.

Два года пребывания в севанской психиатрической клинике Сильвия запомнила одним нескончаемым беспросветным днем. Ее бы, скорее всего, не упрятали туда, если бы она, доведенная до отчаяния грубостью мужа и пренебрежительным отношением свекрови, не сделала попытки бежать.

Последней каплей стала безобразная сцена, которую ей устроил полупьяный Ромик. Она вышла из ванной, на ходу натягивая на голое тело халат, он толкнул ее, зашипел, больно тыча пальцем в грудь и в бедра: «Зачем тебе такое тело, если толку от него никакого!» Она попыталась прикрыться руками, но он повалил ее на пол, перевернул на живот, придавил коленом и, дотянувшись до горшка с алоэ, опрокинул его ей на голову, стараясь, чтобы земля высыпалась на лицо.

На следующее утро, под предлогом прогулки с ребенком, Сильвия вышла из дому и, миновав сквер, где обычно проводила утренние часы, направилась на автовокзал. Чтобы не привлекать к себе внимания, решила переждать время до автобуса в привокзальном кафе. Заказала какао и булочку с сосиской, села спиной к окну, проверила, спит ли ребенок, раскрыла для отвода глаз книжку, притворяясь, будто увлеченно читает. За тем занятием ее и застал Ромик. Произошедшее дальше вымылось из памяти Сильвии почти без следа. Единственное, что она помнила, — как выхватила дочь из коляски и не выпустила ее даже тогда, когда муж резко пнул ее в бок. Задыхаясь от боли, она сползла на пол, крепко прижимая к груди свою плачущую девочку, и тогда он, ударив ее кулаком по голове, вырвал ребенка. Она вцепилась в край пеленки, слышала, как трещит ткань, перепугалась, что сделает больно дочери, но не смогла разжать пальцев. Ее так и отвезли в клинику — с крепко стиснутым в кулаке лоскутом пеленки, пушистые желтые цыплята и утята, мохнатые облака со смеющимся круглощеким солнышком, желтое

на белом, оранжевое на белом, красное на белом...
Но этого она уже не помнила.

Главврач клиники, понимая, что целью могущественной партийной семьи было не лечение, а желание изолировать пациентку на какое-то время, велел не пичкать ее лекарствами, в коих она и не нуждалась. Сильвии отвели угол в том крыле клиники, где не было больных. Свыкнувшись с новым положением вещей, она попросила хоть какую-нибудь работу, чтоб не сойти с ума. Ей доверили глажку в прачечной, и она проводила там долгие часы, выглаживая высоченные стопки белья. Она молча выслушивала монотонные жалобы прачек — на мужей и детей, на бытовые неурядицы, и думала, до чего они далеки от настоящих проблем и как же счастливы, что не осознают этого.

Прознав о ее математическом образовании, Сильвию вызвали в бухгалтерию клиники, чтобы она помогла со счетами. Там она быстро освоилась: аккуратная и обязательная, за короткое время изучила по учебникам бухучет и большую часть работы со счетами и документацией взяла на себя.

Раз в месяц к ней приезжали родители — чаще видеться им не разрешалось. Сильвия, боясь расстроить их еще больше, не открывала причин, по которым попала в клинику. Объяснила все неврозом и обещала, что скоро ее выпишут. Мать с отцом, оберегая ее душевный покой, не рассказывали о хамском приеме, устроенном им зятем, и о том, как он выпроводил их из квартиры, не дав даже взглянуть на внуку. Все их попытки забрать

дочь из клиники раз за разом терпели неудачу, а однажды, когда мать Сильвии, отчаявшись, разрыдалась в кабинете главврача, тот бросил в сердцах: «Вы бы радовались, что она здесь, какая уверенность, что там, на свободе, — он кивнул в сторону затянутого металлической решеткой окна, — она была бы в безопасности?»

— Да что же такое она совершила, за что ей может грозить опасность? — побледнел отец.

Главврач пожал плечами.

— Возможно, не за того человека вышла замуж?

Отца своего в живых Сильвия не застала — он умер за два дня до ее выписки из клиники. Судя по тому, как все было спешно обставлено, причиной выписки стал именно его скоропостижный уход. В Иджеван ее, по распоряжению главврача, доставили на карете скорой помощи. Она сидела на жесткой лавочке, вцепившись в ее острые края, и разглядывала обшарпанный салон машины. Заметив удивительно знакомую, в форме утиной лапки, царапину на обшивке потолка, она пыталась вспомнить, где видела ровно такую же, и наконец сообразила, что именно на этой машине ее два года назад привезли из Иджевана.

В ногах Сильвии стоял крохотный фанерный чемоданчик, который она выпросила у сестры-хозяйки. Она придерживала его пяткой, чтобы он не отъехал в сторону — машину нещадно мотало на резких поворотах серпантина. В чемоданчике лежали две смены белья и бутерброды с докторской

колбасой, которые ей наспех сообразили в столовой, потому что она уезжала, не успев позавтракать. В кармане жакета, завернутый в тетрадный лист, лежал лоскут пеленки. Он всегда был с ней: ночью она прятала его под подушкой, а днем носила в отвороте рукава больничного халата. Сильвия не сомневалась, что сохранила разум благодаря этому лоскуту и визитам родителей.

Добравшись до Иджевана, она сразу же помчалась в собственную квартиру. На звонки никто не открывал, и она, устроившись на подоконнике, приготовилась ждать. Соседка, проходя мимо, поинтересовалась недовольным тоном, что она делает на лестничной площадке, а на ее удивленное «Разве я так изменилась, что ты меня не узнала?» всплеснула руками: «Как же ты осунулась, одна тень от тебя осталась!» Она отвела Сильвию к себе, напоила кофе, рассказала, что Ромик женился и перебрался в собственный дом, а эта квартира уже год как пустует.

— Как там... моя дочка?.. — спросила одними губами Сильвия.

Соседка, любящая вкусно и плотно поесть, расплылась в умиленной улыбке:

— Хорошенькая такая, пухленькая. Будто испеченная на сливках и топленом масле булка.

И она повела руками, изображая воздушный, умопомрачительно пахнущий круг сладкой выпечки.

Сильвия, поблагодарив за кофе, стала прощаться. Соседка порылась в сумке, протянула ей рубль — больше дать не могу, Сильвия-джан! Но она замотала головой — ну что ты, деньги есть! Деньги у нее действительно были, пятьдесят

рублей одной бумажкой, выданные ей главврачом клиники, она спрятала в карман фанерного чемоданчика. Она не хотела их брать, но он настоял и, помогая ей взобраться в карету скорой помощи, повинулся скороговоркой: «Ты прости, пожалуйста, что все так вышло, я человек подневольный, у меня семья...» «Я все понимаю, — мягко оборвала она его и, приобняв, прошептала на ухо: — Я никогда не забуду вашей доброты».

Сильвия надеялась, что горькая участь, выпавшая на ее долю стараниями Ромика, заставила его пересмотреть свое отношение к ней и, быть может, пожалеть о случившемся. Но, придя к нему на работу, она поняла, как горько ошибалась. Об угрызениях совести не могло быть и речи. При виде жены он недовольно поморщился, вылез из-за стола, встал напротив, сложив на груди руки и широко расставив ноги. Он совсем не изменился, если только чуть прибавил в весе, и от этого когда-то тонкое и нервное его лицо приобрело новое, обманчиво благодушное выражение. Не ответив на приветствие Сильвии, он обвел ее колючим взглядом, скривил губы:

— Как же ты подурнела!

Сильвии потребовалось немало усилий, чтобы унять волнение.

— Мне от тебя ничего не нужно. Я за дочерью. Заберу ее и уеду, и ты меня никогда больше не увидишь, — справившись с дрожью в голосе, произнесла она, рассчитывая, что ее уверенность утихомирит его. Но вышло наоборот. Он надвинулся на нее — она сжалась, ощутив плотную и опасную силу его ненависти, и отшатнулась, прикрыв лицо ладонями.

— К-какая дочь! — грубо отведя ее руки, зашипел он. — Кто тебе, полоумной, состоящей на учете в психдиспансере, доверит ребенка?

Сильвия отступила на шаг, ударилась плечом об угол шкафа. Задыхаясь от собственного бессилия, просипела:

— Ты не сможешь так поступить! Я на тебя в милицию пожалуюсь! Я на тебя в суд подам!

Он расхохотался — делано и зло. Она тотчас ощутила забытый спазм внизу живота, съежилась от страха.

— Попробуй, и посмотришь, чем это закончится. Я запрячу тебя в дурку на всю жизнь. Или ты сомневаешься, что я смогу это сделать?

И, толкнув ее больно в плечо — она отлетела словно пушинка, к стене, но удержалась на ногах, добавил со злорадством:

— На твоём месте я бы домой ехал, завтра похороны твоего отца. Преставился папаша-то!

Сильвия не поняла, как кинула в него чемодан. Ей казалось — она не пошевелилась. Однако чемодан, пролетев и перевернувшись в воздухе, с глухим стуком угодил Ромику в лоб. Он резко согнулся и, грязно матерясь, подставил ладонь под капающую кровь.

Сильвия вышла из кабинета, думая, что ее задержат и вызовут милицию. Но ее никто не остановил.

Добравшись до автовокзала, она сообразила, что деньги остались в фанерном чемоданчике. Разрыдавшись от бессилия, полезла за носовым платком в карман, нащупала там мятую бумажку. Тщательно расправила ее на ладони, закусил губу.

Сердобольная соседка незаметно сунула рубль в карман жакета, когда обнимала ее на прощание.

Берд встретил ее горьким дымом тлеющей прошлогодней листвы и настойчивым, до головокружения, запахом моря. Она вдохнула его полной грудью, но удержать в легких не смогла — ее мгновенно замутило. Вспомнив, что за целый день ничего не поела, она первым делом добралась до питьевого фонтанчика и принялась пить аккуратными крохотными глотками, ощущая, как понемногу отступает тошнота.

— Сильвия-джан? — раздался над ухом звонкий, почти детский голос. Она подставила ладони под холодную струю воды, умылась, протерла лицо рукавом и лишь тогда, выпрямившись, ответила:

— Да?

Она не сразу узнала Косую Вардануш — видела ее в последний раз еще будучи студенткой, когда приезжала на каникулы домой. Знала о ней мало: только то, что безвредная дурочка, что живет с одинокой матерью на Садовой улице. Пожалуй, это было все, что она о ней помнила. Сильвия так давно не была в Берде, что ничего о нем и его жителях не знала.

— Ты меня узнала, Вардануш? — спросила она, застегиваясь на все пуговицы — влажной вечерней прохладой пробирало до костей. Весна хоть и вступила в свои права, но не торопилась хозяйничать в полную силу, и



подмораживало вечерами до основательного холода.

Вардануш вытащила из сумки желтое, в мелкую крапушку, яблоко, протянула ей:

— Мытое, не думай. Ешь.

Сильвия принялась жевать, не ощущая вкуса. Вардануш взяла ее за руку и повела словно маленькую, заботливо предупреждая: здесь дорогу переходить, поворачиваем налево, а тут приступочек, будь осторожна.

— А папа действительно умер? — осторожно, боясь пораниться о слова, спросила Сильвия. Всю дорогу она тешила себя робкой надеждой, что муж солгал о смерти отца, чтобы сделать ей больно.

Вардануш молча погладила ее по щеке. Сильвия тонко заскулила, сунула ей надкушенное яблоко — доешь за меня, я не смогу. Так и шли к ее дому — она плакала, а Косая Вардануш вела ее за руку и грызла яблоко.

К тридцати пяти годам Сильвия осталась совсем одна. Если не считать писем от Офелии и редких ее визитов, когда та выбиралась к матери в Берд, других близких у нее не было. С подругой они помирились на похоронах отца и никогда больше не прерывали общения. Офелия обняла ее, поцеловала, сказала какие-то очень нужные слова. Она была сильно беременна, потому стояла боком, чтобы иметь возможность прижаться к ней. Сильвия, пожурив ее за то, что рискнула проехать долгий путь в таком состоянии, погладила ее по большому животу, спросила, когда роды.

— Недели через две, — зачастила Офелия, восполняя прерванное на долгие годы общение, — это второй ребенок, первому, Арамику, три с половиной года. Думаю, снова будет мальчик. Хотелось бы, конечно, чтобы девочка... — Она осеклась не договорив.

— Пусть будет девочка, — искренне пожелала Сильвия.

Она старалась ни с кем не говорить о своей дочери. Предприняв несколько попыток добиться через суд и органы опеки возможности хотя бы изредка видаться с ней (и там и там, забрав у нее заявление, спустя время, пряча глаза, отказали), — она сдалась. Кроме Офелии, которой она, крайне редко и стесняясь, рассказывала о подавленном своем состоянии, никто не знал, каких ей стоило усилий смириться со своей участью. Внешне Сильвия выглядела спокойной и даже умиротворенной, казалось, она разделила свою жизнь пополам, оставив позади прошлое и никогда больше не намереваясь к нему возвращаться.

После клиники она не стала устраиваться в школу — знала, что ее туда не возьмут. Пришла на недавно открывшийся консервный завод, продемонстрировала красный университетский диплом, рассказала, что проработала два года помощником бухгалтера. Директор, сжалившись, велел оформить ее на полставки счетоводом. Спустя три года, выучившись на заочном отделении института народного хозяйства, Сильвия оформилась на полную ставку, а потом, дослужившись до позиции главного бухгалтера, не покидала ее до самой пенсии.

На работе ее ценили, но дружить не спешили и даже сторонились ее — умудрившись наладить со всеми одинаково уважительные отношения, она намеренно сохраняла с коллегами дистанцию, не позволяя ее нарушать. Со временем за ней укрепилась слава замкнутой и прижимистой женщины. Если замкнутость можно было объяснить одиночеством и тяжелыми испытаниями, выпавшими на ее долю, то прижимистость Сильвии раздражала всех. Зарабатывала она достаточно, но никому в долг не давала, объясняя это отсутствием денег. В кассу взаимопомощи, популярную в советские времена, тоже не записывалась. Одевалась всегда крайне скромно, могла в одном пальто лет десять проходить. Красоты не наводила — умоется, напудрится, заколет на затылке в тяжелый узел волосы, изредка надушится капелькой духов, оставшихся после матери, — вот и вся красота. Настоящей ее слабостью были походы в местный универмаг. Поднакопив денег, она брала там столовую посуду, приборы, скатерти, шторы и хорошее постельное белье. Или же, заглянув в ювелирный отдел на втором этаже, приобретала какое-нибудь украшение. Однажды купила безумно дорогой, в четыреста рублей, роскошный браслет из червонного золота. В другой раз — кольцо с изумрудом и бриллиантами, на которое откладывала почти два года. «Деньги не на что тратить, вот и набирает себе цацки», — шушукались за ее спиной вездесущие коллеги.

Когда Сильвии, записавшейся в очередь на мебель, перепал ореховый, югославского производства, матово-бежевый гарнитур, отдел кадров аж взвыл от обиды — всем доставались одинаково

темные румынские коробки, и только ей повезло на такую невиданную роскошь! Кто-то из коллег, не справившись с завистью, даже попытался уязвить ее — ты бы хоть в гости нас пригласила, похвасталась бы новой обстановкой! Но Сильвия пожала плечами — любоваться нечем, да и гостей я не особо жалую.

Изредка к ней заглядывала Косая Вардануш, торжественно вручала какой-нибудь незначительный гостинец: горсть алычи, кулечек терпких лесных груш или же круг подсолнуха. Привыкшая к одиночеству, Сильвия ее визитам не радовалась, но недовольства своего не выказывала. Она навсегда запомнила, как в тот злосчастный день Вардануш довела ее за руку до дома, как, разглядев в скудном свечении одинокой лампочки возвышающуюся возле входа крышку гроба, Сильвия легла на каменный порожек, выложенный отцом перед калиткой, и пролежала так целую вечность, а Вардануш сидела рядом, гладила ее по волосам и нараспев произносила какие-то смутно знакомые слова, смысл которых она, как ни силилась, не смогла разобрать.

Забрав у гостыи очередное подношение, она заваривала ей чай с чабрецом, сооружала бутерброды с маслом и абрикосовым джемом — от чего-то более основательного Вардануш отказывалась. Они сидели за столом и молчали, каждый о своем. Ощущая собственную неуместность и непрощенность, Вардануш ела торопливо и неряшливо, роняла на колени крошки хлеба и закапывала скатерть сладким джемом. Сильвия иногда тянулась через стол и легонько касалась ее запястья — не

спеши, милая. Когда гостя, добросовестно доев бутерброды и допив чай, уходила, она с нескрываемым облегчением выдыхала.

Редкие визиты Вардануш или же соседок, заскочивших на минуту за солью или закваской для хлеба, не разбавляли одиночества Сильвии, а наоборот — сгущали его до какого-то кристального, неопровержимого состояния. Прошрое ранило, настоящее не исцеляло, а будущего для нее, скорее всего, и вовсе не существовало.

Сентябрь восемьдесят пятого года выдался невыносимо дождливым. Лило с неба непрерывно, днем и ночью, не давая хоть каких-либо, даже коротеньких, передышек. К концу месяца Берд превратился в непроходимую топь, а на подступах к нему образовались крохотные жижистые болотца, коих в этих краях не водилось испокон веку. Когда в одном таком с виду невинном болотце чуть не утонул пятилетний правнук Кекеланц Катинки, перепуганные взрослые запретили детям выходить за размытые небесными потоками границы городка.

Подобные дождливые сентябри случались в Берде не чаще чем раз в семьдесят лет. Прошлый сентябрь чуть не закончился трагедией для той части Нижней улицы, которая располагалась у самого порога ущелья, где пенная река уходила, задыхаясь, под низенькие своды каменного моста. Не выдержав чудовищного натиска, выступ скалы обломился и, проташенный бешеным течением, пропорол плуговым лемехом дно реки. Остановился он только на подступах к мосту, расколовшись на две

неровные части. Осколок побольше, образовав собой достаточно внушительное возвышение, остался лежать на берегу, другой же, отъехав в сторону, лег таким образом, что перекрыл половодью путь, направляя потоки от дворов в сторону течения.

Нижняя улица несколько дней собиралась возле моста, цокая языком и воображая, какой трагедией могло все закончиться, если бы обломок скалы вынесло к домам. Больше всего досталось бы крайнему жилищу, где обитала семья тогда еще маленькой Катинки. Бабушка Катинки на радостях отварила двух жирных индюков без соли, разделала на порции и обошла дома соседей, благосклонно выслушивая поздравления с чудесным избавлением и кивая в ответ седой непокрытой головой. Делала она это в полном молчании, ведь тому, кто раздает жертвенное мясо, нельзя произносить ни слова, дабы снова не разгневать судьбу.

Потоп восемьдесят пятого года оживил в памяти людей почти семидесятилетней давности события. А чуть не утонувший в непролазной топи правнук Катинки, Баграт, стал героем этих дней. Мужики норовили, пожав ему, словно взрослому, руку, расспросить, как так получилось, что ему удалось выбраться. Бабы ахали и гладили его по растрепанной макушке. Баграт смущенно улыбался и стремился убраться восвояси, чтобы в одиночестве поглощать конфеты, которыми его одаривали сверх меры.

К концу сентября Нижняя улица превратилась в заводь: выйдя далеко за берега, река нещадно выкорчевала заборы, залила огороды и унесла с собой урожай. Спасенная птица прозябала на чердаках, а коров и свиней пришлось переселять

в незатопленные хлева и свинарники. Тем не менее люди не покидали своих домов: старики, дымя трубками, играли в нарды или шахматы, освобожденные от школьных занятий дети доводили своими выходками до иступления матерей, а заядлые рыбаки поднаторели удить прямо с веранд — какой смысл выходить из дому, когда река плещется прямо во дворе!

Когда дожди наконец унялись и вода ушла в прежнее русло, Нижняя улица представляла собой горькое зрелище. Люди вынуждены были работать не покладая рук, поднимая заборы, убирая из дворов нанесенные потоками воды камни и выкорчеванные с корнем деревца, вычищая нужники и выгребая глину из компостных ям. Заново точился успевший заржаветь садовый инвентарь, прокладывались улочки, перекапывались огороды и обрезались фруктовые деревья, а скисшие полы первых этажей пришлось выравнивать и, дав им подсохнуть, присыпать до весны грунтом: перезимуют — там заново настелют.

Пострадала от ливней не только Нижняя, но и расположенные выше по склону Мирная и Садовая улицы. К Симону, лучшему бердскому каменщику и кровельщику, выстроилась большая очередь — нужно было заплатать и заново проложить черепицу, а кое-где — заделать появившиеся трещины в стенах. Очередь до Сильвии дошла одной из последних, ее дом, если не брать во внимание подпорченного края крыши с рухнувшей водосточной трубой и каменного порожка, который вымыло потоками дождевой воды, почти не пострадал. Симон заглянул к ней, как и было договорено, в

воскресное утро. Это был последний день октября, ясный и светящийся, будто залитый солнцем осколок стеклышка. Сильвия, вспомнив о своем дне рождения, решила в кои веки что-то испечь. За тем занятием ее и застал Симон. Он окликнул ее, и она вышла, держа на весу вымазанные тестом руки. Пошла к нему, поправляя тыльной стороной ладони лезшую в глаза прядь волос.

— Что печем, хозяйка? — спросил он насмешливо.

— Ничего особенного: багардж¹ на меду и орехах.

— А мацун у тебя есть?

Сильвия улыбнулась, понимая, куда он клонит:

— Конечно есть. Угощу всенепременно.

Симон сел на корточки, скovyрнул гальку порошка, покатав ее на ладони.

— Может, бетоном зафиксировать, чтобы камни не вымывались? — предложила Сильвия.

Он поднял на нее изумленный взгляд:

— Какой бетон?! Камни тогда дышать перестанут. Портить ничего не будем, сделаем, как придумал дядя Ованес.

И он бережно провел руками по уцелевшим частям каменной мозаики, словно согревая их теплом своих ладоней. Сильвия поспешно отвернулась, чтобы скрыть выступившие слезы. В последнее время она часто и в охотку плакала, не особо тревожась о своем душевном состоянии и даже радуясь ему — ведь сердце живо до той поры, пока не растратило умение плакать.

¹ Сладкая армянская деревенская выпечка.

Симон провозился с кладкой битый час. Несколько раз вызывал Сильвию, чтобы убедиться, что не отступает от узора. Потом, взобравшись на крышу, переложил черепицу и прикрепил дождевой желоб. Заодно прочистил дымоход и сбил из-под карниза полуобрушенные гнезда ласточек — весной новые налепят. Сильвия успела к тому времени не только багардж испечь, но и сварить густой суп — на картофеле, томатах, томленом луке и свиной шейке. Когда Симон наконец слез с крыши, она пригласила его поесть. Налила тарелку наваристой похлебки, выставила штоф с вишневой наливкой собственного приготовления, принесла из погреба холодный мацун, нарезала щедрыми кусками чуть влажную сладкую выпечку. Симон принюхался к содержимому штофа, скривился, отставил.

— Тутовка есть?

Сильвия смешалась:

— Нет.

— Плохо.

— Могу сбегать к соседке...

— Не нужно. — И он обвел хозяйским взглядом стол. — А где твоя тарелка, Сильвия?

— Я потом.

— Садись, — велел он не терпящим возражений тоном, указав на стул рядом.

Она безропотно села. Видя, как он с аппетитом ест, поднялась, налила себе тоже тарелочку. Принялась есть, макая в густой соус корочку хлеба.

— Вкусно, — похвалил Симон.

Она покраснела как школьница.

— Спасибо.

И поспешно добавила, чтобы скрыть замешательство и отвести от себя внимание:

— Как Меланья, как дети?

Симон пожал плечами:

— Хорошо, наверное. Месяц без продыху работаю, приду — уже спят, уйду — еще спят.

— Устал, наверное.

— Как собака.

Сильвия смутилась. Она хотела попросить посмотреть потолок гостиной, на котором проступило непонятное белесое пятно, и теперь не знала, как быть: или сейчас просить, или как-нибудь потом, когда работы у него станет меньше.

— Потолок гостиной, кажется, попортила плесень. Может, потом посмотришь? — наконец решилась она.

Симон потянулся за багарджем:

— Поем и посмотрю.

— Ладно. Поставить кофе?

— Спрашиваешь!

Сильвия знала Симона с детства: отец приятельствовал с его дядей, тот же, приходя к ним в гости, часто брал с собой племянника, которого воспитывал сам. Из-за большой разницы в возрасте — десять лет — дружбы не случилось, да и какая может быть дружба у ершистого подростка с маленькой девочкой, однако Сильвия сохранила о тех годах самые теплые воспоминания. Симон был рукастым и толковым парнем и как-то даже смастерил для нее деревянный самокат, на котором она резво рассекала по Мирной улице, разгоня шумные стайки гусей и доводя до иступленного лая дворовых собак. Потом между мужчинами

пробежала кошка, и они прекратили общение. Причину ссоры ни Симон, ни Сильвия не знали, и никогда не стремились узнать: зачем теребить былое, тем более что событие, которое случилось, касается не тебя? Тем не менее ссора старших отдалила и их. Столкнувшись случайно на улице, они, конечно же, тепло здоровались и всегда расспрашивали друг друга о здоровье, но на том разговор и заканчивался. Сильвия знала о Симоне мало: не доучился на архитектора, работает на полставки в строительном управлении, подрабатывает ремонтом, растит троих сыновей, имеет славу сердцееда. Симон о ней знал, что и все — сильно обожглась в браке, ребенка отобрали, живет уединенной замкнутой жизнью. Это был первый, после многолетнего перерыва, его визит в дом, где он часто бывал в ранней юности. Не случись сентябрьского ливня, и этого визита бы не случилось.

Допив кофе, Симон поднялся и, не спрашивая разрешения, направился в гостиную, отмечая, что ничего в обстановке дома за двадцать лет не изменилось: та же накрытая красным пледом большая тахта, занимающая половину прихожей, тот же крашенный в цвет молочного шоколада дощатый пол и тяжелый, в три рожка, низко висящий светильник, который мужчинам приходилось обходить стороной, чтоб не вписаться головой в острый нижний край. Однако, зайдя в гостиную, Симон от неожиданности присвистнул, потому что совсем не узнал ее. Некогда тщательно обставленная уютная комната напоминала сейчас склад: вдоль стен стояли ряды нераспакованных коробок — картонных и деревянных, лежали свернутые ковры, коробка,

какие-то еще узлы и тюки. Сильвия, идущая за ним, махнула рукой — не обращай внимания, никак руки не дойдут все это разобрать.

— А что здесь, мебель? — спросил он, постукав костяшками пальцев по одной из коробок.

— Клада там не простучишь, — рассмеялась она, — мебель, да.

— Так давай я мужиков позову, мы мигом ее соберем. И все узлы разберем. Что здесь? Посуда? Как раз расставишь.

— Потом, не сейчас, — оборвала она его.

Он вспомнил о ее уединенном образе жизни, подумал, что она, скорее всего, не захочет видеть посторонних мужчин у себя дома, предложил самому все собрать, но она твердо покачала головой и повела его в дальний угол комнаты. «Чудная какая-то», — обиделся Симон и решил, доделав работу, не показываться у нее больше никогда. Пусть других мастеров к себе приглашает, свет клином на нем не сошелся. Не успев додумать мысль до конца, он боковым зрением выхватил картину, висящую в единственном не захламленном коробками и тюками углу. Не замедляя шага, чтобы не вызывать недовольства Сильвии, он пригляделся и обмер — под стеклом, в нарядной рамке, висел треугольный лоскут ткани с детским узором: цыплята, утята, солнце и облака. Край ткани был изодран в клочья, будто его вырывали с мясом. Симон узнал ее — ровно такую ткань он относил в свое время в ателье, чтобы там сшили пеленки его младшему сыну. Мальчик оказался шибко резвым, родился семимесячным, и Меланья не успела подрубить пеленки.

Сильвия, словно учуяв замешательство Симона, обернулась, поймала его растерянный взгляд, побледнела. По выражению досады на ее лице он догадался, что она собиралась снять со стены рамку, чтобы он ее не увидел, но позабыла. Он почему-то испугался, что она сейчас попросит его на выход и никогда больше не пустит на порог.

— Показывай, что за белесое пятно там выступило, — выпалил он и, задрав голову, принялся с преувеличенным интересом разглядывать угол потолка, насвистывая мелодию набившей оскомину эстрадной песенки.

Через неделю, под предлогом проверить, правильно ли легла кладка, он заглянул снова. Сильвия, обмотавшись платком, выбивала ковер. При виде Симона она легонько кивнула в знак приветствия и продолжила свое дело. Он не видел выражения ее лица — она обвязала лицо краем платка на карабахский манер, оставив открытыми только глаза, но почувствовал — она не рада его приходу. «Ишь!» — мысленно огрызнулся он и, опустившись на корточки, постучал кулаком по краям порожка. Далее, не заговаривая с ней, прошел на задний двор, вытащил из сарая приставную лестницу, поднялся на крышу. Посидел под тенью печной трубы, покурил, наблюдая за тем, как выстраиваются в живописную цепочку по краю неба шерстяные облака. «Дождутся небесного пастуха и уйдут за горизонт», — подумал он и потянул носом — с ущелья, поддетый порывом склочного ноябрьского ветра, вновь поднимался водорослевый запах моря. Симон протяжно вздохнул, вспоминая легенду, ко-

тую в детстве рассказывала ему мать. Сюжет выветрился из памяти, он был слишком мал, чтобы его запомнить, но море, плещущееся между скал, по дну которых змеилась крохотная горная речка, запомнилось ему навсегда. Непонятно, откуда и почему брался этот настойчивый солоноватый дух ущелья, но именно он стал причиной тех историй, которые с удивительным постоянством передавались бердцами из поколения в поколение. Легенд было множество, однако ни одна не повторяла ту, которую рассказывала пятилетнему Симону мать. Он много раз пытался ее вспомнить, но всякая попытка заканчивалась провалом, более того — будто стирала очередную крохотную деталь, забирая ее безвозвратно в слепое зазеркалье. Симон мало помнил свою мать, и ему было обидно, что память не сохранила не только ее живой образ, но и истории, которые она ему рассказывала.

— Симон? Ай, Симон! — раздался снизу голос Сильвии.

— А?! — откликнулся он и вытянулся в полный рост, выглядывая ее.

Она смотрела вверх, приложив ко лбу козырьком ладонь. Платок сполз с макушки и забавно висел, зацепившись за плотный пук гладко уложенных волос. Симон потыкал себя пальцем в затылок, намекая, что платок сейчас свалится. Она сдернула его с головы, отряхнула от пыли и повязала обратно.

— Долго будешь там сидеть? Раз уж пришел, подсоби!

— Сейчас. — И Симон, довольный, что его попросили о помощи, с юношеской прытью

заторопился вниз. Он помог ей выбить еще два ковра, занес их в гостиную и аккуратно сложил возле коробок с мебелью. Рамка с разорванной детской пеленкой исчезла, но темное пятно, оставшееся на стене, свидетельствовало о том, что она провисела здесь долгие годы. Симон хотел было еще раз предложить Сильвии собрать мебель, но прикусил язык, побоявшись, что лишится возможности возвращаться в ее дом. Его необъяснимым образом туда тянуло, и он не мог толком объяснить себе, почему. К Сильвии, памятуя о давно минувших днях, он относился скорее с родственным чувством, чем с мужским интересом, хотя она, при всем равнодушии к своей внешности, выглядела очень привлекательно. Заметно располнев к тридцати шести годам, она умудрилась не растерять влекущей красоты форм. Легкая дородность, разгладив лицо, скрыла мину горечи, которую она носила словно клеймо, не расставаясь с ней даже во сне. Будь она худой, переживания обесцветили бы ее черты, безвозвратно их огрубив и притушив нежно-золотистый оттенок кожи. Полнота же, словно каркас, наполняла и поддерживала почти в идеальной форме оболочку, скрывая от посторонних глаз горькое содержание.

Сильвия тяготилась присутствием Симона. Она провела половину дня в уборке и хотела сейчас лишь одного — помывшись и переодевшись в чистое, провести остаток выходного в беззаботной праздности. Но Симон не торопился уходить: выпросил кофе, заставил сидеть с ним за столом, хотя попыток завести разговор не предпринимал, односложно отвечая на ее вежливые расспросы и

думая о чем-то своем. Сравнявшись в возрасте со своим дядей, он удивительным образом напоминал его не только наружностью, но и жестами. Перед тем как поставить чашку, он, ровно как дядя, касался края блюда, будто бы страхуясь, чтобы не промахнуться. Сильвия рассказала бы ему об этом, но он сидел, опустив глаза, не выказывая никакого желания общаться, только изредка щелкал по краю стола двумя пальцами.

Когда молчание затянулось, она спросила:

— Зачем ты пришел?

Он не удивился ее вопросу, он ждал его. Ответил, не кривя душой: сам не знаю, будто дом держит меня. И добавил, не поднимая глаз: и пленка в рамке. Она нахмурилась, но говорить ничего не стала. Он отодвинул пустую чашку, поднялся, направился к выходу. Потоптался у порога, вернулся:

— Я на днях еще зайду?

Ей не хватило духу ему возразить.

Первые несколько месяцев о любовных отношениях не могло быть и речи, то была мучительная, будто навязанная кем-то и зачастую раздражающая обоих притирка. Они не очень понимали, зачем она им нужна, но молча терпели, а спустя время с удивлением обнаружили, что стали испытывать нехватку друг друга.

Симон старался приходить хотя бы раз в неделю, выкроив время между заказами. Помогал с садом и огородом, приводил в порядок дом и хозяйственные постройки: перекрасил веранду, смастерил несколько полок для погреба, заменил подгнившие колья в заборе на новые, переставил

курытник и расширил его, выделив отдельный угол для индюшек.

От предложенных денег он, оскорбившись, наотрез отказывался, потому Сильвия, чтобы как-то отблагодарить за заботу, кормила его вкусным, не забывая налить стопочку тутовки — обзавелась специально для него. Она научилась заваривать кофе на любимый его манер — не на холодной воде, а крутым кипятком. Пекла багардж и пахлаву, жарила семечки — он, вознамерившись бросить курить, завел привычку их грызть и старался всегда иметь при себе горсть-другую. Иногда они обсуждали какие-нибудь незначительные новости, но чаще молчали, и молчание это с каждым разом становилось все естественней и ясней и казалось красноречивее любых произнесенных слов. И не было в этом молчании ни любовного томления, ни боязни нарушить личное пространство другого, а лишь удивительно чуткое и слаженное сосуществование двух отдельных, но родственных миров. Со временем она научилась по походке распознавать его настроение, а он легко предугадывал ее состояние по тому, как она выходила ему навстречу, чтобы поздороваться.

Однажды он принес папку чертежей и рисунков и, разложив их на обеденном столе, принялся рассказывать, каким хотел бы видеть Берд. Его раздражала всякая новизна и желание людей перестраивать свои дома на общепринятый неважнецкий лад — квадратная бездушная коробка с плотной фасадной штукатуркой и шиферной крышей.

— Не зря ведь наши деды оставляли каменную кладку открытой. Во-первых, камень должен

дышать, чтобы напиться воздухом, защищая помещения от жары — летом и от холода — зимой. Ты ведь понимаешь меня? — торопился он, заменяя один рисунок на другой и водя пальцем по высоким сводам крыш и зернистой кладке стен.

— Понимаю, конечно, — кивнула она, — а во-вторых?

— А во-вторых, это просто красиво. Увитые виноградной лозой веранды, воздушные застекленные шушабанды, прокопченные деревянные балки, подпирающие потолки... А крашенные половицы? Ты посмотри, какая в твоей прихожей идиллия: белоснежные стены, цвета молочного шоколада деревянный пол и лазурный потолок. Это же почти что средиземноморский стиль, убавленный деревенским жителем до поразительной и самодостаточной простоты!

Сильвия оторвалась от созерцания очередного рисунка, обвела придирчивым взглядом кухню, с пристрастием изучая каждую деталь интерьера, от большого посудного ларя, где хранила кастрюли и сковороды, до толстостенного деревянного буфета, заставленного разномастной посудой.

— А ведь действительно красиво, — призналась она. — И почему я этого раньше не замечала? Спасибо, что объяснил, Симон-джан.

Он поднял с чертежа глаза и сразу же опустил их, но она успела обжечься его взглядом. Она испуганно отошла от стола, сложив на груди руки, словно отгораживаясь от него. Растревоженный воздух, напивавшись жаром, лег всей тяжестью на нее, придавив к полу. Она глубоко вздохнула, унимая сердцебиение.

— Кофе поставишь? — попросил он.

Пока она кипятила воду и доставала кофейные чашки, он сложил в аккуратную стопку чертежи и рисунки и убрал их в папку.

— Можно оставить у тебя?

— Почему ты недоучился на архитектора? — вопросом на вопрос ответила Сильвия.

— Работать нужно было. Дядя умер, жить было не на что, да и негде... — Он хотел еще что-то добавить, но передумал. — Так можно оставить папку у тебя? Это все, что удалось спасти, младший остальное фломастерами разрисовал.

Ей стало неловко оттого, что заставила его повторить просьбу. Она поставила перед ним кофе, легонько коснулась плеча — конечно, можно! Он задрал плечо и лег на ее руку щекой. И тогда она наклонилась и поцеловала его в висок. Потом, высвободив руку, обойдя круглый стол и расположившись напротив, рассказала о себе все: о приступах, искалечивших ее семейную жизнь, о муже, изводившем ее придирами и издевками, о клинике душевнобольных, куда ее привезли с автовокзала. О том, как пришлось колоть ей успокоительное, чтобы она могла разжать пальцы. О том, как работала в прачечной, а потом помогала в бухгалтерии. О сердобольной соседке, сунувшей ей незаметно в карман рубль. И о том, как угасала мать, спасибо, что без боли, просто иссохла и однажды не проснулась...

Он потянулся через стол, коснулся ее руки. Попыток хотя бы приобнять ее не делал, и она была ему за это бесконечно благодарна — выжатая до предела откровенным рассказом, она хотела лишь одного — остаться одной.

Он ушел и не появлялся почти месяц. Не дождавшись его в очередное воскресенье, она принялась корить себя за то, что испугала его своими откровениями, и уснула в слезах, а на следующее утро, с трудом добравшись до телефона, он поднял ее ранним звонком, чтобы предупредить, что попал в больницу с воспалением аппендикса и придет, как только снова научится нормально передвигаться после операции.

Это был самый долгий роман Симона. Он длился почти полтора года и закончился безобразной сценой, учиненной Меланьей. Прознав об очередных шашнях мужа, она явилась на консервный завод и закатила скандал в кабинете директора, требуя устроить товарищеский суд над сотрудницей, ведущей порочащий советскую женщину образ жизни. Директор, заверив, что непременно позаботится об этом, выпроводил ее восвояси, а Сильвии ничего говорить не стал. Но она провела о произошедшем от его секретарши и, сгорая от стыда, ушла домой, не отпрашиваясь. Узнал о случившемся и Симон — Меланья сама ему обо всем рассказала, дождавшись с работы. Выпустив пар в кабинете директора, она теперь говорила с мужем холодным отстраненным тоном: да, пошла к твоей зазнобе на работу, да, потребовала, чтобы ее опозорили на товарищеском суде, а что же ты хотел, чтобы я явилась на релейный завод и потребовала, чтобы тебя наказали?

Он перешагнул через расколотую посуду, которую она намеренно не убрала, и вышел. Она

окликать его не стала, знала, что никуда не денется, трое сыновей держат его на крепкой привязи: тот, кто вырос без родителей, никогда от своих детей не уйдет.

Несмотря на всю недвусмысленность ситуации, Меланью терзали угрызения совести. Могла ведь сходить к Сильвии, поговорить с ней, в конце концов, учинить скандал в ее доме. Захотела ударить больней. Зачем? Кто-кто, а Сильвия этого не заслужила. Пожалуй, она была единственной, о ком бердцы не говорили с осуждением и не разносили сплетен. Именно потому Меланья так долго и пребывала в неведении — никто не торопился открывать ей глаза на новую связь ее мужа. Каждый, наверное, для себя рассудил, что Сильвия, при всей ее замкнутости и даже нелюдимости, заслужила свой кусочек женского счастья, и если даже для этого нужно было завести отношения с женатым мужчиной — то пусть. Меланью именно всеобщее заговорщицкое молчание и задело. Она впервые оказалась в роли не заслуженной страдальцы, которой сочувствовали и сопереживали, а стороной будто бы лишней и даже неуместной. Собственно, эта обида и стала причиной ее визита на работу Сильвии, ей хотелось не просто добиться справедливости, а прилюдно указать сопернице ее истинное место. Она отлично знала, что, поступая подобным образом, унижает не только ее, но и себя и мужа, но ничего не могла с собой поделать. И теперь, стоя над осколками перебитой посуды, она роняла злые слезы, ругая себя за трусливую мстительность. При всей своей порывистости и скандальности Меланья всегда оставалась человеком

великодушным и милосердным, и именно это в ней в первую очередь ценил Симон.

Разрыв причинил Сильвии невыносимые страдания. В тот злосчастный день она заперлась у себя в комнате и, когда Симон пришел, попросила оставить ее в покое. «Мне нужно научиться жить без тебя», — сказала она. «Давай хоть попрощаемся по-человечески», — взмолился он. Она покачала головой, ничуть не заботясь о том, что он ее не видит. Наблюдала из-за шторы, как он уходил. Легла лицом в подушку и кричала, пытаясь приглушить нестерпимую душевную муку. Понимая, что не справляется, вышла из комнаты, споткнулась о небольшой сверток, который Симон оставил на полу, но разворачивать не стала, а, подвинув ногой, направилась в погреб. Принесла ополовиненную бутылъ тутовки, выпила до последней капли, обжигаясь и задыхаясь от кашля. Ее моментально вывернуло, но облегчения это не принесло — она опьянела еще больше и, кажется, отравилась непривычным тяжелым спиртным. Провела половину ночи, сотрясаясь в приступах рвоты. Голова раскалывалась, тело сводило судорогой, спина и руки покрывались горячим потом, который мгновенно охладевал, но не испарялся, а держался ледяной липкой пленкой, сковывая движения. Нужно было вызывать скорую, но Сильвия не хотела, чтобы посторонние люди видели ее в таком состоянии. Она размешала в теплой воде несколько крупинок марганцовки, выпила ее махом, согнулась в новом приступе рвоты и, не удержавшись на ногах,

рухнула на пол, где и пролежала долгое время, трясясь в ознобе. Когда рвать стало совсем нечем, она поползла до посудного ларя, с трудом приподнявшись на локте, сдернула скатерть, которую отложила для стирки, накрылась ею и забылась тяжелым сном. Разбудил ее настойчивый телефонный звонок, и она спросонья решила, что это звонит Симон, чтобы предупредить, что попал в больницу с воспалением аппендикса, и она даже улыбнулась тому, что знает все наперед, но сразу же заплакала, вернувшись в реальность. Телефон беспрестанно трезвонил, и она, с трудом поднявшись, поплелась поднимать трубку. Это была секретарша директора. Поздоровавшись и тактично не справившись о самочувствии (какой смысл спрашивать, когда все и так ясно), она предупредила, что предприятие выписало ей выходные до конца недели. Сильвия поблагодарила и отключилась.

Она долго скребла пол кухни, смывая следы раствора марганцовки. Затем вымыла и привела в порядок ванную комнату. Тщательно помылась сама. Выпила стакан подсоленного кипятка. Есть не хотелось, жить — тоже. Мысли о Симоне причиняли физическую боль. Однако она не запрещала себе думать о нем, осознавая, что тем и спасается. Долго сидела на веранде, вспоминая, как они просиживали там редкие вечера, которые выпадали на их долю, когда Меланья, забрав сыновей, уезжала на пару дней погостить к брату в Дилижан. Симон тогда ночевал у нее, и время, проведенное с ним, казалось ей вечностью. Первая близость случилась у них в одну из таких отлучек Меланьи. Сильвия долго не решалась, помня о своих приступах,

но он сразу же свел все к шутке — не получится, и ладно, помрешь тогда девственницей. Она смеялась до икоты и долго не могла успокоиться, несмотря на всякие ухищрения: задержать дыхание до шума в ушах, выпить мелкими глотками воды, попрыгать на правой ноге, приподняв над головой левую руку. Он смешно комментировал ее попытки унять икоту, доводя ее до новых припадков хохота, а потом сгреб в объятия, прижал к себе крепко-накрепко — руки у него были неумной, великаньей силы, и она моментально притихла. Он был ласков, и нежен, и совсем не требователен, и именно этой своей нетребовательностью и подкупал. Секрет их счастливых взаимоотношений был прекрасен и удивительно прост: чем больше он отдавал, тем больше ей хотелось вернуть в ответ. Они будто играли в поддавки, пытаясь превзойти друг друга в обоюдном желании угодить. Приступы, когда-то изувечившие жизнь Сильвии, не повторились, и она впервые позволила себе любить без оглядки. Она привязалась к Симону во всю глубину своего бездонного сердца и, расставшись с ним, осознала, что осталась без частички себя. Ей казалось, что Симона вырезали из ее сердца ножницами, и теперь оно уже не перестанет кровить.

О свертке, оставленном на пороге комнаты, она вспомнила поздно вечером. Разворачивала его долго и бережно. Под слоем простой бумаги обнаружилась книжка со стихами Тьерьяна — ее любимого поэта — и коробочка с золотым сердечком-кулоном. Она сразу же его надела и не снимала больше никогда.

Обычно Офелия заранее предупреждала подругу о своем приезде, но в этот раз не успела. Все случилось неожиданно — позвонила соседка, рассказала, что мать с сердечным приступом попала в больницу. Пришлось спешно отпрашиваться с работы и мчаться за тридевять земель. Приступ, к счастью, оказался легким, и к ее приезду мать уже сбежала из больницы домой. Офелия застала ее во дворе, с вилами на плече — пренебрежительно задвинув в дальний угол прикроватной тумбочки выданные врачом таблетки и капли, она направлялась на задний двор — ворошить расстеленное на просушку сено.

— Ты опять за свое? — с ходу напустилась на нее Офелия, швырнув под ноги дорожную сумку.

Мать даже бровью не повела:

— Взрослая уже баба, сорок семь почти лет, а здороваться до сих пор не научилась!

Офелия попыталась отобрать у нее вилы, но безуспешно — переупрямить мать было невозможно. Наспех переодевшись с дороги, она поспешила ей на помощь. За тем занятием ее и застала Косая Вардануш. Она вбежала на задний двор с такой прытью, словно за ней гналась свора собак. Скинув на ходу сандалии и промчавшись по подсыхающему сену, она, ничуть не удивляясь присутствию Офелии, а словно заранее зная, что застанет ее именно там, вцепилась ей в руку: «Пойдем со мной, Офелия-джан!»

— Куда? — опешила Офелия.

— Расскажу по дороге. Пойдем! — тянула ее за руку Вардануш.

— Да что же это такое! — рассердилась Офелия. — Ни секунды покоя! Одна после сердечного приступа вилами размахивает, другая не пойми куда меня уводит! Дурдом, честное слово!

Мать подняла бровь, незаметно кивнула на Вардануш:

— Ты бы аккуратнее была со словами, дочка. Или в городе тебя вконец отучили от учтивости?

Офелия набрала полные легкие воздуха, досчитала в уме до десяти — вычитала в научном журнале, что именно так нужно уходить от ссоры. Выдохнув и немного успокоившись, она заявила непреколемым тоном:

— Первым делом закончим с сеном. Хочешь, чтобы я с тобой пошла, помогай, Вардануш. Мам, а ты обещаю, что, пока не вернусь, ничего больше делать не станешь. Сядешь в кресло и будешь ждать меня.

Вардануш с готовностью кивнула и, заправив край юбки под пояс, принялась руками переворачивать подсыхающее сено. Мать молча орудовала вилами, не поднимая головы.

— Мам? — требовательно позвала Офелия.

— Там видно будет, — пожевав губами, примирительно бросила мать и добавила, меняя тему разговора: — Расскажи лучше, как мои внуки.

Офелию подмывало ответить колким «наконец-то вспомнила о внуках», но она, сделав над собой усилие и еще раз досчитав в уме до десяти, миролюбиво ответила: «Слава богу, хорошо. Гарик удачно сессию сдал, а Арам жениться собрался».

— На той тбилисской кекелке¹? Как ее звали? Анжела?

— Ну почему же кекелке? Хорошая умная девочка из интеллигентной семьи!

— Посмотрю, как ты через два года запоешь.

Офелия отвечать не стала. Характер матери с возрастом стал совсем невыносимым. Но это, конечно же, не имело никакого значения. Жива — и спасибо. Остальное несущественно.

С Багратом, правнуком старой Катинки, столкнулись на пороге — натягивая на ходу футболку, он выскочил из дому, крикнув куда-то в глубь комнат — буду поздно, так что ложитесь, не ждите меня.

— Вымахал в каланчу, — улыбнулась Офелия, отвечая на его смущенное приветствие, — как у тебя дела, в какой класс перешел?

— В десятый, — пробасил Баграт.

Она всплеснула руками — боже, как время летит, еще вчера был крохотным мальчиком, чудом спасшимся из болота. А теперь прямо жених!

— Пошли, Офелия-джан, — поторопила, легонько подталкивая ее в спину, Вардануш. Другой рукой она указала Баграту на калитку — иди уже, куда шел! Тот фыркнул — на Косую Вардануш, зная ее чудаковатость, никто не обижался. Блажит — и ладно, мало, что ли, в мире блаженных людей! Значит, зачем-то это нужно, если они такими рождаются.

¹ Кичливая женщина, снобка (груз.).

Весь путь до Нижней улицы Вардануш упрямо игнорировала расспросы Офелии, отвечая односложными «там увидишь» и «сама поймешь». Уставшая после долгой поездки, Офелия еле поспевала за ней, мысленно ругая себя за то, что не решилась ей отказать. Однако возвращаться с полдороги, расстраивая заполошную, но безобидную Вардануш, она бы не стала, потому безропотно дала себя довести до дома старой Катинки. Ничего страшного, если даже эта дурочка что-то выдумала, поздоровается и уйдет. Заодно передаст каменную ступку, которую всучила ей в последнюю секунду мать: Катинка просила, обещала кого-нибудь из правнуков прислать, видно забыла. Офелия безропотно взяла.

На просторной кухне былолюдно — невестки старой Катинки готовились к приезду старшей сестры Баграта, с блеском защитившей дипломную работу на юридическом факультете. Предполагался большой стол с обильным угощением и множеством гостей. Офелия поздравила семью с радостным событием, передала ступку и извиняющимся тоном сообщила, что по своей воле не заглянула бы в столь суетный вечер, если бы не Вардануш.

— Теперь что она задумала? — со смехом поинтересовалась мать Баграта, Тамара. — Была уже сегодня у нас, рассматривала фотографии детей, а потом ка-а-ак выскочит из дому, ка-а-ак побежит!

Вардануш бесцеремонно подвинула ее в сторону и забрала с полки простенькое картонное паспарту.

— Смотри, Офелия-джан!

Дальнозоркая Офелия, сетуя, что забыла в сумке очки, отвела от себя ее руку, чтоб лучше разглядеть фотографию.

— Это наша Кира, а это ее соседка по комнате в общежитии, — пояснила ей Тамара, — хорошая девочка, иджеванская, считай — наша, почти тот же диалект, те же традиции и воспитание. Раньше жила со своей однокурсницей, но недавно съехала от нее в комнату Кире. Так они и познакомились.

Офелия шумно втянула ноздрями воздух, попыталась сосчитать до десяти, сбилась. Напустилась с какой-то радости на Вардануш (потом, отойдя от волнения, ужасно себя корила):

— Почему ты сразу не привела Сильвию? Не увиливай, не зыркай по сторонам глазами! Посмотри на меня!

— Испугалась. Вдруг это не она!

— Кто «она»?

— Как будто сама не знаешь! — Вардануш скривила рот и беспомощно заморгала.

— Дайте попить, в горле пересохло, — попросила Офелия. Невестки старой Катинки, сообразив, что она разглядела нечто, чего не увидели они, торопливо налили воды и, сгрудившись вокруг, уставились на фотографию. Офелия сделала глоток, вернула стакан. Спросила, тщетно пытаясь унять предательскую дрожь в голосе:

— Как, говорите, эту девочку зовут?

Тамара, растерявшись, не сразу вспомнила имя. Офелия не торопила ее. Она почти не сомневалась, что знает правильный ответ.

Выванная из благостной полудремы переполохом, старая Катинка, водрузив на нос толстенные

очки, внимательно рассмотрела фотографию и подтвердила догадку Офелии — девочка действительно очень похожа на Сильвию, но еще больше — на ее мать. Хотя всякое может быть, с сомнением добавила она, армяне так или иначе похожи друг на друга, вдруг мы ошибаемся.

— Иджеванская же! — взволновались невестки.

— Ну и что? Мало в Иджеване рождается девочек? Поди каждая вторая!

— Возраст подходит — двадцать два года! Опять же имя!

— И? Сколько у нас девушек с именем Анна? Сокрушенно помолчали.

— Офелия, когда день рождения дочери Сильвии? — спросила старая Катинка.

— Точной даты не знаю, она ведь старается не говорить о дочери. Родилась в марте, а вот в какой именно день...

— Придумала! — встрепенулась Тамара. — Сейчас закажем межгород и поговорим с Кирой. Она уж точно знает, когда родилась ее соседка! Где там мой блокнот, никак не могу запомнить номер коменданта общежития!

Бабье лето растянулось до конца октября. Последние его дни выдались почти что августовскими — с сияющими восходами, жаркими полуднями и вдумчивыми закатами. Если бы не золотящиеся кроны деревьев да хлопья паутины, затянувшие морщинистой сеточкой гладкий лик дня, можно было подумать, что до осени еще далеко. Сильвия

стояла на веранде и нервно теребила рукав нарядного платья, которое ей одолжила Офелия. Чтобы как-то отвлечься от взволнованного ожидания, она перебирала в голове события последних месяцев. Вспомнила сковавший сердце страх, когда обнаружила на пороге своего дома испуганную женскую стайку: Офелию, Вардануш, старую Катинку и обеих ее невесток. Чуть поодаль стояла мать Офелии и, с трудом переводя дыхание, прямо штопала, натянув на лампочку носок. Карман ее передника оттопыривался шкатулкой со швейными принадлежностями.

— Что случилось? Кто-то умер? — с усилием выдавила из себя Сильвия.

— Скорее, наоборот, — проскрипела старая Катинка и, перешагнув через порог, протянула ей картонное паспарту, — дочка, только очень тебя прошу, в обморок не падай.

В обморок Сильвия не упала. Она осела кулем на пол и, не отрываясь от фотографии, слушала, как Тамара, поминутно сбиваясь, передавала ей разговор со своей дочерью — девочка родилась двадцатого марта, твоя ведь тоже, кажется, двадцатого родилась, Сильвия-джан, выросла без матери, ей сказали, что она отказалась от нее. Отца зовут Ромик. В советское время жили обеспеченно, а после развала Союза остались почти что ни с чем...

— Это... кто? — спросила одними губами Сильвия.

Воцарилась оглушительная тишина.

— Зовут Анна, — подсказала наконец Офелия.

Небо, притушив птичий гомон и затаив дыхание, наблюдало за происходящим.

— И что же мне теперь делать? — дрогнула голосом Сильвия.

— А ничего не надо делать. Кира приезжает послезавтра, она привезет ее с собой. Мы попросили, чтобы ничего не рассказывала ей и не давала предупредить о поездке отца — он, наверное, не отпустит ее в Берд. Ты как, Сильвия-джан? Сильвия-джан?! Кто-нибудь, принесите воды!

Разговор Сильвии с дочерью облетел весь Берд. Люди цитировали его, волнуясь и ревниво поправляя друг друга — каждому важно было не перевернуть его.

Кира не сдержала обещания, проговорила в дороге, что в Берде, скорее всего, Анна увидит свою мать. Рассказала ей о том, как все было на самом деле.

Сильвия пришла на автовокзал с самого утра и прождала там долгие шесть часов.

— Тебя любили? — спросила она у дочери, когда та, выйдя из автобуса, нерешительно подошла к ней.

— Очень, — ответила Анна.

— Не обижали?

— Никогда.

— Вот и славно. Не плачь, пожалуйста.

Именно этот диалог, поправляя друг друга, и пересказывали бердцы. И непременно добавляли, что все очень вовремя случилось, потому что уже этой осенью дочь Сильвии должна была выйти замуж за молодого человека, который собирался увезти ее в Воронеж.

— Если бы она уехала, они с Сильвией никогда бы уже не увиделись, — не сомневались бердцы.

На свадьбу дочери Сильвия упорно отказывалась ехать, объясняя это нежеланием видеться с Ромиком. Переубедить ее удалось директору консервного завода.

— У тебя ровно такие же права быть на этой свадьбе, как у отца твоей дочери. Тем более что Анна сама тебя приглашала! Уедет она в Россию, когда ты еще ее увидишь? Через год? Три года? Пять лет?

Сильвия опустила голову. Директор терпеливо ждал. Наконец она приняла решение:

— Поеду. Только мне машина нужна.

— Я тебе свою служебную машину отдам, отвезут и привезут как королеву!

— Мне большая машина нужна.

— В смысле большая? Мой старый «виллис»? Так он на ладан дышит!

— Еще больше.

В утро свадьбы, взывая мотором, грузовик консервного завода въехал сквозь распахнутые ворота во двор дома Сильвии. Служебная машина, прижавшись к забору, осталась ждать на обочине дороги. Трое крепких мужчин, почтительно поздоровавшись, прошли в дом. В течение двух часов, кряхтя и потев, они выносили из гостиной бесконечные коробки, тюки, короба. Сильвия не мешала им, только предупреждала, если в ящике лежало стекло. Кузов грузовика понемногу наполнялся нераспакованной югославской мебелью, коврами, столовыми сервизами, скатертями и полотенцами, шерстяными одеялами и подушками

на утином пуху, отрезами дорогой шелковой ткани и чугунными сковородами, звонкими фужерами и постельным бельем из тончайшего атласа. Бархатные коробочки с ювелирными украшениями Сильвия спрятала в сумку и всю дорогу держала на коленях. На заднем сиденье служебной машины лежала люстра с пятью хрустальными рожками, в багажнике, обложенные пледом, коробки с фруктовыми и цветочными вазами. Когда грузчики вынесли последнюю упаковку, в гостиной остались лишь дряхлые настенные часы, продавленное старое кресло и прямоугольное темное пятно на стене. Удостоверившись, что ничего не забыли, Сильвия села в служебный автомобиль и торжественно поехала на свадьбу. Следом тяжело трясся грузовик с эмблемой консервного завода на боку. Он вез приданое, которое, экономя на всем, пятнадцать долгих лет собирала для своей дочери Сильвия, не надеясь когда-либо увидеться с ней. Берд наблюдал эту картину в полнейшей тишине и перевел дыхание лишь тогда, когда грузовик скрылся за чертой города.

С того дня люди и стали звать Сильвию — за глаза и в глаза — Вдовой. Тем самым они подчеркивали свое отношение к ее бывшему мужу, которого вынесли из человеческих списков раз и навсегда. По-другому, кроме как Вдовой, они ее уже никогда не называли.

ДУХИ



Элиза была младшей из трех сестер. Разница в возрасте между девочками случилась большая — восемь лет. Старшие, погодки Мариам и Нина, истрепали своим слабым здоровьем матери все нервы (излюбленное ее выражение), потому на еще одну беременность она решилась после того, как девочкам исполнилось достаточно лет, чтобы они могли позаботиться о себе.

Мать мечтала о мальчике и даже знала, как его назовет: Кареном, в память о своем брате, замерзшем насмерть в зиму двадцатого года. О той истории она не любила рассказывать и на все расспросы повзрослевших дочерей односложно отнекивалась или же отвечала расплывчато-несущественными отговорками. Элиза, самая участливая и впечатлительная из девочек, умеющая улавливать по малейшим изменениям в голосе собеседника скрываемую подоплеку, обиженно вздыхала и поджимала губы: «Мам, ну теперь-то ты могла бы

рассказать!» Мать раздраженно отмахивалась — не придумывай сложностей там, где их нет! Но по тому, как она отводила глаза и нервно скрещивала руки на груди, отгораживаясь от назойливого внимания дочерей, становилось ясно — то, что случилось в ее далеком детстве, гложет и не отпускает до сих пор. Старшие дочери со временем перестали третировать ее расспросами, благоразумно рассудив, что при желании она сама все расскажет, а если не станет — значит, так тому и быть. Элиза, в отличие от сестер, навсегда закрывших болезненную для матери тему, попыток разузнать правду не оставляла и часто, подавлявая ее на той или иной незначительной обмолвке, тщательно их запоминала, надеясь потом, додумывая отсутствующие эпизоды, собрать в целую историю. Ей почему-то казалось важным раскрыть секрет гибели двухлетнего младенца, потому что именно в его смерти она интуитивно угадывала причину множества болезненных проявлений, которые не давали покоя матери.

Отца своего Элиза не помнила — он умер от чахотки, когда ей едва исполнилось три года. Она его не признавала в худощавом смущенно улыбающемся смуглолицем солдате, каким он был запечатлен на фронтовых фотографиях. Глупо расстраивалась, когда не находила о себе упоминаний в десятке писем-треугольничков, от края до края исписанных его аккуратным мелким почерком. И, хоть разумом понимала, что отец не мог о ней справляться по-
тому, что в ту пору ее просто не существовало, она все же ревновала его к матери и особенно — к сестрам. «Напиши, как мои ангелочки», «береги до-

черей пуще жизни», «поцелуй от меня Ниночку и Мариамик, передай, что папа их любит»... Элиза невольно морщилась, перечитывая эти строки.

Единственное расплывчатое воспоминание, в котором присутствовал отец, сводилось к яркому солнечному пятну, в котором, наклонившись над кроватью, стоял какой-то мужчина и нараспев приговаривал неразличимые, но определенно ласковые слова. Иногда он снился Элизе, и в этих снах он всегда стоял к ней спиной, а когда она пыталась обойти его, чтобы заглянуть в лицо, он или растворялся в воздухе, или же прикрывался руками. И вот эти руки — с широкими ладонями и большими, в темной каемке, ногтями, с остро выпирающими косточками на запястьях и чуть искривленными кончиками пальцев — она помнила наизусть и часто в бездумье рисовала на полях тетрадок, получая регулярные выговоры от учителей. Впрочем, оценок они ей за самоволие не снижали, и не по доброте своей, а потому, что было некуда — Элиза, в отличие от старших сестер, уродилась совершенно необучаемым ребенком. Держали ее в школе из жалости к матери, вынужденной, чтобы хоть как-то свести концы с концами, совмещать две работы: больничной санитарки и школьной уборщицы.

Старшие девочки, с отличием окончив семилетку, с разницей в год поступили в текстильный техникум, и мать ежемесячно высылала им немного денег и кое-какие скудные припасы, потому что их нищенской стипендии при суровой экономии хватало от силы недели на две.

На сборы посылки обычно уходил целый день: мать перебирала картошку, оставляя на краю

овощной ямы чуть подпорченную — на скорую готовку, для дочерей же неизменно выбирала самые здоровые и крупные клубни. Она лущила кукурузу, пересыпала в холщовые мешочки полбу и пятнистую фасоль, заквашивала тесто на хлеб, вырезала из сот ромбики сладкого меда, скребла ложкой по стенкам глиняного горшка, перекладывая в отдельную плошку бесценное топленое масло. Десятилетняя Элиза любила, уловив минуточку, когда никто не видел, расковырять край предназначенного для сестер узелка с едой и вытащить что-нибудь для себя: сваренное вкрутую яйцо, горсть сушеной сливы или же холодную котлету, фарш которой мать вымешивала на кукурузной муке и толченых картофельных очистках, отчего они получались тяжелыми и суховатыми, но невероятно сытными. Дождавшись, когда мать уходила на автостанцию, чтобы с кем-нибудь из пассажиров передать посылку и крепко замотанные в кулечек деньги — почти всегда это была половина ее зарплаты, Элиза забиралась с ногами на тахту, накрывалась шерстяной, пахнувшей печным дымом и старой овчиной ветхой шалью, в которую ее, маленькую, когда-то заматывали крест-накрест, выпуская зимой поиграть на улицу, и, медленно, подробно жуя, съедала украденное. Удовольствия она при этом особого не испытывала, но угрызениями совести тоже не мучилась, потому что считала, что забрала то, что ей полагалось по закону семейного равенства: ведь если сестрам собиралась посылка, то и она имела право на свою долю. Под дровяной печкой, в плотно прикрытой от мышей тяжелой глиняной миске, лежала оставленная для нее кот-

лета и горсть полбяной каши, но о них она даже не вспоминала. Доев выкраденное, Элиза сворачивалась калачиком и лежала, укрывшись по макушку шалью и чутко прислушиваясь к звукам дома: старческому оханью прокопченных балок, держащих на своих плечах низкий потолок, скрипу деревянных створок, кошачьей возне ветра — нанеся на чердак сухих осенних листьев, он играл ими, то закручивая в круговерт, то разбрасывая по углам. О неделанных уроках Элиза даже не вспоминала, она лежала, грея дыханием кончики вечно зябнувших пальцев до той поры, пока не приходила с работы мать. Но к ее возвращению, умаянная ожиданием, девочка уже спала, засунув руки под кофту, и тогда, наспех поев хлеба и запив его несладким чаем, мать закидывала в печь несколько поленьев, ложилась рядом и, крепко прижавшись, грела ее своим теплом.

Котлету с полбой они съедали утром, честно разделив пополам. На завтрак хлеба не полагалось, но мать отрезала от большого круга домашнего каравай ломоть и, припорошив его каменной солью, давала Элизе с собой в школу. Она съедала его по дороге, жадно откусывая и наспех жуя, давясь от спешки и волнения. В школе хлеб могли отнять: стайки шумных и безголовых подростков, не умея справиться с перепадами настроения (кто бы им объяснил, что в изменениях, претерпеваемых их взрослеющими телами, ничего постыдного нет), срывались на младшеклассниках, особенно — на девочках, задирая их на переменах и нещадно третируя. Конец произволу положил новый завуч, суровый и не терпящий возражений одно-

рукий фронтовик, которого подростки по первости опрометчиво не приняли всерьез, за что потом и поплатились многочасовыми дополнительными занятиями. К концу второй четверти, благодаря его строгости, наконец-то воцарился порядок, но до этого еще нужно было дожить.

Школу Элиза ненавидела и относилась к ней как к неизбежному, но временному злу. Бесформенная сумка, которую мать сшила из всякого тряпья, свисала с худенького ее плеча и мерно стучала по колену учебником проклятой математики, в которой она ничего не понимала. Мир точных наук больно пихался колючими локтями знаков и угловатых чисел, и даже завинчивающаяся в талии женственная восьмерка не вызывала мало-мальского доверия. Стекланную чернильницу-непроливайку приходилось нести в руках — в сумке она, невзирая на свою тщательно продуманную конструкцию, опрокидывалась и проливалась, пачкая книги. Уроков Элиза никогда не учила, домашнее задание наспех списывала, орошая страницы многочисленными чернильными кляксами, а на занятиях, подперев острый подбородок испачканной ладонью и прикусив от усердия кончик туго сплетенной косы, рисовала на полях тетрадей мужские кисти, с анатомической точностью передавая лучики сухожилий, тянущиеся от запястья к основанию пальцев, узловатые шишечки суставов и выпуклую поверхность ногтей. Мать было воспрянула, понадеявшись на художественный талант дочери, но учительница рисования, взявшаяся дополнительно заниматься с Элизой, огорошила ее известием, что ее дочь и здесь умудрилась оказаться совершенно необучаемой.

— Не понимаю, как при такой бестолковости она рисует руки, — не смогла скрыть своего удивления учительница и, спохватившись, участливо похлопала мать Элизы по плечу: — Ничего, умение рисовать — не самый важный навык.

При всей своей безграничной и болезненной преданности и привязанности к дочерям, мать была суровым и несправедливым человеком и за любую, даже самую незначительную провинность хваталась за розги. В тот день, вернувшись из школы, она, отходяв до зудящих кровоподтеков Элизу, бросила ей в сердцах горькое и обидное, запавшее в душу на всю жизнь:

— Идиотка непроходимая! Вся в свою тупую кормилицу! Уж лучше бы не я, а она была твоей матерью!

Родилась Элиза сразу после войны, в сорок шестом году, и ждавшая мальчика расстроенная мать несколько дней отказывалась брать ее на руки и давать грудь, а когда, переборов себя, все-таки решилась на это, девочка, покатав во рту взбухший ноющий сосок, с отвращением его выплюнула и горько разрыдалась — за неполную неделю она привыкла к вкусу молока другой женщины. Та женщина жила в противоположном конце их улицы, и Элизу к ней пять раз в день носили на кормление отец или же кто-то из старших сестер. Чаще всего это была Нина, которая относилась к новорожденной как к живой кукле. Свою тряпичную, сшитую двоюродной бабушкой из разного ситца и набитую соломой, с деревянными истертыми пуговицами вместо глаз и сплетенной из шерстяных ниток косой, она оставлять дома не собиралась, из страха,

что вредная Мариам перепрячет ее в какое-нибудь недостижимое место. Потому куклу она просила примотать к спине платком, а крохотную, туго запеленатую сестру несла, крепко прижав к груди и передвигаясь осторожными коротенькими шагами. Спустя месяц Элизу перевели на козье молоко, а с полугода она сама отказалась от него насовсем, переключившись на картофельное пюре и каши. С тех пор она не ела молочного ни в каком виде, воротила нос даже от излюбленных армянами и обязательных для любого стола брынзы и супов на квашеном мацуне.

В тот день расстроенная Элиза убежала из дому и до вечера пряталась под промозглыми сводами заброшенной каменной часовни. Она туда иногда заходила — после школы или когда некуда было себя девать, и проводила недолгое время. Узкие окна часовни подслеповато мерцали, освещая неровный, веками хоженный земляной пол, сохранивший заскорузлые следы подошв башмаков и босых человеческих ступней, отпечатки копыт домашнего скота и лап сторожевых собак: в грозу и непогоду пастухи часто спасали скот, загоняя его под невысокие своды чудом спасшегося от многочисленных набегов кочевников, но не убереженного от варварского обращения советской власти сооружения. Элиза ничего не знала о вере — взрослые старались о запретном не распространяться, в школе об этом не говорили вовсе. Но, невзирая на всеобщее молчание, часовня по воскресеньям никогда не пустовала: пожилые люди заглядывали туда по старой памяти, чаще всего утром, зажечь свечу и постоять в тишине. Молодые заходили редко и,

бегло рассмотрев высокие своды и крохотные темные приделы, с облегчением ее покидали. Элиза не совсем представляла, для чего предназначено это острокупольное и скособоченное, в зернистой кладке сколотых речных камней строение, обставленное по углам высоченными — в человеческий рост — хачкарами¹, на которых выступали кропотливо выбитые рукой искусного мастера ажурные кресты в окаемке гранатовых плодов и виноградной лозы. На одном из таких хачкаров, раскинув в стороны тонкие руки и будто бы подготовившись взлететь, стоял мужчина с венцом из колючек на лбу и странными вмятинами на ладонях и сложенных одна на другую ступнях. Сомнений в том, что ему больно, не возникало — об этом красноречиво говорило выражение его простого, словно нарисованного детской рукой лица с прикрытыми глазами и скорбно поджатыми тонкими губами. Элиза не знала об этом человеке ничего, но внутренним чутьем угадывала во всей его надломленной позе, в желании взлететь и невозможности это сделать трагедию вселенской, невозвратной силы. Она подолгу простаивала перед хачкаром, изучая его, но не смея к нему прикоснуться. Лишь однажды, в бездумном желании хоть что-то исправить, она послунявила палец и потерла вмятину на ладони мученика, но сразу же отдернула руку и никогда больше этого не делала, испуганная шершавым прикосновением холодного, безнадежно мертвого камня.

¹ *Хачкар* — вид армянских архитектурных памятников, выбитый на камне крест (*хач* — крест, *кар* — камень).

Вдоволь наплакавшись, Элиза выбралась из закутка, продрогшая до костей, но сразу уходить из часовни не стала, а пошла вдоль ряда хачкаров, останавливаясь перед каждым и пристально вглядываясь в него. Звук ее шагов, многожды усиленный, отражался от стен и, взметаясь, витал долгим эхом под высоким куполом. Элиза несколько раз пробежалась взад и вперед, нарочито громко топая и прислушиваясь к сливающемуся над головой гулу. Потом, не давая себе отчета в том, что делает, она встала в самом центре часовни, так, чтобы оказаться спиной к хачкару с мучеником, и, дождавшись, когда угаснет эхо шагов, тихим голосом, притворяясь, что себе, а на самом деле — ему, принялась рассказывать о том, что ее беспокоило. Об отце, о котором она ничего не помнила, если только его прозрачную тень на своей кровати. О сестрах, с которыми не сложилось доверительных отношений из-за большой разницы в возрасте и, может быть, еще потому, что они в грош ее не ставили. О матери, которая выпорола ее за то, что она не вышла умом, «но это ерунда, потому что боль быстро проходит и забывается», — поспешила Элиза заступиться за нее. О постоянных упреках в тупости — а я действительно тупая, — снисходительно пояснила она, на секунду обернувшись к хачкару, и добавила, чтоб не оставлять лишних надежд — и всю жизнь буду такой! Мученик слушал ее, опустив огромные, в половину лица, веки, глаза его были выпуклы и тянулись от узкого переносья к вискам, а тонкие полусогнутые в локтях руки походили на крылья немошной птицы.

— А вот как быть, — пересиливая себя, подступила Элиза к главному, — как быть с тем, что меня кормила другая женщина, и я из-за этого получилась тупой? У нее есть дочь, Вардануш. Если бы ты ее видел! — Она снова обернулась к мученику, призывая его в свидетели: — Она косая и, кажется, вообще дура: говорит невпопад и не поймешь о чем, а когда смотрит на тебя, глаза в стороны разбегаются, будто их магнитом притягивает к вискам. Вдруг и у меня будут такие глаза, раз уж я получилась тупой, как она? — с отчаянием спросила она и притихла.

Ответа не последовало, да и не очень его Элиза и ждала. Она прислушивалась к себе и понимала, что разговор по душам не помог, а совсем наоборот — еще больше растравил сердце. Она заново расплакалась, зло и горько, а потом, внезапно оборвав рев, спотыкаясь о собственное сбившееся дыхание и всхлипывая, подставила лицо падающему из окна подслеповатому свету и затянула странную и заунывную песню, выхватывая по наитию слова и складывая их в протяжные фразы. Голос ее — неожиданно густой и красивый, будто бы высвободившись из тесного кокона, расправил крылья и полетел, заполняя собой темное пространство часовни, и казалось, что льется он не из горла, а откуда-то из-под ребер, именно оттуда, куда однажды больно ткнул ее кулаком дурацкий подросток. Вспомнив тот давно забытый случай, Элиза принялась нараспев рассказывать, как у нее от удара оборвалось дыхание и померкло в глазах, как она сползла по стенке вниз, думая, что умирает, а подросток, перепуганный ее бледностью, нахло-

нился над ней и спросил: «Ты чего?» Она сидела тогда, ощущая холод натертого мастикой пола, и, не в силах пошевелиться, смотрела с ужасом на задранный подол своего платья и скомканную полосу грубо заправленного под резинку хлопчатобумажного чулка и думала только о том, что другие школьники увидят и засмеют. А он, проследив за ее взглядом, быстро расправил юбку, прикрыв чулок, и она наконец смогла задышать и, собрав силы, пнула его ботинком. Он же, проворно отскочив и рассмеявшись, оторвал ее рывком за шиворот от пола, поставил на ноги, легонько толкнул в спину и велел идти. Допев, Элиза с удивлением ощутила облегчение и решила, что, наверное, иногда можно приходить в часовню и петь для себя, раз это утешает. По дороге домой она думала о том, что, должно быть, ей снова влетит, теперь уже за то, что бегала где-то до ночи, но мысль эта не пугала и не расстраивала — влетит и влетит, не впервой, поболит и забудется. Однако ей повезло — мать задержалась в больнице и вернулась, когда она спала, свернувшись под старой шалью калачиком и сунув под кофту холодные руки. Мать легла рядом, накрыв ее и себя одеялом, и обреченно роняла слезы, зарывшись носом в пахнущие осенним листопадом и дымным ветром волосы дочери, оплакивая свою горькую вдовью судьбу и беспросветную жизнь, в которой не было ничего, кроме нескончаемого отчаяния и выматывающего тяжелого труда.

Вышла замуж Элиза рано, едва справив семнадцатилетие. К тому времени она уже была два-
ж-



ды тетей и часто выручала сестер, нянчась с племянниками. Мать с удовлетворением отмечала, что хоть толку от младшей дочери в смысле учебы и нет, но женой и хозяйкой она будет замечательной. Это, несомненно, было так: природа, обделив Элизу хоть какой-то тягой к

знаниям, наградила сторицею домовитостью и исполнительностью. С легкостью, совершенно не тяготясь и не жалуясь на усталость, она справлялась с любой домашней работой: мыла, скребла, терла, шила, вязала, готовила, пекла. Старый дом, одряхлевший и обветшавший за десятилетие, благодаря ее стараниям понемногу приходил в себя и словно даже расправлял плечи. По промытым в трех водах окнам скакали солнечные зайчики, выскобленный от многолетней грязи чердак сиял чистотой, избавившаяся от ржавого налета дровяная печь смотрелась новеньким, вот буквально сейчас поставленным на рельсы самодовольным паровозом — только и остается, что в трубу засвистеть и тронуться в путь, а вычищенный от прошлогодней подгнившей падалицы и нахраписто растущего густого сорняка огород разродился к осени таким урожаем, что мать, чтобы похвастать, на радостях пригласила в гости чуть ли не весь коллектив больницы. Тогда и присмотрела для своего сына Элизу старшая хирургическая медсестра. Окинув придиричивым сверкающим чистотой дом, распробовав и похвалив приготовленную в кизи-

ловой подливке утку, она принялась выпытывать у девушки рецепт блюда. Пока та, обрадованная похвалой и вниманием к своей персоне, бесхитростно и подробно его пересказывала, мать, мгновенно догадавшись об истинной причине заведенного разговора, не преминула вставить шпильку:

— Ну что, убедилась, что это она готовила?

Будущая сватья, ничуть не смутившись и не обидевшись, пожала плечами:

— Мало ли, вдруг ты приготовила. Всякая мать выставляет свое дитя в лучшем свете.

Элиза хотела было возразить, что ей-то как раз редко перепадает похвала, но вовремя прикусила язык, и не потому, что перехватила упреждающий взгляд матери, а потому, что впервые со всей ясностью осознала: никогда и ни при каких обстоятельствах она не позволит себе жаловаться кому-либо на нее.

Спустя две недели, в договоренную субботу, пришли сваты — знакомить молодых и, если все сложится, официально объявить о помолвке. Жених Элизе сразу понравился: и имя красивое, царское — Тигран, и собой хорош — высокий, синеглазый, с тонкими усиками и жестко-курчавой шевелюрой, которую он, чтобы не морочиться, подстригал очень коротко, отчего лицо его обрета-
ло немного детское, открытое выражение.

Юная Элиза мало что понимала во взрослой жизни и ничего не знала о супружеских и семейных отношениях. Она росла в бабьем царстве — сестры, мать, двоюродная бабушка, на один летний месяц забирающая ее к себе в деревню, вдовы соседки, потерявшие мужей на войне. Из

одноклассниц только у троих были отцы, остальные не видели мужского воспитания, потому о роли мужчины в семье имели весьма расплывчатые представления. Школьные же мальчики казались им сущим недоразумением и ничего общего с благородным мужским обликом, рисуемым в девичьем воображении, не имели. Элиза, нянчась с племянниками, исподтишка наблюдала жизнь старших сестер, но, в силу природной стеснительности и нерешительности, с зятьями разговоров не заводила, ограничиваясь приветствиями и дежурными вопросами о самочувствии. Насмотренная горьким одиночеством своей матери и тяжелыми буднями соседок, семейную жизнь она представляла полной бесконечных забот и безрадостных обязанностей.

Вопреки подкупающему облику, Тигран был человеком вполне уже состоявшимся, с неуступчивым тяжелым нравом. Невзирая на небольшой — двадцать три года — возраст, он успешно руководил колхозной бригадой и был на хорошем счету у начальства. Элиза ему не понравилась. Она и не могла понравиться, потому что молодое и охочее до любви сердце Тиграна было занято другой женщиной, с которой он три года как состоял в любовной связи. Старше его на двенадцать лет, эта женщина растила двоих детей и ухаживала за инвалидом-мужем, вернувшимся с войны без руки. Женой и матерью она была нежной и любящей, в детях своих души не чаяла, разводиться решительно отказывалась, чем причиняла влюбленному Тиграну неимоверные страдания. Он умолял ее бросить мужа, обещая жениться и заботиться о детях, но

она отмахивалась — зачем разводиться, если все и так хорошо!

— Тогда зачем тебе я? — грохал кулаком по столу он.

— Для души, — каждый раз отвечала она и раздражалась звонким смехом, запрокидывая красивую, в огненно-рыжих кудрях, голову и прикрыв лицо узкими ладонями с неестественно длинными, словно вылепленными из воска пальцами. В такие минуты Тигран готов был ее убить. Он привлекал ее к себе, намеренно больно сжимал в объятьях, она охала и, продолжая смеяться, тянулась губами к его губам. Глаза ее темнели и превращались в бездонные провалы, лицо сосредотачивалось и бледнело так, что выступали крохотные розовые веснушки, она касалась своими чуть обветренными полными губами его губ и выдыхала — больно же.

— И мне больно, — отвечал он.

Звали ее Шушан, в переводе с армянского — лилия. Она и сама была словно лилия — роскошная, солнечная, женственная, пахнущая цветочными духами, не по местным меркам дорого и модно одетая. В деньгах она не нуждалась благодаря помощи бабушки. Спасшаяся от резни, та чудом догадалась спрятать в пеленках сына мешочек с золотыми монетами и редкими драгоценностями, а на себя надела менее ценные серебряные украшения, верно рассудив, что отвлечет ими внимание конвоиров, сопровождавших вереницы депортируемых армян из сердцевины охваченной погромами и убийствами турецкой империи к ее пустынным окраинам. Так и случилось: сразу же

при выходе из города, сорвав богатый старинный пояс, браслеты и тяжелое ожерелье, конвоиры, пихнув прикладом в большой живот — после родов женщина сильно располнела и смахивала на вновь беременную, — оставили в покое и ее, и перепуганную пятилетнюю дочь, неумело, но крепко прижимавшую к себе верещавшего младенца в испачканных пеленках. Мальчик умер от тифа, а девочка выросла, вышла замуж и родила четверых детей, старшей из которых была Шушан. Спасенное богатство бабушка цепко хранила, остерегаясь советской власти, которая могла его отнять, и только после войны стала понемногу распродавать антикварам и коллекционерам, выезжая для этого в Ереван. Зная истинную ценность украшений, она заламывала большие деньги, торговалась самозабвенно и, одержав неизменную победу, возвращалась домой крайне собой довольная, с подарками для всех членов семьи. Шушан, старшая внучка, была как две капли воды похожа на бабушку, потому баловали ее пуще остальных. У нее было все самое лучшее: приобретенные у репатриантов французские платья из чистейшей шерсти, меховые горжетки, узкие кожаные перчатки, туго застегивающиеся у запястья на жемчужные пуговики, кокетливые шляпки, дорогая косметика, нежнейшее шелковое белье, модельные туфельки и ботиночки, заказанные у знакомого обувного мастера — лучшего сапожника Карса, шьющего для турецких чиновников и армянских богачей. Дряхлый и почти ослепший мастер давно не работал, но отказать одной из самых старых и преданных своих

клиенток не мог, потому, орудуя на ощупь иглами, шилом и крючками, создавал для ее внучки истинные шедевры, по наитию, задолго до нового веяния моды угадывая форму носка или каблук. Шушан ходила в этих нездешних, неземной красоты туфельках по непролазной грязи, ничуть их не щадя, а женщины провожали ее завистливыми взглядами и, горестно рассматривая свои уродливые башмаки, в отместку придумывали нелепые сплетни, единственной правдивой среди которых была молва о том, что у Шушан есть молодой любовник. Впрочем, в таком крохотном патриархальном городке, как Берд, новости разносились быстрее сплетен, и к тому времени, когда кудахчущий бабий треп, большекрылый и разноцветный, залетал во все дворы, норовя протиснуться в каждую кухонную форточку, от него устало отмахивались, как от опостылевшей мухи.

Слухи об изменах всегда передавались шепотом и брезгливой скороговоркой, а отношение к неверности, особенно женской, оставалось крайне осуждающим и обрекало на несмыслимый позор. Любая другая женщина, оказавшись в подобных неприглядных обстоятельствах, если бы не наложила на себя руки, то ходила бы по улицам бессловесной тенью, не смея поднять глаз. Любая, но не Шушан. Ее, наделенную чуть ли не с рождения независимым нравом, совершенно не волновало мнение соседей и знакомых, с которым она считаться не собиралась, и жила так, как находила нужным. Мать Тиграна, явившуюся к ней советить и умолять оставить ее сына в покое, она оборвала, яростно бросив:

— Моя жизнь, как хочу, так ее и проживаю. Сына вашего я не держу и не неволю! Сам ко мне ходит!

Рассказывать Тиграну о случившемся Шушан не стала. Мать сама ему проговорилась, когда в очередной раз увещевала приглядеться к какой-нибудь девушке. Рассвирепев, Тигран потребовал, чтобы она не смела никогда больше вмешиваться в его личные отношения.

— Тебе жениться надо, а ты с этой дрянью связался! — бросила в сердцах мать.

— Мое дело! — отрезал Тигран и, путаясь в рукавах, выскочил из дому, натягивая куртку на ходу. Мать отметила про себя, что он пропустил мимо ушей оскорбительное слово, и приободрилась: значит, в голове у сына сидит мысль о том, что Шушан непорядочная женщина, и он осознает, что поступает неверно.

Сватовство пришлось на очередную ссору, случившуюся между влюбленными. Тигран, по своему обыкновению приревновав возлюбленную к мужу, потребовал, чтобы она его бросила, а та, отказав в неизменной своей надменно-ироничной манере, по привычке потянулась к нему губами, чтобы сгладить ссору поцелуем. Но он мало того что грубо оттолкнул ее, так еще и замахнулся кулаком. Она же, мгновенно оскорбившись, залепила ему звонкую пощечину и выставила вон, потребовав, чтобы он забыл к ней дорогу. Тигран несколько раз пытался помириться, но Шушан была непреклонна, а в последний раз и вовсе кинула ему в лицо обидное «незаменимых нет, найду себе другого». «Нашла?» — нехорошо прищурился Тигран. «Считай,

что да!» — пожала плечами она. Хоть Тигран и знал, что сказанное — всего лишь глупая бравада, но обиделся насмерть. На следующий день мать Элизы устроила в своем доме хвастливые посиделки, а через две недели состоялось сватовство, на котором молодые и познакомились.

Элиза была абсолютной противоположностью Шушан: невысокая, худенькая и угловатая, с затянутыми в тяжелый узел каштановыми волосами и робкой улыбкой, открывающей неровный ряд растущих чуть внахлест верхних зубов. Пахла она сладковатым душным одеколоном, выпрошенным у матери, но даже дешевый парфюм не в силах был перебить спертый запах деревенского быта с его навязчиво-кисловатым ароматом хлебной закваски и поджаренных на пахучем подсолнечном масле овощей с чесноком. Она об этом догадывалась, потому стеснялась своего простенького вида и, не зная, как скрыть замешательство, нервно подправляла рукава вязаного жакета, то закатывая их, то, наоборот, разворачивая до конца. Молодых оставили на веранде, чтобы они могли познакомиться и приглядеться друг к другу. Мягкий свет октябрьского солнца просачивался сквозь листья винограда, увивающего деревянные своды, и ложился щедрыми мазками на дощатый пол, исчерчивая его в пятнистый узор. Отчаянно верещали, не поделивши корку хлеба, воробьи. Ветер метался по двору, разнося привычный с детства солоноватый, отдающий водорослями и раскаленным камнем запах ущелья. Тигран с минуту изучал Элизу, бесцеремонно засунув руки в карманы брюк и покачиваясь с носка на пятку, а она стояла,

не смея опустить голову, но и не решаясь поднять на него глаза. Лицо ее — открытое и чистое, смахивающее на сердцевидный лист кувшинки из-за невысокого лба, выступающих скул и остренького короткого подбородка заливалось стыдливым румянцем.

— Значит, тебя Элизой зовут! — не спросил, а заявил он.

Она кивнула.

— Не хочешь спросить, как меня зовут?

Она ответила, чуть растягивая, словно распевая слова:

— Зачем спрашивать, если я и так знаю?

Он хмыкнул, соглашаясь — и правда, зачем?

Сердце его ныло и тосковало по Шушан, по тонким ее длинным пальцам и рыжим локонам на затылке — она любила высоко закалывать свои огненные волосы, открывая красивые женственные плечи, и непокорный коротенький подшерсток завивался колечками на молочно-белой шее и за крохотными ушками.

— Пойдешь за меня замуж? — пересилив себя, спросил Тигран.

Элиза наконец-то решилась поднять на него глаза. Обвела его лицо ласковым взглядом, словно ладонью провела. Он даже отшатнулся, физически ощутив это касание.

— Да, — помедлив, прошептала она.

Свадьбу сыграли в конце ноября. Элиза сама сшила платье из молочно-серебристой шелковой тафты, отрез которой подарила ей будущая свекровь. Фасон она подсмотрела в польском

журнале мод, каким-то чудом раздобытом для нее старшей сестрой. В 60-е годы наряды резко укоротились, оголяя ноги девушек чуть ли не до середины бедра, но такая длина для глухой провинции была недопустима, потому Элиза решилась на простое в крое, прикрывающее колено платье-карандаш с большим бантом на талии и пышную, едва доходящую до плеч фату. За месяц приготовлений они с Тиграном виделись всего два раза. В первую свою встречу прогулялись по городку, держась друг от друга на почтительном расстоянии — на этом настояла Элиза, Тигран, хмыкнув, согласился. Во второй раз они сходили на «Бродягу» с Раджем Капуром, и Тигран не преминул насмешливо спросить у своей невесты: мне рядом сесть или в другом конце кинозала? Она смутилась и покачала головой. Весь сеанс она безотрывно следила за действием на экране и отчаянно хотела, чтобы Тигран взял ее за руку, но он этого не сделал. На прощание она, собравшись с духом, сказала то, о чем думала всю обратную дорогу:

— Я бы тоже, как Рита, ждала тебя, если бы с тобой... — она запнулась, подбирая правильные слова, — что-нибудь стряслось.

— Какая Рита? — вынырнул из раздумий Тигран.

— Из фильма.

Он вздернул иронически брови, но, запнувшись о ее сосредоточенный взгляд, посерьезнел.

— Хочешь сказать, что влюбилась в меня?

Она тряхнула головой, подцепила прядь каштановых волос из туго затянутого хвоста, привычно намотала на палец, подергала.

— Думаю, что да.

Тиграна поразила ее бесхитростная прямота. Он впервые взглянул на нее с интересом, отметил абрикосовую смуглость кожи и трогательные ямочки на щеках. Ему захотелось прикоснуться к ней, он даже представил, как водит рукой по ее шее, и она, прикрыв глаза, послушно наклоняет голову набок, подлаживаясь под скольжение его пальцев, и белоснежная ее кожа покрывается крохотными мурашками, и огненные ее волосы... он осекся, растерянно заморгал, ошарашенный тем, как навязчиво Шушан вытесняет образ его невесты. Чтоб скрыть замешательство, он ляпнул что-то дежурное (слов потом не мог вспомнить) и, досадуя на себя, протянул для прощания руку. Она сунула ему сложенную ковшиком ладонь, он по-дурацки крепко ее пожал, и она охнула и испуганно выдернула пальцы.

Свадьбу Элиза запомнила суматошным нескончаемым днем, многолюдным и раздражающе шумным. Платье получилось короче, чем она предполагала, и ей приходилось стыдливо натягивать его на свои острые беспомощные коленки. Бант на спине кололся и натирал кожу, а обшитая гипюровым кружевом тяжелая фата сползала на лоб каждый раз, когда она наклоняла голову. «Не ерзай!» — насмотревшись на ее мучения, шепнул Тигран и отвел ее руку от подола, в который она в очередной раз вцепилась, чтобы подправить. Рука ее была ледяная, и он подержал ее, согревая, в своей. Элизу его прикосновение обожгло. Она задержала дыхание, привыкая к новому для себя, наполненному счастливым ожиданием чувству. Пронзительно

пела зурна, тамада бубнил долгие бессмысленные тосты, захмелевшие гости не перебивали его, но и не особо слушали, шушукаясь и посмеиваясь, мать с соседками уносили пустые блюда и возвращали их на столы наполненными дымящейся хашламой и тушеной в ореховой заправке фасолью, дети, размо-
ренные обильной едой, клевали носами. Вечер на-
гнал за окном мутной хмари, моросил промозглым
дождем, гнул макушки зябнувших деревьев. Элиза с
тоской подумала о неумолимо надвигающейся зиме,
которую никогда не любила. Отчаянно захотелось
предаться занятию, которое ее всегда успокаивало,
но под рукой не было ни бумаги, ни карандаша, и
она, чтобы унять волнение, прикрыла глаза и стала
представлять, как водит остро отточенным грифе-
лем, рисуя широкие, с выступающими косточками
суставов, большие мужские кисти. У Тиграна руки
были совсем другие, с коротковатыми жесткими
пальцами и плоской, словно бездушной, ладонью.
Это ее немного расстраивало, она хотела, чтобы его
руки были похожи на руки отца.

От первой брачной ночи, о которой накануне
Элизе наспех рассказала, смущенно посмеиваясь,
старшая сестра, осталось ощущение жгучего сты-
да — она впервые разделась догола перед мужчи-
ной и впервые увидела его нагим. А также ощу-
щение саднящей боли там, куда он вторгся, не особо
церемонясь с ее неопытностью и страхом. Она даже
покровила пару дней, обильно, словно при месяч-
ных, и обеспокоенная свекровь, запретившая сыну
прикасаться к молодой жене, уже собиралась ве-
сти ее к врачу, но на третий день та выправилась, и
все вздохнули с облегчением.

Бережно, крохотными осторожными стежками Элиза принялась вышивать на полотне своей жизни новые узоры. Со свекровью и ее престарелыми родителями у нее сразу сложились теплые отношения, а вот с младшей сестрой Тиграна, принявшей ее в штыки и не считающей ровней своему брату, она так и не смогла найти общего языка. Впрочем, она не особенно по этому поводу переживала, тем более что золовка училась в Ереванском институте иностранных языков и появлялась в родительском доме только на каникулах.

Тиграна Элиза полюбила сразу, еще в день знакомства, когда он стоял на веранде, облитый уходящим светом осеннего солнца, и, покачиваясь с носка на пятку, изучал ее насмешливым взглядом. Боясь произвести на него ненадлежащее впечатление и стесняясь настойчивого запаха одеколона, которым неумело набрызгалась сверх меры, она вытянулась в струнку словно школьница и не решалась поднять на него глаза. Она знала о его любовной связи — об этом, как бы между делом, делано-беспечной скороговоркой рассказала мать и, не дав дочери опомниться, добавила, что всякая привязанность у мужчины длится до той поры, пока под боком не оказывается любящей и преданной жены.

— Ты уверена, что все так? — спросила Элиза.

— Конечно!

Ей ничего не оставалось, как поверить.

До знакомства с Тиграном она много раз сталкивалась на улице с Шушан и всегда оборачивалась ей вслед, с детской восторженностью и восхищением отмечая ее красоту и непринужденность,

с которой та носила свои роскошные наряды, чулочки и туфельки, умудряясь не выглядеть нелепой среди незатейливой деревенской действительности. Помолвка изменила ее отношение к сопернице — Элиза стала ревновать и, опять же, побаиваться Шушан, трезво оценивая свои силы. Ведь кем она, по сути, была? Обычной крестьянкой, устроившейся на работу в колхозный коровник. Ее сразу же определили в телятник, который она мыла и скребла с той же увлеченностью, с какой прибиралась у себя дома. Никаких амбициозных планов на будущее она не строила, ни к чему не стремилась. Она просто знала, что когда-нибудь выйдет замуж и посвятит себя семье, и свое предназначение видела именно в этом.

Шушан же слепили из другого теста — многим она казалась надменной и какой-то чересчур целеустремленной. Ничто не могло пошатнуть ее уверенности в себе: ни достигшие непокорного возраста сыновья-подростки, ни муж-инвалид, которого она, невзирая на физическую увечность и мужскую несостоятельность, по-своему любила и не собиралась бросать, ни недавно справленные тридцать пять лет, считай — порог бабьей зрелости, когда еще немного, и тебя бесцеремонно запишут в старухи. Шушан работала выпускающим редактором в местной газете, писала туда едкие фельетоны, которые люди с наслаждением по нескольку раз перечитывали и растаскивали на цитаты. Она курила — много и со вкусом, и даже зажатая в зубах дымящаяся сигарета и забавная гримаса, которую она навешивала на лицо каждый раз, когда сосредоточенно стучала по клавишам

печатной машинки, не портили ее красоты. При всей своей внешней «нездешности» она до мозга костей была местной женщиной, отлично знала не только обычаи и традиции, но и глубинные комплексы бердцев, потому писала о родном городке беспощадно и открыто, не церемонясь с чувствами читателя, но безусловно — принимая его и любя. За эту любовь земляки и прощали ей ту позу и тот образ жизни, которые всякой другой женщине вышли бы боком.

Отлично представляя ту пропасть, которая разделяла ее и Шушан, Элиза отчаянно страдала и приговоренно ждала того дня, когда Тигран снова вернется к ней. Тем не менее разговоров об этом ни с кем она не заводила, считая это ниже своего достоинства, и лишь однажды, будучи уже беременной, рискнула излить свекрови свои сомнения. Та, вздернув брови и удивленно цокнув языком, оборвала ее вопросом:

— Он тебя любит?

— Д-да, — смешалась Элиза.

— А ты его? — продолжала выпытывать свекровь.

— Конечно! — Ее изумило, что спрашивают о таких очевидных вещах.

— Тогда ты не моим расспросам должна удивляться, а тому, что твои мысли занимает какая-то посторонняя замужняя женщина, которой ты чуть ли не в дочери годишься!

Элизу тот разговор не успокоил, но немного утешил. Определенно, мать мужа была на ее стороне, и это было крайне важно. Хозяйка армянского дома, подобно ферзю, являлась сильней-

шей шахматной фигурой, и победа безоговорочно оказывалась на стороне того, кого она поддерживала.

После свадьбы Элиза столкнулась с соперницей лишь однажды, когда пришла на очередной осмотр в женскую консультацию. Шушан вышла из кабинета врача, со смехом досказывая какую-то историю, Элиза же, ожидающая своей очереди на прием, вместо того чтобы немного повременить и дать ей возможность уйти, растерявшись, сразу же поднялась и направилась в кабинет. Шушан придерживала дверь, пропуская ее, окинула остекленным взглядом пятимесячный живот, на мгновение изменилась в лице, но сразу же совладала с собой и, попрощавшись с врачом, заспешила прочь. Поэтому, как глухо оборвался ее голос, и по суетливому стуку ее каблучков по стертým половицам больничного коридора Элиза поняла — ей больно. Ее сердце мгновенно наполнилось упоительным и стыдным ощущением торжества. «Каждому — свое», — мстительно подумала она, с довольным видом устремляясь к растопыренному гинекологическому креслу, с которого только что слезла ее соперница. И даже тогда, когда врач погрузил в нее свои прохладные пальцы, а другой рукой мягко надавил на верх живота, расспрашивая об ощущениях, Элиза добросовестно отвечала ему, но не прекращала упрямо повторять про себя: «Каждому — свое».

Она сразу догадалась, когда Тигран ей изменил. Он вернулся, вымотанный, с поля, привычно пах

влажной травой и намокшим пшеничным колосом, тяжелый ватник отдавал бензиновым угаром, а сапоги по самые голенища были вымазаны глиной и землей, она потянулась к нему и обняла, он же раздраженно отстранился и, кажется, даже поморщился — она не видела, но всем телом ощутила эту гримасу, а он, спохватившись и виновато полуобняв ее, пробубнил оправдываясь:

— От тебя коровником несет.

Это был последний рабочий день перед декретным отпуском, и она решила оставить за собой идеальную — насколько это возможно — чистоту, выскребла из кормушек залежавшееся и начинающее подгнивать сено, тщательно прибралась в родильной, подмела и промыла в два приема дощатый пол. На прощание долго чесала корову, которой скоро было телиться. Животное натужно и устало дышало, положив голову на перекладину стойла, живот свисал чуть ли не до пола, вымя вздулось, а набухшие соски сочились молозивом. Элиза попыталась заставить корову лечь, но та не далась, только коротко промычала и повернула голову, опустившись на перекладину другой щекой. Она гладила ее по спине, по немилосердно вздувшимся бокам, которые иногда сводила слабая судорога, по длинным колючим ресницам и мягким губам и приговаривала шепотом: «Потерпи, милая, скоро все, скоро все». Корова ей напоминала себя — беспомощную и неуклюжую, напуганную переменами, которые произошли с ее телом, ставшим таким чужим и малопривычным, что она запретила себе подходить к большому, в полный рост, зеркалу, в котором раньше любила себя разгляды-

вать. Тигран с седьмого месяца беременности не прикасался к ней, объясняя это боязнью «чего-то там ненароком повредить», и Элиза была ему бесконечно благодарна, потому что стеснялась себя, оплывшую и неловкую, и не хотела, чтобы он видел ее такой. Но ей не хватало привычного мужского тепла, потому она не выпускала его руки во время сна, а днем норовила, улучив минуту, когда никто не видит, обнять его и, встав на цыпочки, прильнуть губами к любимой ямочке на подбородке. Она упросила его отпустить волосы, и каждое утро причесывала его, застревая зубьями расчески в густых и мелких его кудрях. Он морщился, когда она больно дергала расческой, но терпел. Это был ее любимый утренний ритуал — он брился, водя лезвием опасной бритвы по щекам и стряхивая серую мыльную пену в умывальник, а она, дождавшись, когда он замрет, тянулась к его волосам и расчесывала их, готовая отдернуть руку в любой миг, как он снова пошевелится.

Когда он отстранился, смущенно пробубнив, что она пропахла коровником, Элиза, растерявшись, прошептала какие-то виноватые слова и лишь потом сообразила, что успела помыться и переодеться в чистое. В ту ночь она постелила себе на тахте в гостевой комнате, а на расспросы свекрови ответила, что не хочет мешать Тиграну высыпаться. Объяснение ни у кого из домочадцев подозрений не вызвало — Элиза в последнее время страдала приступами изжоги и часто поднималась среди ночи заварить себе мяты или заесть неприятные ощущения горстью толченого грецкого ореха. Зарывшись с головой под одеяло и

прислушиваясь к звукам спящего дома (он звучал совсем не так, как уютный дом ее детства, и было в его шорохах настораживающее и пугающее, будто что-то давно не давало ему покоя, тревожило и мучило), она думала, как поступить. Первым порывом было собрать вещи и вернуться к матери, однако благоразумие возобладало, и она, запретив себе опрометчивые поступки, хотела, перед тем как принять окончательное решение, убедиться в своих подозрениях.

Интуиция Элизу подвела: изменять Тигран стал задолго до того, как она об этом догадалась. Если раньше, до сватовства, он не скрывал своих отношений, то теперь, дабы не расстраивать беременную жену и не навлекать на себя гнев родных, он вынужден был соблюдать крайнюю осторожность. С Шушан они, как прежде, встречались у нее на работе. Редакция газеты располагалась в просторных комнатах второго этажа крохотного старинного особняка. Таких особняков на главной улице городка было два, и выглядели они совершенно одинаково. Это были крепкие каменные строения с высокими солнечными окнами, не в тон залатанными рыжими черепичными крышами и гулкими парадными, украшенными прихожей деревенского зодчего когда-то серебрёными, а теперь вконец вылинявшими пилястрами. До революции они принадлежали князю Маилян, благополучно пропившему большое отцовское состояние и на старости лет безвозвратно сбрендившему. Из всего пущенного по ветру наслед-

ства ему остались два этих дома с общим двором и брошенным хозяйством. В первом особняке, по слухам, проживала семья князя, а во втором, куда вход был заказан всем, кроме прислуги, обитал он собственной персоной. После революции особняки перешли народной власти, в одном из них спустя три десятка лет расположились редакция газеты и библиотека, а в другом — нотариальная контора и ДОСААФ. Князь закончил свои дни в психиатрической лечебнице, а его семья после падения первой армянской республики переехала в Бейрут, где ее следы окончательно затерялись.

Тигран приходил в редакцию к семи вечера, когда там никого, кроме Шушан, задержавшейся под предлогом дописать статью, не оставалось. Пробравшись сквозь запущенный сквер и скользнув в расположенный в торце особняка служебный вход, он взбегал на второй этаж, где она его ждала. Каждый раз, оказавшись в дверях ее кабинета, он задерживал дыхание и прикладывал ладонь к груди, чтобы унять сердцебиение: сердце колотилось до того громко, что, казалось, заглушало стрекот печатной машинки Шушан. Она выскакивала из-за стола и неслась к нему, висла на шее и частила, запрокидывая голову и заглядывая в глаза: «Пришел? Ты пришел?» «Пришел!» — унимая волнение, выдыхал он. Распаленные долгим вынужденным расставанием, их отношения обрели новую силу и новый смысл. Он теперь не ревновал ее к мужу, а она, убедившись за время разлуки в своей любви, прекратила изводить его высокомерием. Каждая

встреча наполняла их сердца ощущением несомненного и неоспоримого счастья. Они совершенно не испытывали угрызений совести, потому не омрачали выпавшие на их долю скудные часы бессмысленными упреками. До поры до времени Шушан даже не заботило существование в жизни любимого мужчины другой женщины, будто бы ее и не было вовсе. Однако все изменилось в день, когда она столкнулась с беременной Элизой в поликлинике. Пришла Шушан туда, обеспокоенная отсутствием женских недомоганий. Но доктор ее успокоил, и она, выдохнув с облегчением, засобиравшись на выход, досказывая забавную историю, приключившуюся с ее младшим сыном. Столкнувшись в дверях с Элизой, она, совершенно огорошенная и сбита с толку ее беременностью, впервые испытала смешанное чувство досады и ревности. Тигран не предупреждал ее о состоянии жены, и хотя она и понимала, что сделал он это из желания уберечь ее, однако была неприятно уязвлена. Рабочий день она провела, сидя без дела перед печатной машинкой и выкуривая одну сигарету за другой. Ближе к вечеру заломило поясницу и заныло внизу живота, и Шушан, сославшись на плохое самочувствие, отпросилась домой. Приход долгожданных регул она восприняла не с облегчением, а с горечью и даже досадой. И именно тогда призналась себе, что не согласна еще раз отказаться от любимого мужчины. Теперь она готова была сделать все возможное, чтобы заполнить его в единоличное пользование навсегда.

Вопреки обыкновению, уходящий ноябрь выдался удивительно мягким и солнечным. Обманутые теплынью, захорохорились петухи и заново стали нестись куры; переселившиеся в теплое низовье реки деревенские чижи закружили над дворами, край ущелья зацвел нежно-голубыми подснежниками и пуще прежнего запах соленым морем, а обочины дорог покрылись кучерявящимися кустиками просвирняка и молочной крапивы. Элизе до отчаяния хотелось зеленого супа. Отправлять старенькую прасвекровь за крапивой она постеснялась, потому сама ее собрала, придумав опускаться возле кустиков на колени (нагибаться не давал большой живот). Зелени оказалось неожиданно много — за полчаса она нарвала целый передник. Суп получился густым и нестерпимо вкусным. Старики ели, щедро поливая его соусом из чеснока и мацуна, и неустанно хваливали. Прасвекор, подливая себе добавки, не преминул ввернуть, что осенняя крапива всегда вкуснее весенней.

— Почему? — любопытствовала Элиза, обмазывая сливочным маслом ломти хлеба и подкладывая их старикам.

Прасвекор собрался было ответить, но его опередила прасвекровь. Она умильно улыбнулась беззубым ртом сначала невестке, потом замершему с половником в руках мужу и прошамкала:

— Перед смертью хотят надышаться, дочка, вот и стараются. Точно мы с дедом.

Элиза не нашла, что ответить. Она ела, низко склонившись над тарелкой, украдкой утирая на-
вернувшиеся горячие слезы, и беззвучно шмыгала

носом. Ей до боли было жаль стариков, но себя было жалче. Казалось, все в ее жизни было хорошо: щедрый дом — в такой любая девушка мечтала бы попасть, любящие старики, готовая всегда прийти на помощь и поддержать свекровь. Даже сын (а она не сомневалась, что будет мальчик, потому выпросила позволения назвать его Кареном, чтоб порадовать свою мать), словно учуяв ее настроение, особого беспокойства не причинял и, щадя ее, шевелился в животе редко и бережно. И только с Тиграном все было тягостно и непросто. С того дня она так и ночевала на тахте в гостевой комнате. В первую ночь ждала, что муж попросит ее вернуться в спальню, но, когда под утро он за ней пришел, она твердо ему отказала. По тому, как он, поспешно отведя взгляд, промямлил в ответ что-то малодушно-обиженное, она окончательно укрепилась в своих подозрениях. Теперь Элиза делала все возможное, чтобы не оставаться с Тиграном наедине. Вела она себя как прежде: была предупредительна с мужем, заботилась о нем, обстирывала-обглаживала и, провожая на работу, по заведенной уже привычке, не уходила с веранды, пока он не скрывался за соседским забором, заслоняющим дорогу. Но это была показная часть ее жизни, предназначенная для стариков. Внутри себя Элиза провела невидимую для остальных, но весьма осязаемую для мужа черту, которую ему не позволялось пересекать. Тигран, уверенный в том, что жена не догадывается о его возобновившихся отношениях с Шушан, списывал похолодание в отношениях на беременность. Элиза же лихорадочно соображала, как ей быть дальше. Посоветоваться

ей было не с кем — с сестрами дружеских отношений не сложилось, мать она расстраивать не намеревалась, как и не хотела растравлять душу старикам и свекрови. Подсознание, щадя ее и нерожденного ребенка, притупляло боль, и она переживала случившееся не столь остро, как было бы при прочих обстоятельствах. Но и мириться с положением дел, которое ее ранило и унижало, Элиза была не готова.

Она теперь часто вспоминала, как на уроках биологии, подперев голову рукой, изучала висящие на стенах кабинета ряды рамок с насекомыми. Переводя взгляд с одного засушенного трупика на другой, она испытывала смешанное и тягостное чувство заинтересованности и гадливости. Такие же ощущения были у нее, когда, будучи маленькой девочкой, она намеренно расковыривала ранку, чтобы следить за тем, как привлеченная запахом крови муха высасывает набежавшую, стремительно темнеющую каплю коротко вздрагивающим хоботком. Сейчас, пытаясь найти выход из создавшегося положения, Элиза испытывала ровно те же ощущения, будто наблюдала в замочную скважину нечто отвратительное и одновременно влекущее. Ей не давало покоя чувство вины: она не сомневалась, что не менее остальных причастна к происходящему, хотя бы потому, что, зная о неоконченных отношениях Тиграна, дала вовлечь себя в эту историю. Иногда она представлялась себе тем самымдохлым насекомым из школьной коллекции, которого насадили на специальную булавку и заботливо обложили клочками ваты. Посмотреть со стороны — вроде все выглядит красиво и пристойно.

А на самом деле противно, и нестерпимо хочется отвернуться.

По выходным Элиза обязательно заглядывала к матери, прихватив чего-нибудь из своей стряпни. Та, оставшись в одиночестве, совсем не готовила и перебивалась бутербродами. Дом постепенно обрел прежний неприкаянный и заброшенный вид, и Элиза, окидывая взглядом давно не мытые окна и нити паутины под потолком, каждый раз обещала выкроить время и навести порядок. Мать пожимала плечами — и так сойдет. Элиза разогревала принесенное жаркое и стояла над ней, пока та, морщась, не съедала хотя бы половину порции. Потом они пили кофе, заедая простенькой выпечкой, переданной Ниной или Мариам — они, в отличие от Элизы, редко выбирались к матери, но та не обижалась — времени у старших дочерей было в обрез: дом, работа, хозяйство, дети...

Изредка она становилась разговорчивой и вспоминала какие-нибудь забавные истории. Однажды, вертя в руках чашечку с остатками кофе, рассказывала о поездке в Ереван, случившейся в феврале последнего года войны.

— Вернулся твой отец с фронта в 43-м, живой, хоть и тяжело покалеченный, без одного легкого. Счастью моему не было предела! Не зря, значит, выплакивала все слезы, отмолила, стало быть, его у смерти! Она его, конечно, с большой неохотой отпускала: худющий был, со страшным шрамом после госпиталя, почти все тело в гнойных свищах и кровавых струпьях. Кашлял круглыми

сутками, не спал. А ноги! Видела бы ты его ноги, дочка! Ступни были стерты чуть ли не до костей, а между пальцами росла черная плесень. Вот не вру, взаправду была. Спасибо знахарке Пируз, помогла его выходить: и травами сушеными, и настояями, и заговорами с молитвами. Спустя почти два года твой отец наконец окреп, и мы с ним решили устроить выезд, можно сказать — маленькое свадебное путешествие, — здесь мать смутилась и покраснела. Элиза погладила ее по руке, приободряя. — Так вот, — продолжала мать, — оставили твоих сестер на соседку, приехали в Ереван, сняли комнату на верхнем этаже красивого дома, очень красивого, узорный балкон и высокая лестница с резными перилами до сих пор перед глазами стоят! Заселились, вышли погулять по городу, набрали на лавку сладостей. Денег в обрез, все нестерпимо дорого. На витрине, среди разных сортов халвы и сладостей, стояла коробка со светло-зелеными ди-ковинными зернами. Спросили, что это такое, нам ответили, что кофе. Ну мы и надумали купить немного, ведь хоть и слышали о нем, но ни разу не пробовали. Мы-то, восточные армяне, в отличие от западных, по русской традиции чай из самоваров пили, это стамбульские армяне знали толк в кофе, а мы его даже в глаза не видели. Вот и захотели с твоим отцом попробовать. Купить-то мы этот кофе купили, а спросить у продавца, как его заварить, постеснялись. И у хозяйки дома, пожилой ван-ской¹ армянки, тоже постыдились разузнавать.

¹ Ван — город в Западной Армении (сейчас находится на территории Турции).

Решили готовить наугад: промыли зерна, залили холодной водой, поставили вариться на конфорку. Только зря керосин извели — зерна от варки даже не размягчились. Пытались разжевать и сразу же выплюнули — горечь была нестерпимая. Потраченных денег было жалко, решили хотя бы бульон выпить. Подсолили его, поперчили и, пересилив отвращение, съели с хлебом.

Мать зарылась лицом в ладони, расхохоталась. Элиза к тому времени уже корчилась от смеха, хватаясь за большой живот и жалобно охая.

— И? — еле отдышавшись, поторопила она мать.

— И три ночи не спали!

— Зато накувыркались всласть, — взвизгнула Элиза и, хрюкнув, повалилась на бок.

Мать делано замахала на нее — вот бесстыжая, но сердиться не стала. Они долго потом сидели, отходя от смеха, улыбаясь благостному дню и своим мыслям, и, казалось, ничто не могло испортить им настроение, как вдруг мать, вздохнув, продолжила:

— Как же я тогда радовалась! Думала — война закончилась, наконец-то начнется новая счастливая жизнь. Кто мог знать, что твоему отцу всего ничего осталось жить! Дождался тебя, понянчил, дотянул до твоего трехлетия и преставился. Ты ведь совсем не помнишь его. Он очень тебя любил. Он всех нас очень любил.

Элиза хотела возразить, что отца она как раз смутно, но помнит, но мать жалобно протянула:

— Наверное, судьба у меня такая: лишаться любимых мужчин. Мужа потеряла, отца

похоронила. А брат... — Она низко склонила голову, прикрыла глаза и с горечью произнесла: — Лучше бы выбрали его, а не меня!

Элиза обмерла — мать снова упомянула своего брата! Нужно было промолчать, чтобы дать ей возможность выговориться, но тишина затянулась, и она, не сдержавшись, решила поторопить ее:

— Может, хотя бы сейчас расскажешь?

Мать встрепенулась, хлопнула себя по коленям, поднялась:

— Я же воду собиралась поставить, чтоб белье замочить! Заговорила с тобой, запомновала!

— А что с братом-то? — сделала слабую попытку вернуть ее к разговору Элиза, но ее сразу же одернули:

— Не заставляй вспоминать то, что делает мне больно!

И мать принялась, излишне суетясь, разводить в печи огонь, гремя поленьями и нарочито громко хлопая железной заслонкой. Заворачивая в газетный обрывок мелкую щепу для растопки, она с таким рвением примяла бумагу, что та разлетелась в клочья. Пришлось схватиться за веник, чтобы подмести.

— Ты бы о себе хоть что-нибудь рассказала, а то все меня расспросами изводишь, — с претензией бросила она через плечо, — как Тигран? Как старики? Свекровь не обижает?

— Не беспокойся, все у меня хорошо.

Пока мать топила печь и ставила разогреваться воду, Элиза, не обращая внимания на ее протесты, перестелила постель и заменила использованные полотенца на чистые. Вывернула и вытряхнула подо-

деяльники и наволочки, тщательно прочистив от перьев и шерстяных комков, неизменно скапливающихся в уголках белья. Разбавила мыльный раствор, который, по рецепту знахарки Пируз, настаивали на корне мыльнянки, густо его вспенила. Наконец ее оттеснили, кивнув на торчащий живот и строго велев вести себя подобающе своему положению. Элиза поцеловала мать во впалый висок, с нежной грустью отметив бумажную прозрачность и беспомощность стремительно стареющей кожи. Засобиравлась домой, обещав заглянуть на завтра.

— Ты смотри, будешь ко мне часто приходить — разговоры пойдут, — предостерегла ее мать.

— Какие разговоры?

— Люди решат, что тебе плохо в доме мужа, вот ты и ходишь ко мне жаловаться!

Элиза подумала, что, если бы мать не завела разговор о своем брате, она бы, наверное, открыла бы душу и рассказала о том, что ее мучило. Но благоприятный момент был упущен, а другого, скорее всего, не случится. Что поделаешь, значит, так тому и суждено было быть.

Возвращаться можно было двумя путями: длинным, через главную улицу, или же коротким, петляющим темными задворками. Элиза выбрала длинный. На полдороге под ложечкой неприятно засосало, она пошарила по карманам жакета и нескazanно обрадовалась, обнаружив горсть сушеного кизила. Свекровь шутила, что за последние месяцы невестка изничтожила целый мешок сушеного кизила, и почти не преувеличивала — на

протяжении беременности Элизе постоянно хотелось кислого. Вот и сейчас, мысленно похвалив себя за предусмотрительность, она стала жадно есть кизил, постанывая от наслаждения. Темнота наступала стремительно и нахраписто, дышала в лицо морозным, наливалась чернотой, неохотно отступая там, где мерцали слабым светом редкие уличные фонари. Стало резко холодать, Элиза ускорила шаг и попыталась обхватить себя крестнакрест руками, с улыбкой отметив, что сделать это толком не может — не позволяет живот. До родов остался неполный месяц, ребенок, по расчетам, должен был появиться за две недели до Нового года. Она ждала его со страхом, поскольку наслышана была всякого о родах, но в первую очередь — со счастливым нетерпением, потому что не сомневалась, что спасение свое обретет именно в материнстве.

Дорога пролежала мимо бывших особняков несчастного князя Маиляна. Элиза еще издали заметила одинокий свет в окне второго этажа. Сердце нехорошо сжалось — в одном из этих кабинетов работала Шушан. Резко свернув с тротуара, она нырнула в заброшенный сквер. Прошла его насквозь, приобнимая себя за живот и краем сознания отмечая неприятное ощущение покалывания в левой ладони — это косточки кизила впивались в руку, которую она в волнении крепко сжала в кулак. Дойдя до служебного входа, она на секунду замерла, лихорадочно соображая, как быть дальше, а потом решительно потянула на себя дверь. В лицо дохнуло прокуренным запахом стылого лестничного пролета. Элиза направилась наверх,

держась за стену и нашаривая в темноте ступени. Стояла могильная тишина. Над лестничным пролетом второго этажа мерцала одинокая пыльная лампочка. Стараясь не шуметь, Элиза пошла по узкому коридору, замирая возле каждой комнаты, хотя надобности в этом не было — единственный не пустующий кабинет легко обнаруживался по слабому лучу света, пробивающемуся из-под неплотно прикрытой двери. Элиза остановилась, задержала дыхание, прислушалась. Ничего не слышав, легонько толкнула дверь, раскрывая ее ровно настолько, чтобы подсмотреть краем глаза происходящее внутри, но присутствия своего не выдавать. Она сразу же увидела отставленный в угол обшарпанный стул, со спинки которого свисал тонкий свитер в синюю и голубую полоску. Именно его Тигран сегодня надел, уезжая на поле, а на резонное замечание матери, что негоже одежду на выход в колхозе изводить, объяснил, что приедет городское начальство и нужно выглядеть представительно. На полу, истертым задником к входу, валялся выпачканный глиной и землей сапог, чуть поодаль лежали скомканные брюки. Приподняв створку двери за ручку — чтобы не скрипнула, Элиза раскрыла ее шире и заглянула в кабинет. Увиденное не причинило ей того страдания, которого она ожидала. Раньше, воображая подобную сцену, она не сомневалась, что не в силах будет ее пережить. Теперь же, наблюдая за своим мужем и чужой женщиной, она ощутила не боль, а необъяснимую легкость. Ей даже почудилось, что она воспарила над собой и повисла под потолком, наблюдая за происходящим не сбоку, а свысока.

Зрение стало объемным и сосредоточенным, оно одновременно отмечало огромное множество деталей, закрепляя их в памяти: капельки влаги на лбу Шушан, ее красивое запрокинутое лицо, родинку на предплечье и тонкую голубоватую вену, тянувшуюся вдоль стройного бедра; мускулистую, идеально слеplенную спину Тиграна, обросшие жестким волосом подмышки, остро пахнущие потом и молодым сильным телом; сбившееся под ними роскошное, цвета спелого абрикоса, покрывало — Элиза догадалась, что Шушан принесла его из дома и хранила в книжном шкафу, подальше от чужих глаз, сунув за толстые тома на верхней полке, до которой не дотянулась бы низкорослая уборщица... Она отметила пыльный рулон карты, торчащий из узкого зазора между спинкой шкафа и стеной, куртку Тиграна, наброшенную на печатную машинку, разлетевшиеся по полу листы исписанной бумаги. Под плотно придвинутым к подоконнику креслом лежал мятый мячик для игры в пинг-понг: видимо, кто-то из сыновей Шушан забегал на днях и, выронив его, поленился вытащить. Зрение работало ясно и яростно, не подчиняясь сознанию, а совсем наоборот — вовлекая его в бешеный поток наблюдений и умозаключений, и Элизе ничего не оставалось, как безропотно ему подчиняться. Сил противостоять происходящему у нее не было, взять их было неоткуда.

Преодолев наконец оцепенение, она попятилась, бесшумно потянув к себе дверь. Затворять ее не стала, вовремя вспомнив, что та была неплотно прикрыта. Это Тигран, подумала она, он не захлопнул ее, потому что спешил к своей возлюбленной.

Пока он нетерпеливо раздевался, комкая и раскидывая одежду, Шушан вытащила из книжного шкафа роскошное мягкое покрывало и расстелила его на хоженном полу — ей не жалко было хорошего, ни своего ни чужого, она, в отличие от Элизы, не пахла телятником и умела жить так, как считала нужным, и потому, наверное, всегда получала все, чего хотела... Как можно было противостоять такой женщине, как можно было ее победить?! Бежать, бежать от нее без оглядки, не останавливаясь, не оглядываясь, не думая ни о чем. Дальше, как можно дальше!

И Элиза побежала, тяжело топая по скрипучим половицам, не считаясь с тем, что ее могут услышать. Одинокая лампочка, несколько раз мигнув, погасла и погрузила лестничный пролет в беспроглядную темень. Элиза потянулась к перилам, бездумно разжав пальцы, которые до сих пор крепко стискивала в кулак. Высыпавшись, кизилловые косточки покатались вниз по ступенькам с тихим, но явственным стуком. Она не удивилась тому, что отчетливо видит их в крошечной темноте, и побежала за ними, поддерживая себя обеими руками под животом. Через секунду над головой громко забегали — это привлеченный шумом Тигран метнулся за ней, но она уже была далеко, и ее было не догнать.

Выскочив из сквера, Элиза, чтобы не привлекать ненужного внимания, пошла размеренным шагом в противоположном от дома направлении. Промозглый ночной воздух моментально ее отрезвил. Необходимо было остаться с собой наедине, чтобы справиться с болью, которая наваливалась

на нее с той же стремительностью, с какой ее покидали силы. Она почти сразу выдохлась, потому вынуждена была идти медленнее, стараясь беречь себя. Тело наливалось свинцом, поясницу ломило, низ живота сводила неприятная судорога, веки слипались, и Элиза, испугавшись, что может уснуть прямо на ходу, похлопала себя по щекам, чтобы отогнать полусонное состояние.

В часовне ничего не изменилось — все тем же скорбным строем подпирали стены каменные хачкары, темнели низкие проходы, а из-под купола, разделяя пополам гулкое пространство, падал косой лунный луч. В изножье хачкара с мучеником стояла керосиновая лампа, освещаая его слабым сиянием. Элиза не удивилась ей, она даже не заметила ее. Подойдя к хачкару, опустилась на колени, неосторожно коснувшись раскаленного стекла лампы, но ожога не ощутила. Было так больно, что казалось — сейчас ее вытошнит ребенком. Она прислонилась лбом к стылому камню и, приняв с благодарностью его холодное касание, попыталась разрыдаться, чтобы облегчить свое состояние. Не сумев этого сделать, она завывала — тягучим, страшным, ранящим глотку воем. Когда ее плеча коснулась чужая рука, она не сразу это осознала, потому что яростно стенала, задыхаясь от горя. Наконец сообразив, что не одна, она вцепилась в эту спасительную руку обеими своими руками и, потянув к себе, зарылась в узкую продрогшую ладонь сухими глазами. И, исторгнув из себя страшный крик, который, застряв в горле, не давал ей продохнуть, она наконец разрыдалась, протяжно и надрывно, ощущая, как заворошилась жгущим комом в самом низу живота боль.

— Элиза-джан, под ногами натекло. Ты описалась, Элиза-джан?! — раздался над ухом испуганный голос.

Элиза мигом его узнала. Она выпустила мокрую от слез ладонь своей молочной сестры и повалилась набок.

— Позови кого-нибудь, Вардануш-джан. Кажется, у меня воды отошли.

Зима наступила к концу декабря и сразу же развела бурливую деятельность: ударила сильными морозами, подула промозглыми ветрами, затянула в ледовые оковы ущелье, притушив настойчивый запах моря, а следом, притянув небо за шерстяной край и накинув его на черепичные крыши домов, завела долгую и заунывную снежную песнь. К середине января Берд засыпало мерзлой крупной почти по самые веранды, она ложилась рыхлым укутливym слоем, но к утру неизменно грузнела, неохотно поддаваясь уборке.

Элиза наблюдала снежное безумие в окно спальни. Она уже достаточно окрепла, чтобы передвигаться без помощи посторонних. Шов после операции иногда ныл, но почти не беспокоил. Размашистый и неаккуратный — резали наспех, чтобы спасти ребенка, он тянулся через весь живот, уродуя его. Обещанию доктора, что он потом расправится и станет почти незаметным, Элиза не верила. Впрочем, особо по этому поводу не переживала — изуродовали — и ладно.

Младенец уже окреп и стремительно набирал вес. Родился он совсем слабым, восьмимесячным,

и первое время врачи боялись за его жизнь. Элиза увидела его на десятый день после родов, когда ей разрешили вставать. Она роняла слезы, наблюдая за спящим своим мальчиком. Худенький, почти прозрачный, с низким, но широким лбом и остреньким, как у матери, подбородком, он лежал, сжав беспомощные крохотные кулачки, и горестно, совсем по-взрослому, вздыхал. Элизе отчаянно хотелось взять его на руки, но ей не разрешили, и тогда она взяла в ладонь его крохотную ступню и простояла так до той поры, пока нестерпимо не занял живот. Санитарка отвезла ее обратно на каталке, на которой развозили по палатам новорожденных, и, уложив в койку, шепнула, что никогда еще ее ребенок так долго не спал. «Видно, чувствовал, что мать рядом, и утешился». Элиза умоляла позволить ей перебраться в реанимационную палату, чтоб быть рядом с сыном, но ей этого не разрешили, сославшись на строгие правила. Она навещала его несколько раз на дню, сидела рядом, не сводя с него глаз, когда он спал, и агукая, когда он просыпался. Ревниво кормила из бутылочки чужим молоком — своего у нее не случилось.

Тигран к тому времени выписался из больницы и пытался ходить, неловко опираясь на костыли и поджимая закованную в гипс ногу. О том, что он ее сломал, Элиза узнала на второй день после родов. Рассказала ей об этом бледная от расстройства и недосыпа свекровь, единственная, кого пустили к ней в палату. И по тому, как она отводила глаза каждый раз, когда встречалась взглядом с невесткой, и, стараясь быть убедительной, придумывала множество ненужных деталей, описывая, как

Тигран свалился со стога, на который взобрался, чтобы укрепить жердями верхушку, Элиза догадалась: она выгораживает сына.

«Теперь вся семья знает, что он снова спутался с Шушан», — равнодушно подумала она. Расспросив про перелом и убедившись, что все обошлось без осложнений, она, чтобы не разыгрывать перед свекровью роль безутешной жены, сослалась на плохое самочувствие и попросила вызвать медсестру, чтобы та сделала ей обезболивающий укол.

После ухода свекрови, терпя сквозь стиснутые зубы тупую боль, она воссоздала картину случившегося: скорее всего, Тигран, наспех натянув брюки, погнался за ней, рухнул в темноте с лестницы, покатился вниз, ударяясь о торчащие ребра ступенек. Шушан заметалась, испуганная, попыталась помочь ему подняться, охая и причитая. Наконец, поняв, что это перелом, побежала вызывать карету скорой помощи. Элиза горько усмехнулась, сообразив, что ее, наверное, доставили в больницу на той же машине, на которой отвезли его.

Пролежать в тот злосчастный вечер на холодном полу часовни ей пришлось долго — убежавшая за помощью Вардануш, не догадавшись постучаться в первый попавшийся дом и вызвать скорую по телефону, сама добралась до больницы. Вернулась она оттуда на скорой, с дежурным врачом, которому не удалось уговорить ее уйти домой или хотя бы остаться в приемном отделении.

— А если ты не поедешь за ней? — уперлась Вардануш и полезла вперед водителя в машину. Времени на препирательства не было, потому врач махнул рукой — черт с тобой, поехали!

Каждый раз, выныривая из схваток, еще не частых, но уже невыносимо больных, Элиза неизменно видела склонившуюся над ней Вардануш, ее бледный высокий лоб, напуганные раскосые глаза, выбившиеся из пучка тонкие и легкие пряди волос, которые качались в такт движению машины и щекотали ей лицо.

— Элиза-джан, умираешь, да? Умираешь? — прыгая бесцветными губами, спрашивала она и, меняя тембр голоса, отвечала за нее: — Не-е-е-ет, не умираю, не-е-ет.

Родились они с разницей в несколько часов, одна в понедельник, другая — во вторник, но медсестра, заполнившая обменные карты девочек, перепутала даты и записала их на один день. Обе росли без отцов, и если Элиза хотя бы смутно помнила своего, то Вардануш никогда своего не видела. Внешне они были совсем не похожи (да и откуда было взяться сходству), но удивительным образом совпадали во многих качествах: добрые, отзывчивые, готовые прийти на помощь по первому зову, хозяйственные и обязательные до той степени, что, взявшись за уборку, не разгибали спины, пока не доводили дело до совершенства. Даже в склонности к обучению девочки оказались схожими — обе не могли похвастать хоть какими-то способностями. И если Элиза умудрилась с грехом пополам окончить восьмилетку, то недалекой Вардануш и того не удалось: она бросила школу в шестом классе и с тех пор помогала матери, работающей счетоводом в колхозе. Трезво оценив возможности дочери, мать забрала ее к себе, чтобы она, примелькавшись на глазах у начальства, потихоньку влилась в коллектив. Ее

расчет оказался верным — к тому времени, когда Элиза устроилась уборщицей в телятник, Вардануш уже была незаменимым человеком в конторе и на нее с облегчением спихивали всякие поручения, которые она с большим удовольствием и охотой выполняла. Ее любили и жалели, но одновременно сторонились — откровенно инфантильное создание, она раздражала своим неуместным любопытством и навязчивостью. Едва заметное в детстве косоглазие с возрастом усилилось, и за спиной, когда не слышала мать, люди иногда звали ее косой. Со временем прозвище укрепилось за ней, превратив бедную маленькую Вардо в Косую Вардануш. Однако не было в том обращении ни желания уязвить, ни обидного высокомерия, лишь только бесхитростное и прямолинейное деревенское утверждение неопровержимого факта. Элиза иногда задумывалась над тем, почему между недалекостью и физическим недостатком Вардануш люди выбрали второе, ведь, по идее, проще и легче было обозвать Вардануш дурочкой, — и не находила ответа.

В тот день, взглядываясь во взволнованное лицо Вардануш, она со стыдом вспомнила, как жаловалась в часовне на нее и на ее мать, женщину, вскормившую ее. Из-за схваток сознание путалось, потому она, как ни силилась, не могла вспомнить причин своего неприязненного к ним отношения. Скрючившись от очередного приступа, она вцепилась в шею Вардануш, притянула ее к себе и зашептала ей в полуоткрытый беспомощно улыбающийся рот: «Напомни мне потом, чтобы я об этом подумала». «Хорошо», — ничуть не

удивившись, отозвалась Вардануш, и Элиза готова была поклясться, что она отлично знала, о чем ее просят.

К выписке она твердо решила развестись. Ее не пугали разговоры и сплетни, которые непременно случились бы после возвращения к матери. Но ее расстраивало горе, которое она причинила бы старикам. Поразмыслив, она нашла, казалось, разумный выход: объявлять о своем решении не станет до той поры, пока не поправится Тигран. Когда снимут гипс — она съедет. Как раз к тому времени на студенческие каникулы вернется золотка, и они вдвоем с братом возьмут на себя заботу о стариках.

Возвращалась Элиза в дом мужа с тяжелым сердцем. И все же она не смогла сдержать слез радости и умиления, когда, опираясь на плечо прасвекра (младенца, не дыша, несла, прижав к груди, прасвекровь), зашла в спальню, которую в ее отсутствие полностью переделали. Окна теперь украшали новые тяжелые гардины, надежно защищая спальную сторону от навязчивого дневного света, по оба края широкой кровати расположились красивые тумбочки, а на полу раскинулся роскошный ковер, который свекровь берегла как зеницу ока. Темно-синий драконовый ковер¹, сотканный бабушкой, был единственной памятью о ней, потому свекровь всю жизнь тряслась над ним. А вот для

¹ Здесь: старый армянский ковер с изображением драконов.

внука не пожалела. Но особенно растрогал Элизу детский уголок, который она намеревалась обставить сама, но не успела. Слева от новенькой кровати расположилось широкое и мягкое кресло со множеством подушек, на полу лежал белоснежный ворсистый коврик. Справа же стоял комод с вместительными ящичками, предназначенными для хранения вещей младенца. Уже беременной, Элиза как-то мечтательно протянула, изучая картинку в журнале, что хотела бы ребенку ровно такой уголок. Сказала и забыла, а свекровь со стариками запомнили и исполнили ее мечту.

Тигран ковылял за женой на костылях. Когда машина с Элизой и младенцем въехала во двор, он вышел на веранду и ждал их наверху. Накинуть куртку не успел, стоял в тонкой рубашке, стуча зубами от холода, и, вытянув шею, наблюдал, как родные суетятся возле дверцы, помогая охающей Элизе выбраться наружу. Встретившись с мужем взглядом, она поразилась тому, как он изменился: лицо его, утратив ровный южный загар, пожелтело и сильно осунулось, между бровями легла морщинка, цвет ярко-синих глаз потускнел, уйдя в водянистую серость. Он снова коротко остригся, чтобы не возиться с непокорными кудрями, и оброс жесткой бородкой. Элиза увернулась, когда он хотел поцеловать ее, и сунула младенца — на сына-то хоть посмотри! Тигран отогнул край кружевной накидки, с минуту вглядывался в крохотное сморщенное личико, перевел изумленные глаза на мать и беспомощно прошептал: «Странно, ничего не чувствую».

— А и не надо! — махнул рукой дед, подставляя плечо невестке и помогая ей войти в дом. —

Я тоже ничего не ощутил, когда увидел твоего отца. Мужик не сразу осознает значение ребенка. А вот когда осознае-е-ет!.. — Старик воздел указательный палец и назидательно им покачал. — Тогда он и превращается в истинного мужчину.

Ночью, когда свет везде погасили и по дому разлилась благодная тишина, Тигран нашел ладонь Элизы. Она попыталась отстраниться, но он не дал ей этого сделать. Задвигал ящичком прикроватной тумбочки, нашарил что-то, вложил ей в руку.

— Это была ты, — голос его, глухой и тусклый, оборвался, с усилием договорив фразу.

Она повертела в пальцах сухую кизилковую косточку, отозвалась эхом:

— Это была я.

Они пролежали в молчании, казалось, целую вечность. Ладонь его отяжелела и обмякла, и Элиза решила, что он уснул, но потом он снова заговорил, и по звучанию его голоса она поняла, что он плакал.

— Если ты, — медленно, стараясь не выдавать своего волнения, произнес он, — если ты простишь... я никогда... никогда больше...

Она высвободилась из-под его руки, зарылась носом в одеяло, прошептала — ломко и бесцветно:

— Не смогу.

За семь лет брака Элиза родила своему мужу двух сыновей. Мальчики пошли в отца — синеглазые и отчаянно кучерявые. От матери они унаследовали сердцевидный абрис лица и тонкокостное строение — Тигран, в отличие от них, с детства

был основательнее в фигуре. К тридцати годам он поднабрал веса, но дарованного природой ладного строения не растерял. Дети же получились хлипкими, словно на шарнирах, и удивительно гибкими — хоть в узел вяжи. Но, невзирая на некрепкое сложение, очень выносливыми и здоровыми. Первенца Элиза назвала Варданом — в честь своей спасительницы Вардануш. А младшему досталось имя, которое собирались дать старшему, — Карен. Мать, узнав об этом, так разволновалась, что пришлось ее отпаивать успокоительными каплями. В тот же день, нарядившись во все самое лучшее и накинув на плечи шаль, она сходила в часовню — поставить свечки за здоровье дочерей и их семей, а потом направилась на кладбище, чтобы поделиться со своими покойниками радостной вестью. Там, возле могилы родителей, ее и нашли. Умерла она от разрыва сердца, не дожив несколько дней до своего сорокасемилетия. Элиза узнала о случившемся поздно вечером. Она как раз выкупала младенца, запеленала и, накормив, уложила в кроватку. Весть о смерти матери она приняла стоически, но ночью забредила, и Тигран, разбуженный бессвязным лепетом жены, сразу же отвез ее в больницу. Температуру не могли сбить несколько дней, потому встревоженные врачи, невзирая на просьбы Элизы, на прощальную церемонию ее не пустили. Молоко от высокого жара перегорело, и кормить ребенка она больше не могла. Заглянувшая навестить ее Нина, прознав об этом, всплеснула руками: «Надо же, оба твоих мальчика повторяют твою же судьбу». «Это как?» — не сообразила Элиза. «Ты выросла

без материнского молока, и они тоже», — пояснила сестра.

— Надо же, — прохладно отозвалась Элиза. Все ее мысли занимала смерть матери.

— Как ты думаешь, — с трудом выталкивая застрявшие в горле слова, спросила она, — мама умерла потому, что я назвала сына именем ее брата?

— Какая же ты все-таки дурочка, — вздохнула Нина. Она подоткнула одеяло Элизы, провела по ее лбу ладонью, подергала, словно маленькую, за мочку уха. Повторила, скорчив умильную рожицу: — Какая ты все-таки у нас неисправимая дурочка!

Элиза с облегчением выдохнула. Это был первый разговор по душам, случившийся у сестер. Он немного притушил страх одиночества, с которым они сейчас, осознав неизлечимое свое сиротство, жили. Теперь они не сомневались, что случись с кем-нибудь беда — и другая обязательно будет рядом.

Элиза ушла от Тиграна, когда младшему сыну исполнилось два года. Разводу предшествовало несколько событий, каждое из которых по-своему его приближало. С того самого ночного разговора Элиза знала, что все старания сохранить отношения обречены на провал. Но не стала уходить, уступив просьбам мужа. Сторонний наблюдатель не сомневался, что у них образцовая семья: Тигран был вежлив и предупредителен, она — ласкова и заботлива, оба души не чаяли в детях и пеклись о стариках, оба работали добросовестно и много, создавая общее благосостояние. Но того чувства,

которое, прорастая сквозь сердца, связывает родственными узами людей на всю жизнь, у них так и не случилось. И если не познавшая настоящей любви Элиза воспринимала свою бесцветную жизнь со смирением, то для Тиграна подобное существование превратилось со временем в пытку. Слово свое он сдержал и сделал все, чтобы изжить любую возможность даже случайной встречи с Шушан. Но он отчаянно по ней скучал, подспудно перекадывая ответственность за копившуюся в душе тоску на жену и обвиняя ее в своем несчастье. Тигран так и не полюбил Элизу. В ней чуждо было все: манера есть, низко склонившись над тарелкой, то, как она прихлебывала чай, перекаывая во рту кусочек колотого сахара, как, садясь на стул, стыдливо натягивала на округлившиеся колени юбку, как наматывала на палец прядь волос и бездумно ее дергала. Ему не нравилось, как она отдавалась — безропотно и безучастно, обязательно притушив свет и плотно задвинув шторы, и как сразу же после, в едва проглядываемой темноте, натягивала ночнушку, стесняясь своей наготы. Он не любил ее тело — по-бабы расплывшееся, приземистое и скованное. Неподатливые губы, тяжелые груди, шрам, собирающий кожу живота в некрасивую складку. Терпеть не мог ее запах — сладковато-домашний, бесхитростный, простоватый. Несколько раз, не вытерпев, бросал ей обидные слова. Она испуганно отстранялась, извинялась. Он, зная ее чистоплотность, корил себя за несдержанность, но ничего не мог с собой поделать. Пропать между ними стремительно росла, отдаляя их друг от друга, и единственным, что держало их вместе, было

чувство долга: перед стариками, перед детьми, перед свекровью, полюбившей невестку словно родную и тяжелее остальных перенесшей ту постыдную историю.

Старики преставились в один год. Сначала умерла прасвекровь, а следом, едва дотянув до ее сороковин, — отчаянно скучающий и оплакивающий жену прасвекор. Выдержав положенный для траура срок, вышла замуж сестра Тиграна. Отношения с новой родней у нее не сложились, и скоро она перебралась с мужем в отчий дом.

А потом овдовела Шушан. Муж ее ушел от тяжелой болезни крови, сгорев буквально за пару месяцев. Элиза не стала дожидаться, когда у Тиграна возобновятся с ней отношения, и первая завела разговор о разводе. Заручившись его согласием, она собрала вещи и переехала с детьми в пустующий дом матери. Все в итоге сложилось хорошо: старики не застали развала семьи, внимание свекрови было переключено на дочь, тяжело переносившую беременность, а Тигран с чистой совестью смог воссоединиться с Шушан — теперь они оба были свободны. И лишь Элиза к своим двадцати пяти годам осталась одна, с двумя маленькими детьми на руках. Ее мало заботила женская неустроенность — она не знала об отношениях с мужчиной ничего такого, что заставило бы сожалеть о потерянном. Мыслей о новом замужестве она не допускала, и причиной тому был не столько собственный горький опыт, сколько ощущение абсолютной никчемности, которое она вынесла тяжелым уроком из отношений с Тиграном. Отныне смысл ее существования сводился к одному —

сделать все возможное, чтобы помочь подняться мальчикам. Зарабатывала она мало и, несмотря на помощь Тиграна, концы с концами сводила с трудом. И все же она делала все, чтобы помочь детям выбиться в люди. Она записала их в музыкальную школу и спортивную секцию по вольной борьбе, а потом отдала еще и в художественную школу. Мальчики, не в пример матери схватывавшие все на лету, отлично учились, играли на фортепиано и гитаре и прекрасно рисовали.

К тому времени, когда младший поступил в политехнический институт, старший уже оканчивал его с красным дипломом, и счастливая Элиза не упускала случая, чтобы похвастать детьми перед всяким, кто готов был ее выслушать. С годами круг желающих сильно сузился — не каждому под силу было внимать бесконечным рассказам о чужих образцовых детях, когда от собственных одно расстройство. Единственным пламенным слушателем, готовым искренне радоваться успехам сыновей Элизы, была Косая Вардануш. Она часто заглядывала в гости — будто бы на минуточку — и оставалась до поздней ночи, помогая по хозяйству, и, поддакивая впопад и невпопад, по сотому кругу восхищалась тому, как разработка, над которой вот уже два года ломает голову Вардан, вызвала интерес аж в Москве, а реферат, написанный Кареном, напечатали в научном журнале.

Элиза не замечала ни неуклюжих реплик Косой Вардануш, ни откровенного недоумения колхозных доярок, к которым она постоянно приставала с рассказами. Она жила успехом сыновей и только в нем видела оправдание своей женской несостоятельно-

сти. С годами она совсем себя распустила: непомерно растолстела, отрастила не дающий толком выпрямиться загривок, страдала от болей в локтях и коленях, из-за чего ходила чуть вразвалочку, расставив руки и шаркая ногами. Одежду она носила мешковатую: большие вязанные жакеты, просторные кофты и платья с широким подолом, которые, как она опрометчиво считала, скрывали ее полноту. Поседевшие волосы закалывала в пучок на затылке, косметикой не пользовалась, духами — тоже, но всегда носила в кармане надорванный пакетик ванили, веря, что он перебивает специфический запах ее тела. В том, что оно не очень приятно пахнет, она, вспоминая перекошенное лицо Тиграна, не сомневалась, потому старалась сохранять изрядное расстояние между собой и собеседником, а попытки его нарушить пресекала, объясняя это особенностью своего зрения. «Картинка расплывается, и я ничего не вижу», — виновато улыбалась она, выставив вперед руку. «Почему тогда не заведешь себе очки?» — удивлялись собеседники. «Да все никак до доктора не дойду!» — отмахивалась она и обещала обязательно на днях сходить. По той же причине она не посещала людных мест, и шумная провинциальная жизнь с ее умильной претензией на светскость протекала мимо нее. За двадцать лет Элиза не побывала ни на одной из первомайских демонстраций, на которые исправно сгоняли весь колхозный коллектив. Она не посещала кустарных спектаклей местного театра и проходила мимо бродячих цирковых трупп, которые изредка заезжали в Берд, чтобы, натянув над центральной площадью канаты, под уморительные

сценки, разыгранные клоунами, и пронзительный зов зурны, пускать высоко над землей акробатов. От походов на свадьбы и поминки она тоже воздерживалась, и даже школьные выпускные вечера своих сыновей пропустила, сославшись на недомогание. Мальчики, привычные к ее замкнутости, обижаться не стали — они давно смирились со странностями матери, списав их на особенности характера.

Единственное, в чем Элиза не могла себе отказать, — это походы в кинотеатр. Билет она честно покупала, но смотрела фильм не из зала, а через узкое окошко, расположенное в комнате кинOMEХаника, согласившегося пускать ее туда за пирожки с картошкой. И пока он, макая золотистый пирожок попеременно то в соль, то в молотый красный перец, нахваливал ее стряпню, она, затаив дыхание и раздражаясь на его бормотание, наблюдала за действием на экране. Один и тот же индийский фильм она могла пересматривать множество раз, искренне радуясь, когда герои были счастливы, и раздражаясь горькими слезами, когда их постигало несчастье. Иногда она брала с собой Косую Вардануш, и они, возвращаясь после фильма, жарко обсуждали увиденное. Приобняв подругу на прощание, Вардануш направлялась к своему дому, находящемуся на другом конце улицы. Элиза же уходила к себе лишь тогда, когда она исчезала за поворотом. Вардануш была единственным человеком, который мог прикоснуться к ней. Больше никому, даже своим сыновьям, она этого не позволяла.

О том, что мальчики надумали уехать за границу, Элиза узнала последней. Старший, Вардан, на первом курсе встречался с сирийской армянкой, приехавшей из Алеппо в тогда еще советскую Армению за медицинским образованием. В память о коротком и бестолковом романе у них остались прекрасные дружеские отношения. Отлично зная о мечте Вардана выбраться в Америку, та девушка предложила ему пожениться — это дало бы ему возможность выехать в Сирию. А оттуда он уже двинулся бы на Запад. Карен, прознав про планы старшего брата, попросился с ним. Найти ему фиктивную невесту не составило большого труда — в ереванских институтах училось немало ливанских и сирийских армян.

О решении сыновей Элизе рассказал Тигран: они сами его об этом попросили, боясь расстроить мать. «Ты подготовь ее, а мы на днях приедем и все объясним», — умолял отца Карен. Тигран передал Элизе слова младшего, копируя его интонации, и, разведя беспомощно руками, добавил уже от себя: что поделаешь, раз так решили...

У Элизы перехватило дыхание.

— То есть как это что поделаешь? В смысле они так решили? Ты что, не против?

— Да я уже полгода пытаюсь их отговорить, но они уперлись, ни в какую не хотят уступать, — сдал себя с потрохами Тигран и усугубил положение, опрометчиво добавив: — Ты не переживай, у Шушан в Америке дальние родственники живут, они обещали подсобить парням, помочь на первое время с работой...

— То есть ты об этом полгода как знаешь? И Шушан — тоже? То есть ей они сказали, а мне, родной матери, не стали? — У Элизы от обиды сорвался голос. Она отодвинула в сторону корзину с вязкой, к которой не притронулась с начала разговора, обняла себя крест-накрест руками, покачалась из стороны в сторону, горестно причитая.

Мысленно обругав себя болваном, Тигран потянулся к бывшей жене, чтобы погладить ее по плечу, но она привычно отпрянула и замотала головой — не нужно. Он окинул жалостливым взглядом ее расплывшуюся фигуру, седые пряди волос, перевел глаза на свои искореженные тяжелым деревенским трудом руки, раздраженно стукнул себя по коленям:

— Сложить наши с тобой прожитые годы — получится возраст старика. А теперь посмотри на нас: мы сами выглядим почти стариками. Чего за всю свою жизнь мы добились? Ты все так же надрываешься в телятнике, а я горбачусь с бригадой на поле. Ни разу на море не съездил, даже на машину не смог накопить. А в Америке, говорят, жизнь лучше. Вдруг наши дети там выйдутся в люди, разбогатеют? Разве они этого не достойны? Скажи, если я не прав!

— А вдруг с ними там беда случится? Вдруг они погибнут? — запрыгала губами Элиза.

Он пожал плечами.

— Погибнуть они и здесь могут. Вон, у соседки твоей Арусяк младшего сына в Афганистане убили. Я тебе так скажу: что на лбу у человека написано, то и случится, и не имеет значения, куда именно его судьба занесет.

Элиза горько разрыдалась.

— Что я... буду делать... — с обидой в голосе выговорила она, — как мне... без них... жить?

Тигран нахмурился, вытащил из кармана сигареты, закурил. Хотел возразить, что сердце не только у нее болит, но вовремя спохватился. Ей, конечно, тяжелей — с переездом мальчиков она останется совсем одна.

Выправилась Элиза только к весне. Отъезд сыновей надломил ее и подорвал здоровье. Она долго и выматывающе болела, а потом еще нудно восстанавливалась. Выйдя после трехмесячного отсутствия на работу, огорошила всех своим исхудалым и жалким видом. Одежда теперь висела на ней мешком, лицо покрылось мелкой сеточкой морщин, волосы вконец поседели, а некогда живой взгляд карих глаз померк и обернулся куда-то внутрь. Если раньше она донимала доярок пространными рассказами о сыновьях, то теперь почти всегда молчала. Завела странную привычку беззвучно шевелить губами. Первое время люди умолкали и напрягали слух, пытаясь разобрать ее слова, но потом поняли, что она ведет нескончаемый внутренний монолог. Лишенная единственного смысла жизни — возможности заботиться о сыновьях, она потеряла интерес к происходящему вокруг и полностью сконцентрировалась на своих переживаниях. Редкие письма, которые передавали через приезжающих студентов ее мальчики, она с первого раза запоминала наизусть и многожды прокручивала в памяти, шепотом комментируя

каждое слово. Так теперь и жила — от одной весточки до другой.

Изменилась она не только внешне, но и в быту. Готовить почти перестала. Если раньше любила поесть со вкусом и обильно, то теперь обходилась самым малым: хлеб, овощи, яйца, изредка — отварная курятина. В кинотеатр ходить она бросила, довольствуясь фильмами, которые показывали по телевизору. Расстраивалась, что в программе передач нет индийского кино, однажды даже написала в редакцию Центрального канала письмо с претензией, но, застыдившись своего неумелого почерка и ошибок, которые, безусловно, допустила, отправлять его не стала. К сестрам она заглядывала крайне редко. Разузнав все новости и промаявшись, с облегчением уходила. Иногда созванивалась с бывшей свекровью, выслушивала ее жалобы на здоровье, сочувственно ахая и односложно поддакивая. По воскресеньям выбиралась на пару с Косой Вардануш на кладбище. Дважды в неделю заглядывала в часовню. Время выбирала позднее, чтоб никого там не застать. Обязательно зажигала свечу под хачкаром с Иисусом, которого по детской привычке так и называла мучеником. Если на душе было совсем мутно — а такое случалось, когда от сыновей долго не было известий, она плакалась, как умела — тянула жалобную песнь, выхватывая слова наугад и не утруждая себя тем, чтобы собрать их в связную историю. Она выпевала одиночество, выплескивала его, словно мутную жижу. Странные, ни на что не похожие напевы вели ее прочь от отчаяния, утешали и исцеляли.

В часовне однажды и застал ее Симон.

Потом, когда она выпрашивала, по какой причине его занесло в столь позднее время туда, он толком не смог ей объяснить. Рассказывал, что возвращался от племянника, у которого загостился допоздна, дошел до развилки, собирался уже повернуть к своему дому, но ноги понесли в противоположную сторону. Шел с нарастающим чувством тревоги, осознавая, что если не успеет, то случится что-то непоправимое. Последнюю часть пути и вовсе пробежал, подгоняемый приступом страха, сродни тому, который накатывал на него в детстве, когда он оказывался за несколько шагов до порога дома. «Будто бы злой дух за мной гнался, — рассказывал он, — и нужно было захлопнуть за собой дверь до того, как он схватит меня когтями».

— Так, может, я и есть тот дух, — смеялась Элиза.

В тот вечер, еще издали расслышав чье-то пение, Симон хотел было уйти, чтоб не ставить никого в неудобное положение, но любопытство взяло верх. Он проскользнул в часовню, разглядел в слабом лунном свете женский силуэт, который, прижав к груди руки и чуть наклонив голову, тянул нескончаемо долгий мотив, нанизывая на него, словно бусины на нить, слова.

— Твои руки, — пела женщина, срываясь с высокого, отдающегося звоном в ушах тона на хрипло-низкий, — я рисую твои руки... и я вижу прозрачную твою тень над детской кроваткой...

Голос ее, проникновенный и как будто осязаемый — казалось, если податься вперед, можно его коснуться, — затопил часовню от края до края. Мгновенно проникнув в сердце Симона, он подла-

дился под его ритм, разнесся по всему телу, затеплился во всех его уголках, грея и исцеляя.

Изумление было столь велико, что Симон бесцеремонно прокрался к женщине и, взяв ее за локоть, попытался развернуть к себе, чтобы рассмотреть лицо. Она, вскрикнув от испуга, попятилась, запнулась о неровный пол, упала — не больно, но обидно, не смогла подняться, запутавшись в широком подоле платья. Он шагнул к ней и протянул руку, чтобы помочь подняться. И сразу же ее узнал. Изумившись, глупо спросил:

— Элиза, это ты пела?

— Нет, — огрызнулась она.

— А кто? — вопрос прозвучал раньше, чем Симон успел прикусить язык. Досадуя, что выставил себя дураком, он нахмурился, к счастью, она этого не видела — проигнорировав его протянутую руку, поднялась и теперь отряхивала платье.

— Сама бы хотела знать, — выпрямившись, ответила она и, давая понять, что разговор окончен, направилась к выходу. Он загасил тлеющий в лужице горячего воска фитиль, обжегся, чертыхнулся. Заторопился за ней, на ходу снимая с пальцев быстро стынущую восковую пленку.

— Элиза!

Она остановилась, но оборачиваться не стала, только бросила через плечо:

— Ты бы держался от меня подальше. Разговоры пойдут, о тебе, сам знаешь, какая слава идет, а людей наших хлебом не корми, дай только напраслину возвести.

Симон замедлил шаг, потом и вовсе остановился. Крикнул ей в удаляющуюся спину:

— Ты хоть скажи, чего пела!

Она развела руками:

— Да если бы я знала!

Судьба однажды уже сводила Элизу с Симоном, репетируя и делая зарубку на памяти, чтобы потом обязательно вернуться, но они об этом не догадывались. Симон давно выкинул из головы историю, когда, будучи школьником, пихнул в бок щуплую гластую девочку и, перепугавшись, что она резко побледнела, рывком поднял ее с пола и легонько толкнул в спину — иди. Элиза отлично помнила ту историю, и свою жгучую обиду, и то, как, отдышавшись, попыталась пнуть вредного старшеклассника в ногу, а он, проворно отскочив, расхохотался, обнажив ровный ряд белых зубов. Она помнила все — и задранный подол своего платья, и обод широкой резинки, под который был заправлен хлопковый чулок, и сковавший в одно мгновение душу страх, что увидят и засмеют... Единственное, чего она не знала, — что тем мальчиком был Симон.

Ничего о женском счастье Элиза не знала. И если бы кто-нибудь напророчил, что к сорока пяти годам она его заполучит, она бы, скорее всего, не поверила. Нового от судьбы она не ждала и не просила. Единственной ее мечте — увидеться со своими мальчиками, по которым она отчаянно скучала, суждено было скоро сбыться. Времена, слава богу, настали другие, огромная советская империя разваливалась, отпирая запертые на замок границы, и мысль о том, что скоро ей удастся погостить у

перебравшихся в Америку сыновей, грела ей душу. Она не думала о любви, не просила о ней и не ждала. Она не подозревала, что и ей — рано поседевшей, нелюдимою, неуверенной — когда-нибудь выпадет такое счастье.

Симон учился с Тиграном в одном классе, не сказать что дружил, но приятельствовал. В подробности его личной жизни он не вникал, прознав о разводе, выразил дежурное сочувствие, не потрудившись придать своему лицу подобающее выражение, еще и подлил масла в огонь, добавив, что догадывался, чем все кончится, потому что женщин, подобных Шушан, не забывают. Несколько раз он бывал у Тиграна в гостях, и все, что запомнил об Элизе, — ее неприметность и услужливость. Бесшумно двигаясь, она в два счета накрывала стол и, пожелав приятного аппетита, уходила в свою комнату, сославшись на занятость. В ее поведении не было ничего необычного — любая провинциальная хозяйка вела себя ровно так, потому что с молодых ногтей знала: хороша та жена, которая вкусно накормит и вовремя скроется, чтобы не мозолить своему мужу глаза. Однако Элиза умудрялась даже на фоне всеобщей бесцветности оставлять о себе совершенно невнятное впечатление: маловыразительная, неразговорчивая, ничем не примечательная, не уродина, не красавица. Никакая! Симон никогда бы не обратил на нее внимания, если бы случайно не услышал ее пения. Услышав же — растерялся. К музыке он всегда относился несколько свысока, не придавая ей особого значения и не догадываясь о том воздействии, которое она имеет на человеческое сознание. Голос

же Элизы перевернул его мир с ног на голову. Он впервые осознал сиюминутность и суетливую ничтожность своего существования. Впервые ощутил себя не просто смертным, а совершенно бесполезным. Потрясение было столь велико, что он проворочался в постели всю ночь, мешая спать жене, а под утро, обиженный ее недовольным бурчанием, накинул куртку и вышел на веранду, где и встретил рассвет. Когда апрельское солнце выкатилось из-за плеча Восточного холма, ознаменовывая наступление нового дня, Симон уже знал — просто так он Элизу не отпустит.

Она же упорно отмахивалась от его знаков внимания, отказывалась от предложенной помощи и даже не забрала охапку полевых цветов, которую он оставил для нее в часовне, в изножье хачкара со Спасителем. Симон, однако, не сдавался. Он купил билеты в кино, передал ее билет в конверте, сделав пометку, чтобы она обязательно пришла. Обнаружив на соседнем сиденье Косую Вардануш, он даже восхитился упрямством Элизы, и на следующий день снова приобрел билеты, гадая, кого теперь она к нему подойдет. Однако сиденье пустовало весь сеанс, и он ушел из кинотеатра не только раздосадованный, но и еще более распаленный:

— В кошки-мышки решила поиграть? Ладно!

Симон даже не догадывался, до чего далека от игр Элиза. Она жила от одного письма сыновей к другому и ни о чем больше не хотела знать. Решительно отменяя знаки внимания назойливого ухажера, она не понимала, зачем это ему нужно, и надеялась, что вскорости ему надоест ухлестывать за ней. Неискушенная в искусстве соблазнения,

она даже не думала, что своей неуступчивостью раззадоривает его еще больше. И искренне расстраивалась, обнаруживая очередной знак внимания: оставленную на веранде баночку с земляникой, коробку со сладостями или же кулечек с шоколадными ирисками. Недолго думая, она выносила подношения за калитку и оставляла на обочине дороги. Соседская детвора, смекнув, что у нее иногда можно поживиться вкусеньким, несколько раз на дню патрулировала окрестности ее двора.

Оборона длилась целый месяц и все-таки закончилась победой Симона. Однажды, поднявшись ни свет ни заря, Элиза вышла на веранду, на ходу натягивая на ночную рубашку халат, — и чуть не налетела на своего упрямого ухажера. Заметив коробочку индийского чая, которую он оставил на пороге, она всучила ее ему с гневной отповедью: «Неси жене и забудь к моему дому дорогу!»

Он ничего не ответил, но резко привлек ее к себе — она от неожиданности оцепенела и не успела отстраниться, а он, воспользовавшись ее замешательством, крепко ее обнял.

— Ты пахнешь медом, — прогудел, зарывшись носом ей в волосы.

— Чем? — переспросила она.

— Медом. Пчелиным, — зачем-то уточнил он и, раздосадованный на себя — можно подумать, бывает какой-то другой мед, выпалил: — Как это тебе удастся каждый раз выставлять меня дураком?

Она подняла на него свои карие лучистые глаза.

— Чем, ты говоришь, я пахну?

И по тому, как дрогнул ее голос и побледнели губы, он понял, что попал в больное место.

— Медом, — повторил он. — Цветочным.



К осени Элизу было не узнать. Она резко похудела и сменила гардероб, раз и навсегда распрощавшись с балахонистыми платьями и объемными вязаными жакетами. Коротко постриглась, обнаружив идеальную форму головы и тонкую линию красивой шеи. Научилась накладывать макияж: немного тона и пудры, тушь, помада.

Теперь она знала о женском счастье все. Теперь умела, подобно сороке-белобоке, раздающей в детской пальчиковой игре птенцам кашку, распределить охочее до любви свое сердце между сыновьями и Симоном, найдя там место для каждого. Если раньше она не знала о мужчинах ничего такого, что заставило бы ее сожалеть об их отсутствии в своей жизни, то теперь могла назвать множество причин, наполняющих ее душу радостью. Элиза не собиралась уводить Симона из семьи и даже мысли о том не допускала: прожив несколько мучительных лет с неверным Тиграном, она и не думала причинять такую же боль другой женщине. Но подобно тому, как в детстве выкрадывала из узелка с припасами, предназначенными для сестер, свою долю, она выкраивала из чужой жизни лоскутки счастья для

себя. «Недолго, — напоминала она себе каждый раз, выпроваживая Симона, — еще немного — и все!» Времени на отношения с ним она определила себе до декабря. Летом пришло приглашение от сыновей, билеты в Бостон были куплены на 5 декабря, и Новый год она планировала встретить там. За семь лет разлуки в жизни мальчиков произошли большие перемены. Старший успел жениться на местной армянке и обзавестись домом, младший с браком пока не спешил, но жил с китайской девушкой на съемной квартире. Элиза, разволновавшись от такого обстоятельства — шутка ли, не армянка! — долго разглядывала ее на фотографии и наконец с облегчением выдохнула, отметив красивый миндалевидный разрез глаз и сердцевидный, ровно как у нее, овал лица. Повторив по слогам несколько раз ее имя «Мэй-ли, Мэй-ли», она решительно вынесла вердикт:

— Внук, стало быть, будет наполовину китайцем.

— Погоди строить планы, может, они и не поженятся! — возразил Симон.

— Поженятся, иначе Карен не стал бы высылать ее фотографию. Поженятся и мальчика родят.

— Откуда знаешь, что мальчика?

— Сердцем чую.

— Тогда пусть его Брюс Ли назовут!

Заподозрив подвох, Элиза решила обидеться, но на всякий случай сначала поинтересовалась, что это за птица такая — Брюсли. А прознав — благосклонно согласилась, заключив: у этих китайцев, видимо, все имена заканчиваются на -ли: Мэйли, Брюсли.

Симон аж слюной подавился, так смеялся.

Она многому у него научилась. Быть собой. Не бояться ничего. Отдаваться и любить. Не стесняться своего тела, а принимать и ценить его со всеми возрастными изменениями, с которыми с трудом мирится любая женщина. Он целовал ее в белесый двойной шрам на животе, а она мягко отводила его лицо и поясняла, будто бы извиняясь: два шва, два мальчика. Он любил ее запах — сладковатый, легкий, ненавязчивый, зарывался носом ей в подмышки и в ямочку на шее, дышал, щекоча своим дыханием. Она смеялась, но не отстранялась.

«Я пью тебя», — говорил он.

Иногда, уступив его просьбам, она пела — робея, вполголоса, чуть ли не шепотом, чуть ли не в себя. Он просил, чтобы именно так, как в часовне, и она соглашалась, каждый раз искренне удивляясь, что может ему нравиться в ее странном исполнении, а он не мог ей этого объяснить, потому просто слушал и долго потом молчал — отходил.

Я бы хотел, чтобы ты меня родила, как-то, в минуту пронзительной близости, шепнул он, и она, верно истолковав его слова, ответила с бесконечной нежностью — я бы хотела, чтоб тебя родила.

Однажды, набравшись смелости, она рассказала о себе все: об отце, которого не знала, о матери, умершей, так и не открыв тайны своей жизни, о Шушан, которую ненавидела и побаивалась, а теперь, наконец, поняла и простила, о бывшем муже, утверждавшем, что она плохо пахнет, и она всю жизнь вынуждена была мыться по два раза в день и боялась к кому-нибудь прикоснуться... Он выслушал ее не перебивая, долго обнимал, никого не

упрекнул — и она это оценила, потому что рассказала ему не для сочувствия, а чтобы выговориться и отвести душу.

— Двоюродная бабушка до сих пор жива? — наконец спросил он.

Она, сбитая с толку его неожиданным вопросом, осторожно кивнула.

— Ты бы ее спросила. Она уж точно знает, что было у матери в детстве, — мягко подсказал он.

— Она с отцовской стороны.

— Не имеет значения. Спроси.

Элиза, раздосадованная тем, что сама не додумалась до этого, обещала разузнать, но поездку к бабушке откладывала. Ей невыносимо было покидать Берд, казалось, если уедет — разорвет пуповину, которая связывала ее с Симоном.

Она любила долго и подробно рассматривать его руки, отмечая форму ногтей и изгибы пальцев. Все хотела их нарисовать, но не решалась, боясь обидеть память отца. Лежала рядом, головой на его плече, складывала руки лодочкой, и он накрывал их своей.

— Вроде у тебя ладонь не такая широкая, но прикрываешь и греешь обе мои руки, — улыбалась она.

— Это мое сердце, — отвечал он.

Расставание далось им с большой болью и причинило обоим невыносимые страдания. Симон, к тому времени справивший пятидесятитрехлетие, не думал, что ему удастся серьезно увлечься кем-то еще. Элиза стала самой нежданной и трогательной его любовью. Она вошла в его жизнь негаданным гостем, пробыла там недолго — и ушла, оставив о себе

воспоминания, гревшие душу до конца его дней. Он не мог смириться с тем, что не сможет ее больше обнять. Просил оставить крохотную надежду — вдруг ты передумаешь и, вернувшись из Америки... Она качала головой — для тебя я останусь там навсегда.

На прощание он подарил ей духи, думал, что французские, но они оказались подпольного разлива — обманул перекупщик. Сладковато-приторные, приставучие, они совсем ей не подходили. Однако, когда тоска по нему становилась нестерпимой, она ими душилась. Аромат был насыщенный, цветочный, но быстро выветривался, не оставляя и следа.

Элиза выбралась к двоюродной бабушке за неделю до вылета в Америку. Одна ехать не решилась и упростила Косую Вардануш составить ей компанию. Автобусные билеты приобрела на самый ранний рейс, чтобы возвращаться не совсем затемно. Собрала в узелок хорошей одежды, которую уже не носила, купила конфет и халвы, запекла мясо. На горном серпантине ее замутило, но Вардануш увлекла разговором, и тошнота прошла.

Двоюродной бабушке к тому времени перевалило далеко за восемьдесят. Она подослепла, давно не ходила, но умудрилась не растратить живости ума и памяти, потому сразу же узнала Элизу, с которой лет семь как не виделась. Не дав ей рта раскрыть, поинтересовалась, с кем это она приехала, уж точно не с сестрой, Нину с Мариам она бы обязательно узнала, и сама же за нее ответила — верно, это твоя соседка.

— Соседка, — не стала разубеждать ее Элиза.

Распросив о здоровье и добросовестно ответив на все вопросы старушки, она собралась было перейти к делу, но не знала, как к нему подступиться. Молчание тянулось, казалось, бесконечность. Во дворе заливисто залаяла собака, цесарки отозвались возмущенным клекотом, сквозняк качнул створку окна, поймав в стекло солнечный луч, по дороге, цепляя боком забор и скрипя колесами, проехала телега — Элиза вытянула шею, но смогла разглядеть лишь длинные рога вола и вязанки хвороста, которыми была нагружена телега. Кстати вспомнив о том, что у волов рога начинают сильно расти именно после кастрации, она в который раз подивилась странной способности своей памяти подсовывать под руку всякий ненужный хлам, уводя мысль в сторону.

Бабушка терпеливо ждала, не перебивая ее молчания. Наконец Элиза решилась.

— Бабо, я вот по какому вопросу приехала. О маме хотела спросить, вдруг ты знаешь. Как ее брат умер? — И, забоявшись, что ее заподозрят в праздном любопытстве, она поспешно добавила: — Мама всю жизнь о нем страдала, будто бы не могла простить себе чего-то.

Старушка несколько секунд изучала ее своими выцветшими глазами. Хмыкнула. Спросила с укором:

— Зачем тебе знать то, о чем она не захотела рассказать?

Элиза прислушалась к себе. На сердце после расставания с Симоном было гулко и неприкаянно. Единственное, чего ей сейчас хотелось, — обнять

его, зарыться лицом в его ладони, ощутить горький, навсегда въевшийся в кожу запах табака. Она судорожно вздохнула, моргнула несколько раз, отгоняя набежавшие слезы.

— Мне кажется, от этого стало бы легче.

— Кому?

— Мне, — голос ее оборвался и притих.

Старушка пожевала губами, завозилась затылком на подушке, устраиваясь поудобней. Лицо ее — усталое, изборожденное морщинами — омрачилось тенью воспоминаний.

— Совсем не хочется об этом рассказывать. Но раз тебе нужно... Деда твоего на Первую мировую не взяли — падучая у него была. Уехал на заработки в Баку и пропал на целых четыре года — ни весточки от него, ни денег, потом только мы узнали, что влюбился в какую-то актрисочку и заработанное пускал на нее. Когда он уехал, твоей матери три годика стукнуло, а бабушка на сносях была. Родила мальчика, нищенствовала, еле концы с концами сводила, иногда даже побиралась возле часовни. Не помню, какой это именно был год, то ли двадцатый, то ли девятнадцатый, холод в январе стоял лютый, да и есть было нечего — лето выдалось совсем неурожайным... — старушка запнулась, тяжело вздохнула, погладила себя по груди, — очень трудно об этом рассказывать, дочка. Ладно, раз уж взялась... Доведенная до отчаяния, твоя бабушка, понимая, что двоих детей не вытянет, вынесла в промозглый сарай двухлетнего сына и заперла его там. Он плакал и просился домой, но потом притих. За ночь замерз насмерть.

— Почему она именно его выбрала? — спросила Элиза.

— В крестьянских семьях мальчиков ценили больше — вырастет, помогать по хозяйству станет, может, потом в люди выбьется, остальным подсобит. А девочка — существо хлопотное: береги как зеницу ока, приданое собирай, замуж выдавай... Мальчик у твоей бабушки слабенький был, часто болел, вот она и выбрала его, потому что решила, что не жилец. Твоей матери, считай, просто повезло. Сколько ей тогда было? Пять-шесть лет? Большая была, все сама сообразила, а если и не сообразила — соседи небось потом рассказали, о таком люди вряд ли умолчат. Так и умер ее брат. А на следующий день в северные районы Армении пришли отступающие из Карса русские войска. Их расквартировали по домам, по два человека на семью. Они провели у нас зиму, пока ждали коридора от грузин, чтобы уйти в Россию. Без разрешения идти не имели права, потому что теперь они были иностранцами — царь-то отрекся, империя распалась, в Закавказье появились свои государства. Приход тех солдат стал для нас спасением: у них была какая-никакая еда, и они делились с нами. Помогали чем могли — мужиков-то совсем не осталось: кого турки зарезали, кто на войне poleg, а кто на заработки уехал в Тифлис или Баку. Так что на охоту или рыбалку сходить, дров нарубить, съездить в Казах — там железнодорожная станция, большой базар, денег можно хоть сколько-нибудь заработать, продуктов закупить — все это они взяли на себя. Благодаря им, можно сказать, мы и выжили. Когда они пришли, твоя бабушка

чуть умом не тронулась. Ведь повремени она всего один день — и сберегла бы сына. Но вышло как вышло, и сделанного было не воротить. Похоронили, кстати, ребенка тоже русские солдаты — земля смерзлась так, что истощенным бабам выкопать яму было не под силу.

Дед твой появился года через два. Поговаривали, что та актрисочка, с которой он спутался, нашла себе богатого кавалера и выставила его из дому. Вот он и вернулся, видно, деваться было некуда. Бабушка, прознав о его шашнях, в отместку рассказала о содеянном. Он избил ее до полусмерти, а ночью повесился. В том самом сарае, где она заперла ребенка.

Элиза ехала домой с таким ощущением, будто ей распотрошили душу и набили туда колючего чертополоха. Говорить было невыносимо, но и молчать — тоже. Она неслышно шевелила губами, повторяя по памяти письма сыновей, водила пальцем по стеклу, рисуя отцовские руки.

Изножье ущелья затянуло рябью синего тумана, он беспокойно ворочался, то собираясь и сereбрясь на острых пиках волн, то распадаясь, и было такое ощущение, что это и не туман вовсе, а охваченное тоской море, уставшее не только от жизни, но и от себя.

Косая Вардануш, половину дороги просидевшая в молчании, коснулась руки Элизы, попросила приоткрыть окно. Та с усилием нажала на рычаг, до упора отодвигая створку. Салон автобуса наполнился острым горным ветром, мгновенно разогнавшим раздражающий запах машинного масла и людского пота.

— Чувствуешь море? — вдохнув полной грудью солоноватый воздух, спросила Косая Вардануш.

Элиза оторвалась от созерцания тумана и с удивлением уставилась на нее.

— Как ты догадалась, что я вообразила на дне ущелья море?

Вардануш прижала к себе корзину с припасами, которую всю дорогу держала на коленях (баночка топленого масла, мешочек чищеного фундука, сушеные яблоки и персики — Элиза отдала ей все, что положили с собой заботливые деревенские родственники), и ответила с подкупающей убежденностью:

— Зачем воображать, если море там на самом деле есть?

Америка оказалась именно такой, какой ее себе представляла Элиза: сказочная, стремительная, многоцветная и многоголосая, оживленно-предпраздничная, озаренная огоньками елочных гирлянд и сиянием золотистой канители. Она не просто отличалась от привычного с детства мира, она была совсем иной, будто из вымышленной реальности. Здесь даже небо было другим: оно не опиралось локтями о горные хребты и не заглядывало в каждое окно с любопытством и живым участием ребенка, а парило в своей недостигаемой вышине, задумчиво перебирая облаками, равнодушное к сиюминутной суетности людского существования.

Первую неделю Элиза провела словно в полусне: с большим трудом привыкала к разнице во времени. Жила она у Вардана, в крохотном четы-

рехкомнатном домике с небольшим ухоженным садом. Засыпала рано, не дотянув до возвращения с работы сына, поднималась посреди ночи совершенно выспавшейся и полной сил и маялась до утра, дожидаясь, когда проснутся остальные. С невесткой, Энни, она сразу нашла общий язык. Та была из семьи бежавших от резни эрзрумских армян, говорила на агукающем западноармянском, и Элиза шепотом повторяла за ней слова, любуясь их мягким, ласкающим нёбо звучанием: «Ку-дам, гу-кам, аг-вор». Привычная к иным традициям и обычаям, она старалась особо не лезть с советами в жизнь молодых, но с первого же дня гостевания помогала невестке по дому, а готовку сразу взяла на себя, мягко оттеснив ее от плиты. Впрочем, Энни не особо этому противилась.

Оказавшись впервые в супермаркете и походив вдоль длинных полок, обильно уставленных всевозможными продуктами, Элиза испытала не только радостное изумление, но и горькую обиду, вспомнив скудный быт, к которому были приговорены жители огромной и бестолковой советской страны.

— Нас, наверное, обманули? Всю жизнь втолковывали, что на Западе несправедливость и нищета, а теперь оказывается, что все обстояло наоборот? — осторожно спросила она у старшего сына, перекатывая шершавый кокосовый орех в ладонях и стесняясь уточнить, что это такое.

Вардан приобнял ее, с удивлением отметил, что мать не отстранилась, а совсем наоборот — крепко обхватила его руками, и хмыкнул — нас каждый божий день обманывали, ма. Элиза прижалась к

его груди ухом, прислушалась к биению сердца. Вопрос вылетел раньше, чем она успела себя одернуть:

— Сынок, чем я пахну?

Вардан хохотнул — ну ты даешь, ма, наклонился, зарылся носом ей в ворот платья.

— Медом? — спросил с сомнением.

Элиза привстала на цыпочки, бережно коснулась губами ямочки на его подбородке.

— Мой мальчик!

Иногда ее подмывало рассказать о Симоне, но она одергивала себя, потому что не знала, как он отреагирует на то, что у его матери была связь с женатым мужчиной. Осуждения сына она бы не пережила.

Она отчаянно тосковала по Симону. Завела привычку разговаривать с ним — вполголоса, если никого не было рядом, или же про себя. Воображала, что пишет ему длинные письма, пересказывая во всех подробностях удивительную американскую жизнь: разнообразные машины (они бы тебе понравились, Симон-джан, такие красивые, блестящие), вкус кока-колы (сладкая и шипучая, но, если спросишь мое мнение, — «Буратино» лучше), изобилие телеканалов и телепередач (у нас-то их всего два, а здесь целой жизни не хватит все посмотреть, а еще они придумали спортивные каналы, с утра до вечера показывают баскетбол, тебя, наверное, за уши было бы не оттащить).

...сходили с Кареном и его девушкой в китайский ресторан, а там все так чудно едят — палочками, я, балда, как ни старалась, не справилась, потому мне привычные приборы принесли. Мэйли очень

хорошенькая, тоненькая, словно стебелек цветочка, и голос такой, будто хрустальный бокал звенит. Вот только поговорить с ней по душам не получается — английского-то не знаю. С Энни проще, та на нашем языке говорит, потому я о ней все знаю, да и вообще с ней как-то привычней, армянка все-таки. Но вот Мэйли я стесняюсь, и знаю о ней, считай, только то, что Карен рассказывает, а он не особо говорливый, лишнего слова не вытянешь. Ты бы видел, Симон-джан, какими влюбленными глазами они смотрят друг на друга, вот точно поженятся, чувствую сердцем. И обязательно мальчика родят. Я Карену так и сказала: можете ребенка назвать Брюсли, я не возражаю, он аж покатился со смеху, и тоже, как ты, слюной подавился. Значит, я снова ляпнула лишнее. Глупая я и уже не поумнею никогда, Симон-джан. Не понимаю, что ты во мне нашел, ты же любил меня, да и сейчас любишь, я это чувствую и знаю...

Если бы она действительно написала ему письмо, Симон бы сразу догадался, что, выводя эти строки, она заплакала.

...спрашиваешь, как здесь мои мальчики? — продолжала, справившись со слезами, Элиза. Тяжело живут: чтоб свести концы с концами, работают много и без выходных. Карен объяснил, что, если бы родились в Америке, было бы легче, а раз приезжие, то приходится начинать с нуля. Вардан вообще такое сказал — мне аж завывать захотелось. Мол, первое поколение приезжих — проклятое племя, все им дается с большим трудом, потому важно не утонуть и на достойное образование детям заработать. А самым чего? — спросила я.

А самим ничего, говорит и улыбается. На вопрос не пожалели ли, что переехали, оба ответили не колеблясь — ни секунды не пожалели. Я обрадовалась, главное, чтоб им было по сердцу. Они устроились на завод холодильников, работают по десять часов в день, видятся редко — времени не хватает. Но я за них спокойна, Симон-джан, потому что это добрая страна, богатая и щедрая, им здесь будет хорошо. А их детям — тем более...

Спустя две недели Элиза уже достаточно обвыклась с незнакомой для себя обстановкой, чтобы иногда выходить погулять. Маршрут она выбирала всегда один и тот же — до конца улицы, потом направо, по пешеходному переходу и снова направо, в сторону большого сквера, мимо переливающихся рождественскими огнями витрин ресторанчиков и магазинов. Праздничный дух витал над городом, кружил голову надеждой на чудо, которое обязательно должно случиться, пах уютно и сладко — выпечкой и горячим шоколадом. Иногда, смущенно показывая пальцем и бормоча «please» и «sorry» — первым делом она выучила на английском именно эти слова, Элиза брала в кондитерской пончик и кофе в бумажном стаканчике. Дойдя до сквера, усаживалась на первую попавшуюся пустующую скамью, ела, с наслаждением слизывая клубничный джем, и, отхлебывая горячий жидковатый кофе, наблюдала за прохожими, ведя бесконечный разговор с Симоном. Через дорогу возвышалась острокупольной колокольней старая баптистская церковь и светилась воздушными разноцветными витражами. Элизу подмывало туда пойти, но она робела — вдруг не положено, вдруг

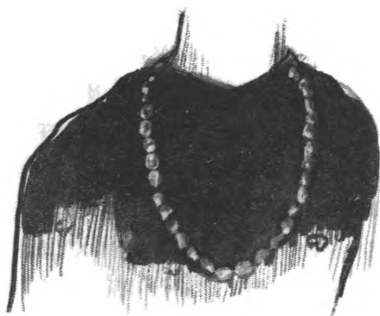
не пустят, она ведь некрещеная и не особо понимает в вере. Но однажды, набравшись смелости, она все-таки туда заглянула. Сесть на скамейку не решилась — да и мест было совсем мало — скоро начиналась служба, потому она спряталась за колонну, укрывшись от посторонних глаз, и, запрокинув голову, принялась рассматривать деревянный, в резных фигурах, потолок, по привычке рассказывая неслышным шепотом Симону об увиденном. На грустные лики святых ложился мягкий свет, сложенные на груди их руки с длинными, выгнутыми кончиками пальцев походили на безвольные крылья больших птиц, разучившихся летать. «И глаза у них такие... будто они долго плакали и, не вытерши слез, окаменели», — решила для себя Элиза, с состраданием переводя взгляд с одного святого на другого.

Из безмолвного созерцания ее вывел голос удивительной силы. Возникнув отовсюду, он зазвучал — плотно и во всю силу, казалось — не делая даже пауз для дыхания, и, подхваченный хором, но солируя и не давая себя заглушить, воспарил над ней, ослепил и ошеломил ее своей первозданной мощью и красотой. Срываясь с ровного скользящего звучания на рваный ритм, он вторгся в ее душу шквальным ветром и, закрутившись вихрем, разметал плескающийся там сумрак. Элиза никогда прежде не слышала спичуэл и ничего о нем не знала. И сейчас, наконец-то осознав, что именно всю свою жизнь пыталась петь, она, обрадованная, обернулась, чтобы убедиться, что и Симон это видит. И горько расплакалась, осознав, что те пять месяцев счастья, которые выпали на ее долю,

навсегда остались в прошлом, и единственное, что теперь у нее есть, — это воспоминания. Никогда больше в ее жизни не случится мужчины, которого она сможет полюбить, перед которым сумеет раздеться, не стесняясь своего тела, которому вздохнет будет рассказывать о себе — не таясь и не робея. «Нас Бог создал друг для друга, но мы, дураки, не знали этого и потому разминулись», — сказал ей как-то Симон. Элиза тогда недоверчиво рассмеялась, а теперь не сомневалась — он был прав. Дышать стало незачем, она сползла на пол, теряя сознание и с благодарностью думая о том, что умирает. Но голос, парящий над ней, не дал ей этого сделать. Он вымел из ее сердца горечь, омыл каждый уголок до стекольного звона, озарил сиянием — бережным и тихим. Он помог ей подняться, отряхнул платье, утер забытым с детства жестом слезы и, легонько толкнув в спину, благословил — иди. Отпусти всех — и живи.

Элиза так и поступила.

ЖЕМЧУГ



Начнем с того, что Сев-Мушеганц Софья вышла замуж не по любви, а по глупой восторженности: захотелось пофорсить в красивом свадебном платье. На дворе стоял семьдесят второй год, мода на короткие сарафанчики с завышенной талией, небрежно взбитые прически с начесом и густо накрашенные ресницы, актуальная в шестидесятые, наконец добралась и до такой глухой провинции, как Берд. Молодые девушки, в пикку старшему поколению, считающему единственно приемлемой длиной для женской юбки середину икры (а лучше вообще щиколотку), с вызовом оголили колени и плечи и спустили немалые деньги на качественную, продаваемую из-под полы французскую косметику. К большому огорчению модниц, советская легкая промышленность поставляла в универмаги сильно отличающийся от желаемого, неуклюжий и пуританский товар. Выход из ситуации приходилось придумывать самим: раздобывали у перекупщиков хорошие журналы мод, ткани, фурнитуру и

даже нити. К портнихе Марине, умеющей не только сшить любой наряд по картинке, но и работать с неподатливыми, зато актуальными кримпленом, дакроном или дедероном, выстраивались длиннющие очереди. Марина никому не отказывала, шила почти без отдыха и за три года накопила денег на двухкомнатную кооперативную квартиру.

Софья работала приемщицей в ателье и в свободное время не отходила от мастеров, наблюдая за тем, как они снимают мерки, отмечают куском мыла на ткани линии, обозначая черточками надсечки, тщательно подбирают приклад, строчат на швейной машинке, вертя ручку и приводя в движение неуклюжий механизм. Заметив интерес Софьи, Марина стала поручать ей кое-какую необременительную работу, которую та с радостью выполняла: сметывала, а затем стачивала срезы, заутюживала припуски, подшивала подол и края рукавов. Марина оставалась довольна: рука у Софьи была легкая, работала она аккуратно и старательно, и главное — с любовью. А любовь, как известно, половина, если не большая часть успеха любого дела.

В ателье и подгляддела Софья фасон своего будущего свадебного наряда: коротенькое белоснежное платье-карандаш с открытыми плечами, полуголой спиной и расшитым серебряным бисером тяжелым подолом.

— Хочу такое, — выдохнула она, боязливо водя пальцем по страничке модного журнала.

Марина оторвалась от работы, близоруко щурясь, наклонилась над картинкой, изучая тоненькую хорошенькую модель в коктейльном платье, фыркнула: в таком если только замуж выходить!

— Замуж так замуж, — не стала спорить недавно справившая девятнадцатилетие Софья.

На недостаток кавалеров она не жаловалась: хорошенькая, статная и ладная, из уважаемой и состоятельной семьи, она давно была окружена вниманием молодых людей. С одним из них даже встречалась — недолго и бестолково, до первого поцелуя, после которого молниеносно с ним рассталась, не называя причин. Уязвленный ухажер попытался вызвать ее на откровенный разговор, надеясь на возобновление отношений, но быстро ретировался, застав на условленном месте не объект своих воздыханий, а двух ее старших братьев.

— Он тебя как-то обидел? — спросили они в один голос, когда Софья попросила разобраться с назойливым ухажером.

— Если бы обидел, я бы не разобраться с ним попросила, а убить, — пожала плечами она. Про поцелуй, неслыханную по местным меркам дерзость, случившуюся на третьем по счету свидании, она благоразумно умолчала, иначе братья накрутили бы хвост не только горе-ухажеру, но и ей.

Причина расставания была до смешного проста: целоваться девушке категорически не понравилось. Кавалер, отпустивший модные по тем временам усы, неудачно их подровнял перед свиданием. Слюнявый, пахнущий табаком, исколовший губы поцелуй ничего, кроме желания немедленно почистить зубы, у впечатлительной девушки не вызвал. «Пропади оно пропадом», — махнула она рукой и решила повременить с личной жизнью.

Залюбленная и балованная с раннего детства, Софья исхитрилась вырасти эгоистичным, но

довольно инфантильным и беспомощным существом. Постоять за себя она не умела, да и не особо желала, как и не собиралась нести ответственность за свои поступки. Потому при любом случае она обращалась к старшим братьям, которые витали над ней коршунами и берегли пуше зеницы ока. Родители, понимая, что с такими качествами их дочь еще не готова к семейной жизни, о браке не заикались, несмотря на то что ее возраст уже считался вполне на выданье. «Успеется, она еще маленькая», — как заведенная твердила мать, и мужская часть семьи с готовностью ей поддакивала.

Софья была единственной девочкой из пятерых разновозрастных детей, и ее всегда выделяли и берегли. Она не знала слов запрета и делала только то, что хотела. Приемщицей, кстати, тоже стала по своей прихоти — поступив в электронно-технологический техникум и быстро потеряв к занятиям интерес, бросила учебу и устроилась на работу туда, где ей больше всего нравилось — к красивым платьям. Невзирая на взбалмошность, она была обаятельным и незлобивым человеком, потому мгновенно прижилась в ателье. Шитье оказалось единственным занятием, которое в состоянии было ее увлечь. Софья с нескрываемым удовольствием помогала мастерам, ненавязчиво учась у них ремеслу и удивляя всех своей смекалистостью и исполнительностью.

— Может, тебе в текстильный поступить? — как-то предложила ей Марина, придиричиво рассмотрев и не найдя никаких огрехов в аккуратной — стежок к стежку — вытачке, которую сделала Софья. Но та только махнула рукой —

зачем тратить время на техникум, если я всему могу научиться у тебя! И то верно, не стала возражать Марина.

Поскольку навязчивое желание выйти замуж в заветном платье не отпускало, Софья, недолго думая, отмела запрет на личную жизнь и встретила с каждым из своих кавалеров, в том числе и с отвергнутым. По итогам тщательных смотрин в женихи себе определила Авоянц Бениамина: он меньше всех пытался произвести на нее впечатление, преимущественно молчал, зато подарил набор носовых платочков, расшитых шелковой нитью в ромашки и колокольчики. Марина, которой она на следующий же день похвастала подарком, вздернула брови: «Нельзя такое дарить. Нехорошая это примета». — «Почему?» — «К слезам». Софья махнула беспечно рукой — двадцатый век на дворе, какие еще приметы!

Зоя, первая любовь Бениамина, проводила его в армию со слезами, а обратно не дождалась. Отправила через девять месяцев письмо с извинениями, где покаянно рассказала, что помолвлена с другим молодым человеком. «Бено-джан, так бывает, думаешь, что любишь одного, а потом знакомишься с другим и понимаешь, что раньше была не любовь, а так, детская привязанность. Не обижайся на меня и не проклинай — я кругом перед тобой виновата и сама все о себе знаю». Между страничек письма Зоя вложила три засушенные ромашки, которые, не вынеся долгой почтовой пересылки из Армении в Казахстан, где служил

Бено, успели рассыпаться в труху. Он осторожно высыпал эту труху на ладонь, слизнул несколько крупинок, скривился от горечи. Ссыпал обратно в конверт, вытащил спички, поджег. Кинул туда же другие письма Зои, совместные фотографии. Наблюдал, как желтеют и сморщиваются в огне их юные влюбленные лица. Ушел в самоволку, напился до чертиков. Вернулся в часть под утро, сдался на КПП, заявил заплетающимся языком, что готов нести ответственность по всей строгости закона. Командир роты, коренастый и суровый капитан, окинув безглаголиво-жалостливым взглядом его скукоженную фигуру, в сердцах отвесил подзатыльник, спрашивать, что случилось, не стал — и так все было ясно. Выписал день гауптвахты («не в наказание, а чтобы мозги у тебя, дурня, на место встали») и лишил очередного увольнения. Бениамин отнесся к наказанию индифферентно, дослужил без эксцессов, но после демобилизации на родину возвращаться не стал. Устроился на Алма-тинский машиностроительный завод простым рабочим, отучился на наладчика. Жил в общежитии, делил комнату с добродушным и словоохотливым коллегой-чуваком, встал в очередь на квартиру. Спустя три года сорвался, коря себя за то, что не выбрался раньше, в Армению — на похороны скоропостижно скончавшегося отца. Уступив мольбам убитой горем матери, которая не желала стариться без сына, но и не соглашалась перебраться к нему в Казахстан, остался. Работу нашел сразу — на местном релейном заводе. С разлучником, своим одноклассником, продолжал приятельствовать, а вот Зою упорно игнорировал и, случайно столк-

нувшись с ней на улице, переходил на другую сторону. Успевшая к тому времени родить двоих детей, сильно расплывшаяся и остро переживающая свою полноту, Зоя каждый раз наливалась слезами. «Не обманула же, все честно написала, сердцу ведь не прикажешь», — жаловалась она подруге, прыгая губами. «Не обращай внимания», — утешала ее та, а сама с жалостью думала, что не все, видимо, перегорело в сердце Зои, раз ее так задевает отношение бывшего молодого человека.

Софью Бениамин заметил в банке. Донимаемая скукой, она стояла в очереди в кассу и вертела шеей, разглядывая плакаты на стенах. Вызвала его невольную улыбку, несколько раз привстав на цыпочки, чтобы по длине очереди прикинуть, сколько еще осталось ждать. Он залюбовался ее ладной, обтянутой в летний брючный костюмчик фигурой — красивые плечи, узкая талия, изящные щиколотки. Профиль у нее был породистой античной лепки — невыпуклый лоб, тонкий, чуть длинноватый нос, пухлые губы, трогательная линия круглого, почти детского подбородка. Зазевавшись, Софья выронила квитанции, которые загодя вытащила из сумочки, Бениамин нагнулся, чтобы подобрать, стукнулся головой о ее выставленное острое колено, смущенно извинился. Она потерла ушибленное место, беспечно махнула рукой. «Бениамин», — представился он, вручив ей подобранные с пола бумажки. «Бено, значит», — протянула она неожиданным для своего возраста спелым медовым голосом. Называть своего имени не стала.

Родные скрепя сердце смирились с выбором Софьи — Бениамин был для нее откровенным мезальянсом: из бедной, ничем не примечательной крестьянской семьи, ни машины, ни накоплений, ни приличного образования, лишь доставшиеся от покойного отца в наследство крохотный дом и садовый участок размером с наперсток. Из родных — мать да старшая сестра, вышедшая замуж в глухую деревню и навещающая в Берд два раза в год — на родительскую¹ и новогодние праздники.

— Хоть бы на инженера выучился... — разочарованно протянула мать Софьи, никогда не упускающая случая прихвастнуть своими двумя дипломами о высшем образовании — филологическом и историческом. Мужская часть семьи, привыкшая не перечить ей, когда дело касалось Софьи, с готовностью поддакнула, и лишь младший сын, в силу пубертатной ершистости, ржаво заметил, что у Бено хотя бы диплом наладчика имеется, а вот у Софьи — только шиш на постном масле. На него гневно зашикали, но, отметив справедливость приведенного довода, галочку в пользу Бениamina поставили. Конец раздумьям положила сама Софья, заявив, что выбор сделала окончательный и не намерена ни на йоту от него отступить.

— Вы же не хотите, чтобы я сбежала с ним! — для острастки добавила она, вздернув бровь.

Мать, обозвав ее мелкой шантажисткой, закатила глаза и в картинном изнеможении опустила в кресло, но, когда старшие сыновья, напуганные

¹ Здесь: традиционные посещения кладбищ всей семьей 2 мая.

ее бледностью, принялись отчитывать Софью, одернула их властным жестом — не нужно! Дочь партийного работника, она еще с детства переняла замашки своего отца и при первой же необходимости мгновенно входила в образ секретаря райкома, с отеческой заботой опекающего своих подчиненных или же, наоборот, — разносящего их в пух и прах за малейшую провинность. Вот и сейчас, сердито одернув сыновей и еще раз попрекнув дочь, она вынесла вердикт: «Раз ты так решила, то и пусть. Но жаловаться потом не прибегай!»

— И не подумаю! — оборвала, не дав ей договорить, Софья.

Свадьбу сыграли с такой поспешностью, что спровоцировали слух о беременности невесты. Обычно ведь как бывает: сначала помолвка, потом бурные приготовления и лишь где-то через год — церемония бракосочетания. А здесь все покатилося лавиной — помолвка в апреле, свадьба в мае, совсем неподходящем для этого месяце, не зря ведь народная примета гласит: выйдешь замуж в мае — промаешься всю жизнь.

Но Софье было невтерпех. Платье, сшитое Мариной за рекордные сутки, висело в шкафу, обернутое от пыли в марлю, — и ждало своего часа. За туфлями и сумочкой пришлось съездить в Батуми (в портовых городах можно было достать все) аж два раза, в первый обувь не подошла по размеру. Там же Софья укоротила свои длинные волосы до середины спины и научилась укладывать правильную бабетту: полагаться на криворуких

местных мастериц, умеющих круто зачесать волосы в валик и пуленепробиваемо зацементировать его лаком, она не собиралась. Свадьбу сыграли роскошную — в единственном приличном городском ресторане с видом на старую каменную крепость, с приглашенными музыкантами и ломящимися от дорогих блюд столами. Невесту доставили в дом жениха на автомобиле ГАЗ-24, салон которого по ее прихоти обшили белым гипюром, а на красные кружочки хромированных дисков приклеили рамочки с портретами новобрачных. Крышу машины украсили огромным бантом из того же гипюра, которым обшили салон, на капот водрузили дорогущую немецкую куклу, а на переднем сиденье установили корзину, наполненную доверху ее любимыми конфетами «Грильяж». Кортёж, сопровождающий машину с новобрачными, растянулся на полгорода и, оглушительно сигналя, подпрыгивал на ухабах узких дорог, поднимая клубы пыли.

Мать и сестра жениха, придавленные подобным размахом и стесняясь своего простецкого вида, старались особо не попадаться публике на глаза. Бениамин, опрометчиво отдавший на откуп семье невесты организацию празднества и на дух не переносящий вычурно-показное, терпел, стиснув зубы. Софья, обворожительная и юная, в роскошном платье, с шелковой лентой в красиво уложенных каштановых волосах, в атласных высоких перчатках и тяжелых жемчужных браслетах, выглядела словно сошедшая со страниц модного журнала картинка. Бениамин, боясь показаться смешным, любовался ею украдкой. Но, надевая на палец кольцо, не удержался, поцеловал ее сначала в

тыльную сторону кисти, потом, бережно развернув руку, — в ладонь. Она рассмеялась и ребячливо чмокнула его в щеку.

Первая брачная ночь случилась спустя почти месяц после свадьбы. Молодая жена упорно отказывалась ложиться с мужем в одну кровать, объясняя это собственной неготовностью. Она действительно была не готова к тому, к чему себя по глупой восторженности приговорила, и догадалась об этом еще до того, как переступила порог мужниного дома. Когда свекровь по заведенной традиции подложила под ноги новобрачным тарелки, чтобы они расколотили их ударом каблук на счастье, Софья охотно это сделала. Но, как только осколки разбитой тарелки разлетелись по сторонам, она с отчетливой ясностью осознала всю скоропалительность и бессмысленность своего поступка и ужаснулась его необратимости. Обернувшись, она поискала в толпе мать и по выражению ее лица поняла, что та догадывается о ее сожалении. Если бы мать подала знак или хотя бы улыбнулась, Софья кинулась бы к ней, расталкивая людей, и попросила увезти домой. Но она этого не сделала — не посчитала нужным или не поняла немой мольбы дочери. По обеим сторонам от нее стояли сыновья, старшие молчали, младшие что-то оживленно обсуждали, посмеиваясь. За спиной маячил отец, неслышный и нерешительный, думал, по своему обыкновению, о чем-то отвлеченном. Казалось — родным теперь нет дела до нее. «Очень надо», — подумала обиженно Софья и с тяжелым сердцем переступила порог своего нового дома.

Хозяйкой она оказалась совсем никудышной — ни приготовить, ни прибраться, ни постирать не умела, а постельное белье выглаживала до того плохо, что, по заверениям недовольной свекрови, на нем больно было не то что спать, а даже думать о перспективе сна! На ее претензии Софья смотрела сквозь пальцы — бухтит, и черт с ней. Иногда, правда, не вытерпев, огрызалась — не видите, что я стараюсь?!

— Значит, плохо стараешься! — сердилась свекровь, перебивая за ней посуду. Софья фыркала и, протирая кухонным полотенцем мокрые тарелки, представляла, как опрокидывает на крохотную и взъерошенную, смахивающую на потерявшего в неравном бою корку хлеба воробышка свекровь кадушку муки. Не сдержавшись, отворачивалась и прыскала в ладонь. Свекровь, заподозрив неладное, задирала голову — разница в росте у них была внушительная — и окидывала ее снизу вверх колючим птичьим взглядом.

— Смеешься надо мной?

— А то!

Глаза свекрови полыхали трезубцами молний.

— Вот ведь паршивка! — хлопала она себя по тощим бокам мыльными руками.

Входящие в привычку перепалки, пока достаточно безвредные, грозились со временем войти в привычку и превратиться в незатихающие военные действия. Софья из-за молодости об этом не догадывалась, а вот Бениамин отлично понимал. В разборки женщин он не встречал, но каждую по отдельности увещевал быть снисходительной к другой, используя один и тот же довод — возраст.

— Какой смысл спорить со старой женщиной? — совестил он разобиженную Софью. Та какое-то время дула губы, но потом соглашалась — и правда, чего это я! Садилась к нему на колени, копошилась, отойдя, чего-то принималась рассказывать — о работе, о модных фасонах, о том, что наконец-то научилась шить брюки. Чего же там такого сложного, раскроил и сшил, подначивал он, и она моментально заводилась — вот попробуй сшить, и мы посмотрим, что у тебя выйдет! Он сжимал ее в объятиях, целовал — долго, дольше, чем хватало дыхания, она с готовностью отвечала ему, обнимала, прикасаясь губами к горячей выемке на шее, шептала нежные слова, задирала кофту, позволяла ласкать себе грудь, но когда рука мужа скользила ниже — решительно ее перехватывала.

— Я так долго не продержусь, — жаловался Бениамин.

— Скоро, обещаю, скоро, — умоляла она. Он, расстроенный ее неподдельным страхом, уступал.

На увещевания не ссориться с невесткой — молодая еще совсем, дай время, всему научится, мать отвечала сыну тирадой, составленной из одних претензий: мол, и делать ничего не умеет, и не научится, потому что в человеке или есть талант вести домашнее хозяйство, или его нет вовсе, и что он вообще мог в этой каланче найти — виданное ли дело, когда росту в девушке два с половиной аршина, а размер ноги 39! (Здесь беспардонно подслушивающая под дверь Софья инстинктивно приседала и поджимала пальцы ног, но сердитым шепотом огрызалась — на себя посмотри,

карлица!) Список обвинений всегда заканчивался одной и той же фразой — ты ее защищаешь, хотя какая из нее жена, если даже с тобой в постель лечь не хочет!

Уступила Софья настойчивым ласкам Бениамина не только потому, что сама этого захотела, но и из желания насолить свекрови. Утром приволокла простыню с неоспоримыми доказательствами свершившегося в гостиную и оставила на самом видном месте. Ошарашенный возглас настиг ее на выходе из дома. Победно развернув плечи, она ушла на работу, где целый день провела на ногах — сидеть было не очень приятно и даже больновато. Марина, заметив ее счастливую растерянность и лихорадочный блеск в глазах, прищурилась — часом, не беременная?

— Нет, — смутилась Софья. Признаваться, что месяц отказывала законному супругу в ласках, она не стала, верно рассудив, что засмеют, а еще, чего доброго — разнесут по городку. Ей-то ничего, а вот мужу будет неловко.

Первая ночь оставила у нее смешанные чувства — нагота Бениамина вызвала у нее радостные и одновременно неловкие ощущения. Отметив его красивое сложение, она не преминула пройтись по несуразному устройству взрослого мужского тела.

— Не зря бабуля называла вас недоразумениями с бантом! — фыркнула она, ткнув пальцем Бениамина ниже живота и вызвав у него приступ хохота.

— Тебе-то чего удивляться, у тебя ведь четверо братьев! — делано возмущился он.

Софья покрутила пальцем у виска: «Балда, они же не голыми передо мной ходили! А представь, если голыми! Все четверо!» И, поднявшись с кровати, она пробежалась по комнате, вихляя задом и смешно размахивая у себя под животом ладошкой. Дождавшись, когда она сделает круг, он вскочил, сгреб ее в объятия, повалил на кровать. Она уперлась ему в грудь руками, взмолилась — у меня там все болит! Целоваться-то не болит, возразил он. Не болит, согласилась она.

С того дня у Софьи началась новая жизнь. Сокровенная сторона человеческих отношений заморозила и затянула ее в водоворот доселе неизведанных чувств. Софья искренне радовалась, что теперь и ей доступно то потайное счастье, о котором женщины старшего поколения предпочитали не распространяться, притворяясь, что в их жизни его не существует, а молодые стыдливо шушукались, шептались друг дружке на ухо, краснея и отводя взгляд. Она откровенно недоумевала, как можно стесняться того, что делает тебя по-настоящему полноценной. Она не стыдилась чувственной стороны своей жизни и искренне ею наслаждалась. И единственное, о чем сожалела, — что так долго ей противилась.

Три последующих года прошли в любовном угаре: Софья с Бениамином использовали любую минуту, чтобы, уединившись в своей комнате, предаваться телесным утехам. Свекровь, не выдержав накала страстей, переехала к дочери — под предлогом по нянчиться с недавно родившимся вторым внуком, а на самом деле, чтобы всласть жаловаться на неумный темперамент невестки и ее бесстыжее поведение.

— Разве так должна себя вести благовоспитанная армянка? — негодовала она, передразнивая вздохи Софьи и тряся туго запеленатым младенцем, словно погремушкой. Дочь — крохотная, щуплая и горбоносая копия матери — отбирала у нее ребенка и угодливо поддакивала — вот что бывает с девочками, которых нещадно балуют с детства! А сама с тоской думала о собственных бесцветных буднях, отягощенных заботой о детях-погодках и постоянным отсутствием мужа, работающего водителем рейсового автобуса дальнего следования.

Мать меж тем, поджав в куриную гузку тонкие губы, громыхла начищенными речным песком до блеска чугунными сковородами, убирая их в посудный ларь.

— И брат твой тоже хорош! — не убавляла пар она. — Смотрит ей в рот, любой каприз исполняет! «Вот тебе, милая, кольцо, вот тебе браслет», — повторяя за сыном, перечисляла она, загибая корявые пальцы, — всю зарплату до последней копейки на нее спускает! Люди соседний с нами участок продают, нет чтобы прикупить, хозяйство увеличить, дом перестроить! Все ей, ей!

Дочь с превеликой осторожностью заступалась за брата:

— Он ведь и тебе слова поперек не говорит, мам. И подарков столько надарил. Лисий полушубок, купленный к твоему шестидесятилетию, чуть ли не целого состояния стоил!

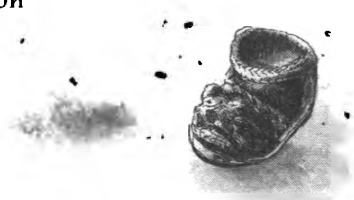
Гневная отповедь матери не заставляла себя долго ждать.

— Ты не его, а меня должна защищать, ясно? Всю душу мне вынули, что твой брат, что его

неуемная, падкая на непристойности женушка! Ребенка бы хоть родили, может, тогда успокоились бы!

Дочь цокала языком и укоризненно качала головой — уж про роды-то могла промолчать, на днях ведь второй выкидыш у Софьи случился! Мать, потемнев лицом, осекалась и умолкала.

Первый выкидыш Софья списала на слабость собственного организма, перенесшего тяжелый, осложненный бронхитом, грипп. И быстро утешилась, приободренная заверениями доктора, что все сложилось как нельзя лучше, ведь сильные препараты, которые она принимала во время болезни, могли безвозвратно повлиять на здоровье плода. Второй выкидыш, случившийся через полтора года буквально на ровном месте, без каких-либо причин — Софью откровенно напугал. Она очень хотела девочку. Она намечтала ее такой, какой сама была на детских фотографиях — кругленькая, с ямочками на пухлых щечках, с большим бантом на вьющихся золотистых волосиках и в пышном нарядном платьице. Наметила такое же платьице и даже припасла для него отрез дорогущего атласа цвета спелого граната. По сотому разу представляла, как выкроит и сошьет его на пятилетие дочери: отложной, вышитый по круглым краям шелковой нитью воротничок, рукава-фонарики с манжетами, коротенький лиф, пышная юбка,



едва прикрывающая пухлые коленки. Она много раз рассказывала об этом Бениамину, подробно объясняя детали шитья, вплоть до количества оборок и пуговиц. Он успокаивал ее — не волнуйся, всему свое время, все будет. Она не перебивала, дослушав, взбиралась ему на колени, долго копошилась, вздыхала о чем-то своем, но молчала. Она не задумывалась о той цикличности, в которую бурным серпантинном заворачивались события ее жизни: несколько лет назад она загорелась желанием выйти замуж в понравившемся платье из английского журнала мод, теперь же мечтала о платьице для нерожденной дочери.

К двадцати пяти годам Софья сильно изменилась — распрощавшись с юношеской угловатостью и порывистостью, замедлилась и налилась внутренним сиянием, манящим, но робко-виноватым, притушенным переживаниями из-за не случившегося до сих пор материнства. В движениях ее появилась грация уверенной в своей красоте молодой женщины, тело округлилось и задышало совсем по-новому — глубоко и безбоязненно, и, по заверениям влюбленного в нее по уши мужа, нежно светилось в темноте. Софья ничего такого за собой не замечала, но охотно верила. Она успела распрощаться со своей детскостью, но продолжала наивно радоваться любой похвале, не подмечая в ней ни приукрашивания, ни желания угодить.

Работала она, как и прежде, в ателье, теперь уже портнихой. Мастерством до Марины недотягивала, но особо по этому поводу не переживала. На работу, как и прежде, ходила с радостью, но все чаще возвращалась расстроенной. Коллеги,

не видя в том ничего бестактного, участливо расспрашивали ее о здоровье, а любое недомогание спешили списать на долгожданную беременность. Софья просила оставить ее в покое, и они твердо обещали не тревожить ее, но почти сразу же забывали об этом. Она не сильно обижалась, но иногда жаловалась Марине — можно подумать, их сердце больше моего болит!

На улицах мужчины оборачивались ей вслед. Она привыкла к их восхищению и принимала его словно данность. Охотно отвечала на приветствия, могла мимоходом поддержать шутку. Но упорно пропускала мимо ушей даже самые безобидные комплименты, тем самым сохраняя невидимое, но непробиваемое пространство, которое прочерчивает вокруг себя любая замужняя женщина. Молва о местной красавице Шушаник, семейной женщине, долгие годы прожившей в греховной связи с другим мужчиной, ее пугала: она не представляла, как можно изменить собственному мужу.

Вопреки пророчеству свекрови, вести хозяйство Софья научилась и неплохо со своими обязанностями справлялась. Правда, сильно укоротила список забот, отказавшись от всего, что требовало большой физической нагрузки и ответственности. Хлеб они теперь ели покупной, корову и коз продали, оставив только домашнюю птицу. Сливочное масло она брала у знакомой молочницы, упрятав подальше деревянную маслобойку, топленое же забирала у старшего брата, жена которого с охотой делала все сама. В благодарность Софья передавала ей большой круг собственноручно выпеченной восхитительной ореховой гаты. И очередную,

сшитую из белоснежного сатина блузку — золотка преподавала в школе и носила строгие костюмы.

К вывешенной на просушку стирке Софьи теперь можно было водить экскурсии. Подсинивала и подкрахмаливала она так, что любо-дорого было смотреть. Гладить, правда, она так и не полюбила, оправдывая это тем, что работы с утюгом ей и в ателье хватает. Потому глажку на себя иногда брал Бениамин, справляясь не хуже жены.

Дни тянулись один за другим, нанизываясь на годовую тесьму маковыми сушками, вязанками которых на иллюстрациях к восточнославянским сказкам украшали большие медные самовары. Софья любила детские книжки и всю жизнь их перечитывала. Особенно часто — русские сказки. Они поражали ее воображение обилием чудес, чередой удивительных смертей и воскрешений, милосердными лесными обитателями, жестокими злыми силами, мудрыми и красивыми царевнами. Делая какую-нибудь скучную работу, она развлекалась тем, что смешивала, словно колоду карт, сказочных персонажей и придумывала им новые характеры, меняя концовки выученных наизусть историй. Но Василису Премудрую, неизменную свою любимицу, она никогда не трогала. Более того — твердо решила назвать дочь, ожиданием которой умудрилась известить не только себя, но и всех своих родных, ее именем.

Осенью семьдесят восьмого года Бениамин собирался в Казахстан. К тому времени у Софьи случились еще два выкидыша, последний — на

пятом месяце беременности. После выписки из роддома она пролежала несколько дней, не подпуская к себе никого, кроме мужа. Даже визит собственной матери проигнорировала, попросив передать, чтоб не беспокоилась. Пожелавшей вернуться обратно свекрови велела сказать, что сейчас не время, если та не хочет, чтобы ее жизнь превратили в череду безрадостных дней.

— Она же помочь хочет, — заступился за мать обиженный Бениамин.

Софья повернулась к нему, понуро сидящему на краешке кровати, завозилась, плотно укутываясь в тяжелое шерстяное одеяло — никогда прежде особой зябливостью не отличалась и даже морозной зимой ходила в тонком шерстяном пальто, а теперь постоянно мерзла. Бениамин улегся рядом, прижал жену к себе, вздохнул, с горечью отметив, что даже через толстое одеяло ощущается, как она исхудала.

Софья прогудела ему ровным голосом в грудь:

— Если твоя мать приедет, она сделает все, чтобы нас развести. Я бы на ее месте поступила ровно так же. Тебе ведь настоящая семья нужна, с детьми... а я не могу... их тебе... родить... — Она буквально заставила себя договорить фразу и умолкла, так, будто перестала дышать.

Бениамина ужаснули не ее слова, а тон, которым она их произнесла. С таким ледяным безразличием говорят смирившиеся с неизбежным, уставшие бороться люди.

— Давай уедем отсюда, — чтобы прервать тягостное молчание, выпалил он первое, что пришло на ум.

— Зачем? — чуть помедлив, спросила она.

Он ответил, тщательно подбирая каждое слово, потому что понимал, что от того, как он сейчас все объяснит, зависит их будущее:

— Я тебя люблю и никогда не брошу. А здесь все на тебя давят. Уедем туда, где никто нас не знает, и начнем жизнь с нуля.

Она прижалась к нему плотней, прерывисто, словно отходя от долгих рыданий, вздохнула:

— Ты меня действительно никогда не бросишь?

— Дурочка.

Молчание растянулось, и Бениамин ее не торопил. Наконец она приподнялась на локте, коснулась губами его лба: «Хорошо. Давай уедем».

Вернуться на прежнее место работы не составило большого труда — коллега, с которым Бениамин делил когда-то комнату в общежитии, замолвил за него словечко, да и он ехал с отличными рекомендациями и почетными грамотами от релейного завода, где протрудился восемь лет. Устроился на ту же позицию — наладчиком в цех производства судового оборудования, получил комнату в семейном общежитии, где сразу же сделал небольшой ремонт и наклеил новые обои. Предполагалось, что Софья сама займется обустройством жилья, но в ателье ее непустили: осенью одна портниха ушла в декрет, и нужно было доработать хотя бы до середины июня, когда вернулась бы другая, у которой как раз к тому времени истекал срок отпуска. Так что с планами перебраться в Казахстан пришлось повременить.

Оставшись без мужа, Софья по нему невыносимо скучала и жаловалась на одиночество сквозь треск и гул междугородней телефонной связи.

— Ничего, время до лета пролетит незаметно, — уверял Бениамин и, уводя разговор в сторону, рассказывал, намеренно ее поддразнивая: — Шторы покупать не стал — сама приедешь, выберешь нужную ткань и сошьешь. Или, может, все-таки взять?

— Не смей, я сама, ты не разбираешься в тканях! — мгновенно взрывалась Софья, веселя его своей запальчивостью.

Тосковала она по мужу отчаянно. Спала только на его стороне кровати, по дому ходила в его свитерах и носках. Составляла длинные письма, подробно передавая всякие незначительные происшествия. Иногда ей казалось, что в этом нет никакой необходимости, потому что он узнает о содержимом письма по мере того, как она выводит строки на листе бумаги.

Чтобы как-то развлечь себя и разогнать тоску, Софья завела привычку ходить по выходным в гости, благо было к кому — трое братьев успели жениться и обзавестись детьми, и только самый младший дослуживал последний год в армии. Племянников она нежно любила, но особенно выделяла дочь старшего брата, которая к тому же получилась сущей ее копией. Вдоволь с ней наигравшись, она возвращалась домой, вытаскивала из бельевого сундука припасенную атласную ткань цвета спелого граната, расстилала ее на кровати и воображала, как сошьет платье для своей дочери, которая всенепременно родится сразу после того, как она переедет к Бениамину. Она не сомневалась, что произойдет это в олимпийский восьмидесятый год. Строила планы, загибая пальцы и высчитывая положенные девять месяцев.

— Прилечу и сразу забеременею. И наконец-то выношу ребенка. Если все сложится, как я запланировала, родится она в феврале. Хорошо, что ткань для платья я взяла алую, яркий цвет зимнему ребенку особенно к лицу! — довольная своей проницательностью, заключала она.

За последнее время Софья резко сузила круг общения. Раньше она любила шумные застолья, где можно было обильно и вкусно поесть, запивая съеденное домашним вином или же тепловатой обжигающей тутовкой, а потом на десерт с крепко заваренным кофе и коньяком во всю мощь легких по-деревенски непринужденно обсудить передающиеся шепотом сплетни. Сейчас же она старалась окружить себя только самыми близкими, потому что лишь они не пытали ее ненужными, набившими оскомину вопросами и не сверлили переносицу жалостливыми беспардонными взглядами. Софья теперь знала наверняка — навязчивое сочувствие может ранить даже сильнее, чем ледяное равнодушие.

Но на юбилей Марины она все-таки пошла, чтоб не обижать подругу. Да и Бениамин, которому она рассказала о предстоящем торжестве, посоветовал не пропускать празднования.

— Она ведь столько всего сделала для тебя! — с укором напомнил он, отмечая слабые попытки жены ограничиться подарком, врученным на работе. Софья нехотя уступила.

Юбилей справляли в том же ресторане с видом на старую — десятого века — крепость, где гуляли ее свадьбу. Народу было много, и Софья с облегчением затерялась в толпе празднующих, а потом

и вовсе ушла на круглый, выгнутый скобой балкон, где, забившись в самый угол, потягивала коньяк, наблюдая за тем, как вслед за уличными фонарями, будто в замедленной съемке, загорался свет в окнах домов. Заскучав, она принялась забавляться тем, что пыталась угадать, в каком именно окне еще вспыхнет лампочка. За тем занятием и застал ее Симон. Подошел спросить, не холодно ли ей, она помотала головой, посторонилась, давая ему облокотиться рядом на перила. Симон был двоюродным братом Марины и иногда заглядывал в ателье, чтобы передать что-нибудь нужное: дефицитные продукты, заграничные журналы с подробными выкройками или же мотки мохера, из которого та вязала воздушные жакеты и свитера. Будучи каменщиком и кровельщиком от бога, Симон обзавелся связями практически во всех учреждениях и с завидной легкостью доставал все, что измученному советским дефицитом человеку было недоступно. Софья познакомилась с ним чуть ли не в тот день, когда пришла устраиваться на работу. Симон, видя ласковое расположение двоюродной сестры к молодой коллеге, относился к ней с отеческим покровительством — все-таки разница в тринадцать лет давала о себе знать. Софья же его нежно полюбила за легкий нрав и хорошее чувство юмора, но никогда не замечала за ним той мужской притягательности, жертвами которой, по слухам, успели стать несколько вполне добропорядочных бердских женщин.

Они проговорили достаточно долго: он расспрашивал о Бениамине и переезде в Казахстан, она — о Меланье, которая, приболев, не смогла прийти на

празднование. Не спросив разрешения, он накинул ей на плечи свой пиджак, нечаянно дотронувшись до шеи — ее обожгло ледяным прикосновением его пальцев. «Тебе же самому холодно», — запротестовала она и попыталась вернуть пиджак, но Симон крепко стиснул ей запястье, не давая этого сделать, она охнула, испугавшись силы его рук — у каменщиков она жесткая, могучая, — и, подняв на него глаза, поразилась, как это раньше не замечала его сдержанной мужественной красоты. Он смотрел на нее не менее изумленным взглядом, обнаружив в ней не просто красивую, но и неудержимо соблазнительную женщину. «Вот ведь, оказывается, ты какая!» — выдохнул он и ошалело, будто контуженный, замотал головой.

С того дня все и завертелось.

К тридцати трем годам Айинанц Меланья научилась смотреть на интрижки супруга сквозь пальцы — наконец-то подостыла, смирившись с его котовьей натурой. Раньше она ему такие скандалы закатывала, что любо-дорого было смотреть, но потом махнула рукой — все одно клинического бабника не исправишь, так какой резон криком исходить и здоровье себе гробить! Да и времени на выяснение отношений совсем не оставалось, дети, посыпавшиеся один за другим словно мелкий горох, отнимали все ее время. Старшему недавно исполнилось шесть лет, среднему — четыре годика, а младшему вообще полтора. Пока накормишь-носы утрешь-умоешь-спать уложишь — сил не то что на скандал, на мало-мальскую ревность не остает-

ся. Не говоря уже о заботах по хозяйству, которое положено содержать в идеальном порядке: сад-огород, целый курятник всяко-разной птицы, ко-рова и три козы, которых нужно подоить, на выпас выпроводить и вечером встретить, стирка-глаж-ка-уборка, ну и готовка, будь она неладна, мясо само в фарш не порубится и в виноградные листья не завернется, мацун с чесноком в густой соус не взобьются, а хлеб не испечется, сколько ни сверли взглядом тяжелую заслонку каменной печи!

Симон нещадно пользовался хронической уста-лостью жены, оправдывая свои похождения отсут-ствием интимной жизни. Меланья, часто отказы-вающая по причине крайней утомленности ему в ласке, но свято верящая в нерушимые узы брака, махнула рукой — черт с тобой, все равно никуда не денешься — законную жену так легко не подвинуть! Но раз в месяц все-таки закатывала эталонные скандалы, на которые иногда даже сбегались по-глазеть соседи. Внимание сторонних наблюдателей ей не мешало, а скорее даже наоборот — придава-ло сил, потому она, взявшись за дело, разворачива-лась во всю мощь, превращая обычную семейную разборку в театральное представление, где антрак-та, для того чтобы хотя бы перевести дыхание, не предусматривалось. Ошеломленные соседи долго потом обсуждали наиболее яркие сцены, трактуя каждую на свой лад. Особенно старался отставной военный Енинац Сако, в каждом действии Меланьи углядывающий милитаристический подтекст:

— Посуду хорошо побила, в три приема, глав-ное — каждый громче предыдущего! Иначе как ударной волной такое не назовешь!

— Видели, как она веником в окно запулила?! Прямо как гранату кинула, только чеку выдернуть забыла!

Симон, признающий за женой право выпустить пар, переносил скандалы со стойкостью и терпением: заблаговременно укрывшись в недрах дома, он до поры до времени не показывался на авансцене, давая Меланье доиграть действие. И только под самый занавес, почуяв, что она вот-вот выдохнется, оглушительно — даже во дворе можно было услышать перезвон подскочивших в стеклянной горке фужеров — грохал кулаком по столу: уймись, женщина, хорош уже! Меланья, моментально умолкнув, фыркала и, демонстративно громко топая, выходила на веранду, шаря по карманам платья в поисках сигарет и спичек.

В день предполагаемой разборки она уводила детей к матери, чтобы не ранить их неокрепшую психику своими криками. Вечером, помирившись с мужем, румяная и довольная, как ни в чем не бывало забирала их обратно, заверив старушку мать, что теперь все будет по-другому, Симон клялся-божился: никаких больше походов.

— Твой отец тоже клялся и божился каждый раз, когда меня до полусмерти избивал! — хмыкала мать, натягивая на младшего внука курточку.

— Ну вот зачем ты при детях! — укоряла ее шепотом Меланья.

— Можно подумать, они что-нибудь поняли из того, что я сказала!

— Конечно поняли! По-своему, и все же!

— Не нуди! — отрезала мать и, снабдив каждого внука карамельным петушком на палочке, провожала за порог.

На прощание она всегда говорила одни и те же слова:

— Поверь, дочка, измена — не самое большое испытание, которое случается в жизни женщины. Так что особенно не разоряйся, береги нервы.

Меланью, порядком уставшую от ее нравоучений, каждый раз подмывало возразить, но она вовремя прикусывала язык. Мать, безусловно, была права: измена — не самое страшное испытание. Бывают испытания и во сто крат страшней.

Искристо-легкий, невозможно счастливый роман Софьи и Симона продлился недолгих три месяца и оборвался в конце мая. Дата отъезда приближалась, и пора было расходиться, но влюбленные тянули время, откладывая неминуемое расставание и назначая каждую последующую встречу последней. Позволив себе вовлечься в слепящий круговорот чувств, они умудрились сохранить ясность ума и не терзали друг друга сомнениями или переживаниями, стараясь каждую выпавшую на их долю секунду использовать на радость себе. Симон, ошеломленный той филигранной точностью, с которой в Софье сочетались безудержная страстность и восковая податливость, утверждал, что именно из-за таких, как она, женщин, рушились цивилизации и сжигались дотла города. «Ты пошла не от Евы, а от Лилит¹», — уверял он. Софья

¹ Легенда о первой женщине, которую Бог создал из огня и которая, изменив Адаму, сбежала с падшим ангелом, причинив мужу невыносимые страдания.

смущалась — придумаешь тоже! Но мысленно с ним соглашалась. Благодаря еще одному мужчине, случившемуся в ее жизни, она теперь знала о себе такое, чего никогда бы не узнала, оставшись верной Бениамину. Семь лет супружеской жизни укрепили ее уверенность в собственных чарах — она отлично знала, что муж никогда ей не изменит, потому что любит ее не просто как свою духовную, но и как физическую половинку. Раньше она думала, что такое удивительное единодушие и «единотелие» случилось благодаря чудесному везению: она просто выбрала именно того мужчину, который был предназначен ей судьбой. Но, лишенное вполне объяснимой неуклюжести и стыдливой неловкости, первое же сближение, случившееся между ней и Симоном, заронило в душу Софьи сомнение: вдруг объяснение того, что она так легко, практически не прилагая каких-либо усилий, подобрала ключик к чувственному коду еще одного мужчины, заключается в том, что главный дар, которым она обладает, — это умение любить? И что дело не в судьбоносном совпадении с мужем, а в том, что она интуитивно умеет уловить камертонный звук тела любого мужчины и, безошибочно подладившись под него, зазвучать в унисон? Сам того не зная, Симон подтвердил ее подозрения, признавшись, что ни с кем из предыдущих женщин у него не случилось такого молниеносного и прочного чувства тождественности. «Как будто год с тобой живу и каждую твою клеточку знаю», — признался он после первой проведенной вместе ночи. Софья радовалась тому, что узнала и признала в себе неожиданное качество, но и расстраивалась, осознавая,

что знание это ей совершенно ни к чему. Мир замужней женщины должен быть замкнут лишь на одном мужчине. Софья твердо знала — второй такой истории, как с Симоном, у нее не случится. Никогда больше она не позволит себе унижить Бениamina изменой.

Запретив себе оборачиваться и терзаться угрызениями совести, она рьяно принялась готовиться к поездке: составила и несколько раз, нещадно сокращая, переписывала список вещей, которые собиралась с собой взять, привела в идеальный порядок дом, чтобы сдать его свекрови, собирающейся вернуться туда после ее отъезда. Поручила старшему брату, часто выбирающемуся в Иджеван, купить на вокзале билет на поезд — лететь самолетом она не собиралась из-за панического страха высоты.

За две недели до отъезда она заподозрила, что беременна. Поход к врачу это подтвердил. Мыслей о том, чтобы избавиться от плода, у нее не возникало. Решив, что как-нибудь выкрутится — в конце концов, Бениамину не обязательно знать, что он ни при чем, она с невозмутимым видом продолжала сборы. Но за пять дней до отъезда, не задумываясь, почему именно так поступает, она разобрала и разложила по местам вещи, а потом сходила на почту и надиктовала мужу телеграмму, где, признавшись, что забеременела от другого мужчины, просила как можно скорее вернуться и оформить развод. Телеграфистка Марус, с невозмутимым видом отбарабанившая продиктованный ей текст, мгновенно разнесла эту новость по городу, всполошив всех.

На следующее утро, с намерением выяснить отношения, в дом Софьи явилась рассерженная Меланья. Софья этого визита ждала, потому, поднявшись спозаранку и преодолевая первые приступы тошноты, наспех замесила тесто и испекла гату. Приняв непрошеную гостью на веранде (в дом проходить та отказалась) и уверив ее в том, что к Симону никаких претензий не имеет и ребенка, если доносит, родит исключительно для себя, она снабдила ее кругом ореховой гаты и выпроводила к лестнице. Меланья, уверенная в том, что и эта беременность закончится выкидышем, лишь у калитки сообразила, что уходит, прижав к груди увесистый сверток с чужой выпечкой.

— Да подавись ты своей стряпней, бесстыжая! — крикнула оскорбленно она и, неумело завертевшись вокруг своей оси, попыталась зачем-то закинуть гату на крышу дома. До крыши сверток не долетел. Стукнувшись об карниз, он криво от ricoшети́л, перелетел через забор и шмякнулся под ноги соседки Софьи — Косой Вардануш, выскользившей, по своему обыкновению, на помощь.

Софья, наблюдавшая за выходкой гостьи из распахнутого окна кухни, не преминула съязвить:

— Решила рекорд Фаины Мельник¹ побить?

Меланья отвечать ей не стала, ушла, намеренно громко хлопнув калиткой. Зато всласть отвела душу дома, устроив Симону вынос мозга по высшему разряду — с битьем посуды и выкидыванием в

¹ Фаина Мельник (1945—2016)— советская легкоатлетка, двукратная чемпионка Европы, выступала в дисциплинах «метание диска» и «толкание ядра».

окно его одежды (не всей, а только той, что была предназначена для стирки). Чуть отдышавшись, она спустилась во двор подобрать одежду и застала за забором Косую Вардануш.

— Меланья-джан, побоялась под горячую руку попадать, ждала, пока отойдешь, — подала голос та и, неуклюже помахав свертком с гатой, заискивающим голосом пояснила: — Софья обратно забирать отказалась, сказала, что специально для тебя пекла.

— Оставила бы себе, — раздраженно бросила Меланья, с кряхтением подбирая брюки мужа. Косую Вардануш она терпеть не могла за неумное желание быть полезной всем и везде и в сердцах называла про себя «скорой помощью».

Косая Вардануш нерешительно толкнула калитку, вошла во двор.

— Я бы с радостью оставила себе, но кто ее есть станет? Я сладкое не люблю, а матери нельзя — у нее сахарная болезнь.

Меланья молча направилась в дом, неся на вытянутых руках выпачканную дворовым сором одежду мужа и думая о том, что никогда не слышала, чтобы диабет называли сахарной болезнью. Далеко перевесившись через ограждение веранды, она подробно вытряхнула одежду, а потом поставила греться воду — так постирает, выкатывать тяжеленную стиральную машину и заводить ее из-за одной пары брюк и двух рубашек не имеет смысла. Все это время Косая Вардануш переминалась у калитки, держа под мышкой увесистый сверток. Там, где он ударился о край стены, обертка треснула и оголила отколотый край гаты, который крошился

золотисто-сахарной начинкой. Вардануш время от времени подставляла под нее ладонь и, когда на ней образовывалась крохотная горсточка начинки, беспомощно вертела головой, прикидывая, куда ее деть. Так ничего и не сообразив, она воровато выкидывала крошки под забор, в надежде, что подберут куры.

— Пойдем, что ли, кофе пить! — сжалилась наконец над ней Меланья.

Второй раз просить себя Косая Вардануш никогда не заставляла. Прижав к груди подношение, она с важным видом проследовала в дом.

Меланья накрыла стол на веранде. Вынесла миску со спелой клубникой, прошлогодний мед в сотах, холодный мацун, нежный козий сыр. Ревниво выставила рядом с гатой свое коронное ореховое варенье — лучшее в Берде. К тому времени, когда они принялись за еду, крупными каплями прошел дождь — по-летнему скороспелый и недолгий, но вполне щедрый для того, чтобы убавить силу полуденного жара. С ущелья повеяло ласковым ветерком, отдающим на губах солоноватым привкусом, и было непонятно, откуда он каждый раз берется, этот соленый ветер, если моря в этих краях не водилось со времен большого потопа.

— Может, прабабушка была права, и оно действительно существует, просто мы его не видим? — скорее для себя, чем для Косой Вардануш протянула задумчиво Меланья.

— Если не видим, это же не означает, что его нет! — пожала плечами Вардануш, выдергивая из миски за хвостики спелую глянцевою клубнику и подкладывая ее в тарелку Меланьи.

— Тебе-то откуда знать, о чем я? — насмешливо прищурилась та.

— О море, о чем же еще!

Меланья аж дышать перестала. Не умеет же ее гостья, в конце концов, читать мысли! Она навесила на лицо каменное выражение и поменяла местами тарелки.

— Ешь сама клубнику, я ее не люблю.

Вардануш подняла на нее зеленые, широко расставленные глаза — зрачки ее смотрели не прямо, а чуть вразброс, и от этого создавалось впечатление, будто она видит не только то, что впереди, но и то, что по бокам. Вперив в Меланью раскосый взгляд, она заморгала часто и глупо, несколько раз шмыгнула носом, подергала себя за нижнюю губу. Меланья вздохнула и успокоилась: не может такая дурочка чужие мысли читать, ей со своими-то не под силу разобраться!

Она ненадолго отлучилась, чтобы замочить стирку. Вернувшись, застала довольную Вардануш, уплетающую гату с холодным, в застылой масляно-золотистой пенке, мацуном.

— А говоришь, что не любишь сладкое! — не стерпев, укорила ее Меланья, вытирая краем передника мокрые руки. Вардануш даже ухом не повела.

— Попробуй, тебе понравится, — обратилась она с набитым ртом к Меланье. Та села, нехотя откусила кусочек гаты, с досадой отметила ее отменный вкус.

— Чего она туда кладет? Кардамон? И, кажется, гвоздику?

— Ни то ни другое. Муку для начинки прокаливает до золотистого цвета. Ну и орехи обжаривает, но это ты и так знаешь.

— Вкусно, — вздохнула Меланья, доедая гату.

По собранным в небрежный пучок тонким волосам Косой Вардануш ползал паук. Меланья с удивлением отметила его странное движение — каждый раз, чтобы сделать шаг, он высоко задирал очередную лапку, а потом с такой резвостью ее отдергивал, словно по раскаленному ступалу. Она хотела было смахнуть его, но передумала — вреда от него все равно не будет, поползает и сам отвалится.

Бениамин прилетел через три дня, обошел молчаливой брезгливой дугой испуганную жену, тщательно зарядил охотничье ружье и пошел разбираться с обидчиком. Не застав Симона дома, он расколотил стекла и фары его новенького «москвича», выбил боковые зеркала и, не пропустив ни одной дверцы, нацарапал аршинными буквами по всей окружности машины витиевато-корявое и грубое выражение. Тем временем встревоженная плачем Софьи Косая Вардануш подняла на уши всех его друзей, и они, настигнув горе-преступника, скрутили его, отобрали и спрятали ружье, а самого отвезли в милицейский участок и попросили подержать немного в камере временного содержания, чтоб тот сгоряча не натворил еще каких-нибудь дел. Начальник милиции, недолго поразмыслив, решил посадить Бениамина на пятнадцать суток. А для убедительности велел подчиненным состряпать

обвинение в правонарушении, мол, задержанный переходил дорогу в неположенном месте с непреднамеренной целью создания аварийной ситуации. На резонный вопрос правонарушителя, как может цель быть непреднамеренной, сердито цыкнул языком — сиди и не умничай, иначе впарим тебе статью за порчу имущества, а за такое люди реальные сроки получают! Закрыли Бениamina очень вовремя, потому что буквально следом в отделение примчался озверелый Симон и принялся требовать, чтобы его пустили к задержанному.

— Зачем? — разводил руками оставшийся к концу рабочего дня в одиночестве дежурный, обмахиваясь милицейской фуражкой. Капли пота стекали с его чисто выбритого лица и терялись в ворота распахнутой на две пуговицы рубашки. На потолке, уныло жужжа, крутился пластиковый, пожелтевший от времени, засиженный мухами вентилятор, разгоняя лопастями раскаленный добела июньский воздух.

— Ты видел, что он с моей машиной сделал?

— А ты о чем думал, когда с его женой шашни крутил? — последовал резонный вопрос.

— Будь человеком, пусти меня!

— Зачем?

— Какая тебе разница зачем?! Пусти и все! — скандалил Симон, для острастки колотя в стену кулаком и обзывая дежурного тупым ослом.

— Как скажешь! — не стал возражать дежурный и отвел его в камеру. Другую.

И Симона тоже посадили на пятнадцать суток. За оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей.

Пока несостоявшиеся убийца и жертва сидели в соседних камерах, их исправно посещали жены. Носили еду, передавали чистую смену белья. Софья через решетчатую дверь уговаривала мужа развестись — Бено-джан, зачем тебе такой позор! Бениамин молчал, только желваками ходил да зубами скрипел. Не дождавшись от него ответа, Софья стояла, прислонившись лбом к рифленой решетке, и шепотом вздыхала. Уходила с отпечатком узора решетки на лбу. Меланья старалась не пересекаться с ней, потому приходила ближе к вечеру. Подробно рассказывала мужу последние новости, хвастала младшим сыном, у которого прорезались сразу два зуба. «Что, оба-два сразу вылезли»? — переспрашивал Симон, утирая слезу умиления. «Ага, и главное температура наконец-то спала! Измучился бедный». — «А средний чего?» — «Чего-чего! Хвост индюшке выдрал, охламон». «Ишь!» — в голосе Симона отчетливо звучали нотки гордости за шкодливого сына. «Тебе ишь, а индюшке голой жопой на весь двор светить!» — не унималась Меланья. «Сшей ей хлопковые трусы, пусть срам прикроет», — предлагал Симон. Бениамин в соседней камере невольно улыбался, представляя индюшку в трусах, но мгновенно хмурился и сплевывал в сердцах на пол. Закуривал, сердито затягиваясь кусачим дымом.

Когда Меланья уходила, он, прочистив горло, кричал Симону:

— Слышь, чатлах! Все равно выйду и убью тебя, так что особо не радуйся.

Симон долго тянул с ответом. Бениамин успевал загасить окурок и прикурить другую сигарету, когда он наконец подавал голос:

— Радоваться на твоих похоронах будем, понял, охраш¹?

— Чего-о-о?

— Того! Поговорить потянуло? Головой об стену ударься, глядишь, полегчает.

Дежурный замечаний им не делал — все одно не заткнутся, но, подустав от их ругани, распахивал окно и выставлял телефонный аппарат на подоконник, чтоб на случай вызовов не мчаться в кабинет, и уходил на задний двор приземистого строения милиции, где долго сидел на шершавой, перекосившейся от дождей скамейке, упершись локтями в расставленные колени и бесцельно глядя себе под ноги. Изредка, оторвавшись от созерцания собственных башмаков, он поднимал взгляд к небу. Жара к ночи спадала, суетились над головой летучие мыши, звала, вынимая душу, совка-сплюшка, звезды тянулись друг к другу лучами — и, не дотянувшись, обреченно светили в чернильной темноте.

— Каждое небесное тело — отвергнутое сердце, — внезапно додумывался дежурный — сорокалетний и лысый, словно пятка, толстяк, любитель жареной картошки, сала и пива, и, пронзенный в самое сердце, остолбеневал от волнующей догадки: оказывается, и он способен на лирические умозаключения!

«Надо бы запомнить, чтобы жене рассказать», — думал он, переводя взгляд с одной звезды на другую. Жена, большая ценительница мело-

¹ *Чатлах, охраш* — ругательства турецкого происхождения.

драм, неустанно пилила его, обзывая рубанком, и упрекала за отсутствие романтических порывов.

— Слышь, ты, сифилистик! Я тебя по-любому достану! — надрывался меж тем в своей камере Бениамин.

— Ты сначала до жопы своей достань, пидарац! — неохотно огрызнулся Симон.

Злость и обида рвали Бениамину сердце, душили и изматывали, требуя возмездия. Отчаянно хотелось курить. Смятая пачка из-под сигарет лежала в углу камеры, рядом, в квадрате лунного света, сложив на пузе лапки и совершенно не боясь его, сидела на попе толстая мышь и глядела на него темными глазами-бусинками. Бениамин какое-то время удивленно наблюдал за ней — он и подумать не мог, что мыши умеют так сидеть, а потом кинул в нее сандалией. Мышь юркнула в угол, но почти сразу же вернулась и, расположившись на прежнем месте, вперила в него сосредоточенный взгляд.

— Ну и черт с тобой! — выругался Бениамин и, повернувшись на другой бок, притих. Так он и пролежал до утра, не смыкая глаз и думая о том, в какую вязкую и непролазную муку превратилась его такая простая и понятная жизнь.

Смертоубийства, наверное, не удалось бы избежать, если бы не несчастье, случившееся с Софьей. Вознамерившись достать с верхней полки посудного шкафа тяжелый мельхиоровый поднос, она взобралась на стул, потеряла равновесие и рухнула на пол, да так неудачно, что сломала оба запястья. Из больницы ее выписывать не стали: загипсовали

руки и сразу же положили на сохранение, заподозрив угрозу выкидыша и сотрясение. Рассказала об этом Бениамину пришедшая навестить мужа Меланья — Косая Вардануш побоялась показываться ему на глаза, потому что он пригрозил вырвать ей позвоночник, чтобы она впредь не совала свой нос куда не следует. Бениамин выслушал через решетку Меланью, попросился к телефону, позвонил в больницу, где его заверили, что состояние у жены тяжелое, подозрения на сотрясение подтвердились, и угроза выкидыша высокая — больная закровила и жалуется на тянущую боль в пояснице. Бениамин сразу же выпустили, и он из отделения милиции помчался в больницу, но Софья его видеть не захотела, только попросила передать, что виновата во всем сама и крест свой хочет нести одна. Санитарка, вышедшая поговорить с ее мужем, видя его состояние, не решилась напомнить о разводе, хотя Софья несколько раз повторила и даже заставила ее поклясться, что она об этом обязательно скажет.

Дома Бениамина ждала старенькая мать Косой Вардануш. Она накормила его горячим супом, забрала грязную одежду на стирку и ушла, предупредив, что затопила баню.

— Помойся, сынок, а то пахнешь так, будто в навозной яме вывалился!

Он долго терся жесткой мочалкой и обливался обжигающей водой, смывая бессонницу последних дней. Вспоминал, как читал телеграмму, не очень вникая в ее содержание, как, словно в полусне, выбрался за билетами и проехал остановку, как, выйдя из трамвая, не смог сразу сообразить, где оказался: город был не просто чужим, а совершенно

неузнаваемым, словно из параллельного измерения или из вязкого мучительного сна, который никак не оборвется. Ему пришлось несколько раз перечитать расплывающиеся буквы на неоновой вывеске, чтобы наконец сообразить, что это авиакасса. Билетов, конечно же, в свободной продаже не оказалось, и он заплатил втридорога за кривой, требующий двух пересадок, рейс, чтобы вылететь следующей ночью домой. Вспоминая о том, как накрылся в самолете газетой и скулил, жуя пальцы, чтоб не дать себе разрыдаться в голос, он кхекал и отчаянно пытался проглотить неподатливый ком в горле. Думать о случившемся было невыносимо, но не думать было невыносимее.

Помывшись, он тщательно растерся полотенцем, оделся в свежее и сходил в погреб — за тутовкой. Выпил ровно столько, чтобы напиться, но контроля над собой не терять. Долго курил, усевшись на подоконнике, прислонившись спиной к распахнутой настежь створке окна. Наблюдал, как Косая Вардануш вывешивает его выстиранную одежду. Закатное солнце светило ей в лицо, она щурилась и привставала на цыпочки, чтоб дотянуться до веревки, суетливо разглаживала пальцами края сорочки и прищиплиwała ее деревянными прищепками. Подол ситцевого платья задрался, оголив ее крепкие стройные икры и беззащитно-трогательные подколенные ямки. Бениамин с равнодушием думал о том, что не будь она такой несусветной душой, из нее получилась бы хорошая жена, и дети, наверное, пошли бы внешностью в нее — рыжеволосые (рыжие почти всегда перебивают другую масть) и светлоглазые, с тонко вылепленными носами и

высокими скулами. Но Вардануш была одинока: даже красота и ладная ее фигура не в силах были привлечь мало-мальского мужского внимания, потому что глупость ее была того откровенного и непрошибаемого толка, которая ничего, кроме недоумения и даже откровенного отторжения, у людей не вызывает.

Развесив стирку, Вардануш ушла, неся эмалированный, цвета топленых сливок, таз. Ровно в таком тазу Софья варила джем — малиновый и абрикосовый и, если удавался урожай, — крыжовенный, на вишневом листе. Бено судорожно вздохнул. Чтобы вспоминать ту, прошлую, жизнь, нужно было сделать над собой неимоверное усилие. Из ясной череды прожитых дней, по-своему счастливых и беззаботных — по крайней мере теперь те заботы казались до того надуманными и беспричинными, что ничего, кроме горькой ухмылки, не вызывали, — она превратилась в нескончаемую и беспросветную пытку.

Спелые лучи уходящего солнца просвечивали сквозь стирку янтарным золотым, воздух пах обожженным жарой чабрецом и перезрелой, сладкой до одури шелковицей. Бениамин втянул полной грудью этот привычный с детства запах, держал его долго в легких, будто хотел напиться им на годы вперед. Медленно выдохнул. На следующий день он уехал, передав Косой Вардануш все деньги, что у него с собой были, и попросив не оставлять без присмотра Софью.

Девочка родилась, как и было загадано, в феврале. Правда, задержалась почти на две недели и

появилась на свет ранним утром двадцать девятого числа. Чтобы не справлять ее день рождения раз в четыре года, Софья упросила проставить в метрике двадцать восьмое. «Может, первое марта выбрать, разве не лучше, чтобы был весенний день?» — вздернула выщипанные в едва заметную ниточку брови сотрудница ЗАГСа. «Нет, это зимняя девочка», — отрезала Софья.

Беременность она проходила без осложнений. Выписавшись из больницы после перелома, вознамерилась собрать вещи, чтобы вернуться к родителям. Но золовка не дала ей этого сделать. Она выбралась из своей дальней деревни, чтобы уговорить ее остаться хотя бы до той поры, пока Бениамин не даст о себе знать.

— Зачем? Ведь и так все ясно, — дернула плечом Софья.

— Без решения моего брата ты его дом не покинешь! — отмела возражения твердым голосом золовка.

Не в пример своей оскорбленной матери, отрекшейся от невестки, она проявила удивительную чуткость и понимание. За неделю, что прожила с Софьей, не выказала хотя бы малейшего осуждения. Помогала по дому, готовила, закатала десять банок персикового компота. Много рассказывала о своем детстве, о том, как они с братом изводили мать шалостями, а та в наказание лишала их меда — единственной сладости, которая была доступна их бедной семье.

— И тогда Бено воровал мед прямо из улья. Осторожно поднимает крышку, вытащит рамку, отковыряет кусок сот и снова закрывает улей. Что

удивительно — ни разу его пчелы не ужалили. И ни разу он не попался. Зато отец потом диву давался, откуда в сотах берутся такие странные проплешины!

Софья, с детства панически боявшаяся пчел, взвизгивала от ужаса: она даже под угрозой пыток не стала бы приближаться к пасеке.

Золовка меж тем продолжала рассказывать:

— Мы с Беником сначала съедали сворованное, разделив честно пополам, а потом облизывали ему ладони. Мне он всегда уступал правую ладонь, говорил, что на ней меда больше, чем на левой! — И золовка смущенно смеялась.

Софья прислушивалась к нытью в сердце, наливалась слезами. Чтоб не выдавать переживаний, вводила разговор в сторону:

— Неужели отец так и не догадался, что это вы воруете мед?

Золовка прикрывала глаза, молчала, греясь прошлым.

— Конечно, догадывался. Просто не хотел выдавать нас матери, — вынырнув наконец из счастливых воспоминаний, отвечала она.

Собравшись спустя неделю обратно к себе в деревню, она, привстав на цыпочки и поцеловав невестку в щеку, заставила ее покаяться, что та не переедет, пока не поговорит с Бено. И погладила ее на прощание по животу. Софья бы не осталась, если бы не этот трогательный жест.

Всю беременность она проработала в ателье, не обращая внимания на косые взгляды мастериц. Марина продолжала с ней дружить, правда, разговоров о случившемся не заводила, и Софья была

ей за это бесконечно благодарна. Симон теперь в ателье не появлялся, но позвонил ей домой. Сухο поблагодарив за беспокойство и заверив, что ни в чем не нуждается, Софья попросила больше ее не беспокоить. Он пытался еще несколько раз связаться с ней, но она, услышав его голос, бросала трубку.

Когда она родила, Симон отправил с Мариной деньги, однако Софья отказалась их брать.

— Передай, что мне от него ничего не нужно. Марина передала.

Вернулся Бениамин через полтора года, совершенно изменившийся — поседевший и угрюмый, с исчерченным морщинами лицом и потухшими глазами. За время разлуки он ни разу не позвонил жене и оставил без ответа два ее робких письма и поздравительную открытку на день рождения. Деньги, правда, ежемесячно перечислял. Изредка он заказывал междугородний разговор с Косой Вардануш и, пока та, путаясь в словах, пересказывала новости, слушал, прижав плечом к уху телефонную трубку и бесцельно шаря взглядом по посетителям почты, терпеливо дожидавшимся своей очереди. Поблагодарив Вардануш, он отключался, оставив без ответа ее суматошное «может, какое слово Софье передать?». Выкуривал на ступеньках почтового отделения одну за другой две сигареты, стряхивая пепел за перила. Казахское солнце, во сто крат жарче армянского, закатывалось плоским мельничным жерновом за белокаменные дома, шелестели чинары, к остановке, цепляясь бровями за

провода, подъезжал бело-синий троллейбус. Бениамин медленно направлялся к нему, докуривая на ходу сигарету, не беспокоясь о том, что не успеет — спешить ему все равно было некуда.

Вардануш слово в слово пересказывала Софья телефонный разговор, заканчивая одной и той же виноватой фразой: «Тебе он и в этот раз ничего не передал». Софья больно закусывала губу, прятала глаза. Порывалась перебраться к родителям, тем более что они ее настойчиво звали, но в последний миг, вспомнив об обещании, данном золовке, и уступив увещаниям Вардануш, твердящей, что вернуться всегда успеется, передумывала. Спустя годы, оборачиваясь к тем беспросветным дням, она признавалась себе, что, несмотря на беззаветную поддержку родных, продержаться ей помогли только двое: Косая Вардануш и новорожденная дочь.

Девочка, в первые месяцы жизни как две капли воды похожая на Симона, потихоньку стала меняться и к годiku превратилась в копию старшего брата Софьи. Ему это сходство невероятно льстило, и он часто шутил, что они с сестрой, не сговариваясь, поменялись внешностью, намекая на зеркальную похожесть дочерей. Софья не спорила — она с радостью и облегчением узнавала в своем ребенке высокий покаты́й лоб, огромные прозрачные глаза и кривоватую, чуть насмешливую улыбку брата. Ждать пятилетия девочки она не стала и сшила ей из припасенной ткани аж три платьица, одно красивее другого. Дочь выглядела в них нарядной куколкой, но, невзлюбив воланы и рюши, все пыталась их оторвать, а потерпев неудачу — капризничала и хныкала. Софья без

сожаления убрала платица в чемодан, куда складывала всякую ненужную одежду, а потом с okazji ей передала золовке в деревню — она найдет кому их передарить.

Косая Вардануш, обладающая удивительной способностью появляться именно тогда, когда в этом возникала необходимость, несколько раз на дню забегала, чтобы разузнать, нуждается ли она в чем-нибудь. Ненавистную Софье глажку она полностью взяла на себя: забирала гору пеленок и распашонок и возвращала тщательно проглаженные аккуратные стопки. Софья не доверяла ей девочку, да и Вардануш боялась взять ее на руки, но часто помогала при купании, осторожно поливая из ковшика и подавая полотенце. Режущиеся на седьмом месяце зубки превратили жизнь ребенка в нескончаемую пытку — она постоянно температурила, плакала от боли и отказывалась брать грудь. Софья выбивалась из сил, пытаясь хоть немного облегчить ее страдания, однако тщетно: ни выпи-санные врачом лекарства, ни ромашковое масло, ни слабенький раствор соды, которым нужно было обмазывать ноющие вспухшие десны, облегчения не приносили. Однажды, отчаявшись как-либо по-мочь дочери, она безутешно разрыдалась, прижи-мая ее к себе. Вардануш, заглянувшая за очередной партией глажки, нерешительно подошла, склони-лась над надрывающейся в крике малышкой и, при-жавшись губами к ее пылающему лбу, простояла так несколько секунд. Девочка до того резко обо-рвала плач, что Софья испугалась — не потеряла ли та сознание? Она грубо оттолкнула Вардануш и с изумлением обнаружила, что ребенок спит.

— Как ты это сделала? — спросила она шепотом, переводя ошарашенный взгляд с дочери на соседку. Вардануш захопотала лицом — а что я такого сделала-то? И ушла, прихватив с собой очередной ворох простирнутого белья. Если бы не бесконечные заботы, от которых голова шла кругом, Софья призадумалась бы над этой странной историей, но она сразу же выкинула ее из головы — не до того было.

О своем возвращении Бениамин никого не предупреждал. Зашел в дом с таким видом, будто не было пары лет его отсутствия. Сгреб омертвевшую жену в объятия, спросил, срываясь на свистящий шепот, — ждала? Ждала, ответила Софья.

Девочка к тому времени научилась уверенно ходить, лопотала простые слова и, будучи пугливым ребенком, не подпускала к себе незнакомых. Но к Бениамину на руки, после недолгих колебаний, пошла. Он погладил ее по вьющимся младенческим волосам, неловко провел шероховатым пальцем по нежной розовой щечке — она поморщилась, но не отстранилась.

— Как назвала?

— Василисой.

— Ка-а-ак???

— Как слышал! — встопорщилась Софья, вызвав невольную улыбку мужа. «Была бодливой козой и осталась ею», — подумал он, подставив щеку девочке, которая принялась шлепать по ней пухлой ладошкой.

— Фамилию чью дала? — как бы между делом спросил он.



— Твою, — просто ответила Софья и расплакалась, — я думала, ты не вернешься.

Он помолчал.

— Я же обещал не бросать тебя.

Так они снова стали жить вместе. Бениамин о прошлом никогда не упоминал и жену, однажды заикнувшуюся было о случившемся, жестко осадил — не бери ран! Она умолкла на полуслове, ругала себя потом за бестактность. Не сказать что муж сильно изменился, если только посуровел, однако суровость эта казалась напускной и делала его совершенно уязвимым, и именно за эту уязвимость она его совсем по-новому полюбила — бережной, трепетно-виноватой, но от этого не менее крепкой и преданной любовью.

Спустя пять лет у них родились мальчики-близнецы, которым они, не сговариваясь, определили имена дедушек. Бениамин разницы между детьми не делал, любил всех одинаково сильно. Софья выглядела вполне счастливой, и таковой она, в сущности, и была, но иногда, когда никто этого не видел, она вытаскивала из глубокого деревян-

ного сундука стопки постельного белья, извлекала спрятанную от посторонних глаз продолговатую шкатулочку с нитью искусственного жемчуга, которую она никогда не носила, но очень берегла. Ожерелье ей на прощание подарил Симон, попросил надеть, отошел на шаг и долго, по-детски восторженно любовался ею, называя богиней. Софья не сомневалась, что, если бы не роман с ним, она бы никогда не смогла родить. Порой ей казалось, что и Бениамин это знает, и мысль об этом наполняла ее сердце робкой радостью. Она долго сидела, блуждая рассеянным взглядом по комнате, не узнавая ее очертаний, перебирала круглые, перламутрово мерцающие бусины — и улыбалась своим воспоминаниям. И лицо ее, внезапно помолодевшее и похорошевшее, озарялось ласковым внутренним светом.

О том, что Бениамин не ее родной отец, Василиса узнала поздно, но значения этой новости, к вящей радости своих родителей, не придавала. Для себя она раз и навсегда решила, что отец — это тот, кто вырастил и всегда был рядом. С Симоном желания общаться она никогда не выказывала, но и не таила обиды и, столкнувшись с ним случайно на улице, с уважением здоровалась. Однако неприглядный слух о ее рождении, тоскливый и назойливый, словно летающая над вазой с подгнившими фруктами мошкара, неотступно преследовал ее всю жизнь. Василиса его близко к сердцу не принимала. Как и не обращала внимания на второй, зародившийся много позже и не менее упорный

слух о том, что ее муж, человек городской и знаменитый и, как следствие, избалованный женским вниманием, бросил ее ради молодой подающей надежды актрисульки. Она не развенчивала этой сплетни и матери запретила с кем-либо ее обсуждать. Лишь братьям, к тому времени достаточно взрослым, чтобы верно все истолковать, открыла причину краха собственной семейной жизни. Братья скривились, поскрипели желваками, помолчали, раздумывая, как быть дальше, потом велели ей собираться и переезжать обратно в Берд. И, не дожидаясь ее согласия, приехали за ней в Ереван. Муж Василисы препятствий ее отъезду не чинил, лишь попросил позволения хотя бы дважды в год видаться с сыном.

— Можешь хоть пять раз видаться, но только под нашим присмотром, ясно? — поставил ему условие младший близнец. В отличие от вдумчивого и размеренного старшего брата, он был крайне вспыльчив и стремителен в действиях и решениях.

— Это почему же? — последовал оскорбленный вопрос.

— Тебе еще нужно объяснять почему? — набычился младший близнец, хрустнув пальцами.

Муж Василисы, известный на всю страну скрипач-виртуоз, к тридцати годам открывший в себе интерес к собственному полу, спрятал за спину руки и испуганно попятился к стене. Василиса встала между ними, взмолилась — не трогай его, он же не виноват, что так вышло, он ведь не специально!

— Мог голову тебе не морочить и сразу пускаться во все тяжкие на другом... берегу! —

И брат сделал неприличный жест рукой, указывая местоположение другого «берега». Василиса цокнула языком и дернула его за ухо — остолоп!

— Собирай вещи, я внизу подожду, — буркнул тот и, подхватив под мышку племянника, устремился во двор, проигнорировав лифт и грохоча по каменным подъездным ступенькам тяжеленными ботинками. «Быстрее! Еще быстрее!» — заливался трехлетний племянник, визжа от восторга.

— Давай собираться, — со вздохом предложил старший близнец и, бесцеремонно подвинув горезятя плечом, прошел в комнату.

Вернувшись в Берд, Василиса долго переживать не стала и сразу же нашла себе работу. Устроившись в музыкальную школу, она взялась руководить детским оркестром. Чуть ли не половину свободного от занятий времени проводила в городской управе, выбивая для своих подопечных то новые музыкальные инструменты, то экскурсии, то гастроли. Однажды ей даже удалось вывезти школьный оркестр в Норвегию, и эта поездка стала причиной зависти и притчей во языцех среди прочих музыкальных школ области, директора которых никак не могли взять в толк, как ей удалось такое провернуть. Василиса пожимала плечами и повторяла, что для успеха нужны всего две составляющие: упорство и любовь к делу, которым занимаешься. В управе, кстати, ее хоть и побаивались, но уважали именно за это ее упорство и ответственное отношение к работе.

Несколько раз в году она ездила в Ереван по рабочим делам и обязательно брала с собой сына, давая бывшему мужу вдоволь пообщаться с

ним — к большому недовольству братьев, так и не смирившихся с метаморфозами, приключившимися с их бывшим зятем. Софья, благодаря природной женской смекалке догадавшаяся об истинной причине развода дочери, держала язык за зубами и не терзала ее расспросами. И лишь Бениамин, к тому времени переживший инфаркт и ведущий, по настоянию врачей, бережный образ жизни, пребывал в счастливом неведении. Иногда, расстроенный одиночеством дочери, он попрекал ее тем, что она не попыталась сохранить семью.

— В следующий раз обязательно сохраню, — отшучивалась Василиса.

— А будет этот следующий раз? Мужиков-то кот наплакал, раз-два и обчелся! — не успокаивался Бениамин. Дочь обнимала его, прижималась щекой к груди, прислушиваясь к биению отцовского сердца.

— Нудишь и нудишь, старик, — тянула с улыбкой она.

— Есть такое дело, — легко соглашался Бениамин.

Вторым избранником Василисы стал правнук старой Катинки Баграт, которого друзья в шутку, вспоминая сериал с Эдрианом Полом, называли Горцем, намекая на его живучесть. В том, что Баграту суждено стать долгожителем, никто из бердцев не сомневался. Причем говорили они об этом с поразительной уверенностью, в которой нет-нет да и проскальзывала едва уловимая нотка зависти: все же не каждый в состоянии смириться с мыслью, что кому-то из ровесников дано прожить значительно

дольше, чем тебе. Расхождения наблюдались лишь в количестве отпущенных Баграту лет. Цифры варьировались между ста и ста пятьюдесятью, обезоруживая неподготовленного собеседника ничем не объяснимой иррациональной непоколебимостью. А порой, что гораздо необъяснимей, еще и точностью. К примеру, Косая Вардануш утверждала, что Баграт проживет сто двадцать восемь лет и четыре месяца и умрет в день летнего солнцестояния. И никакие доводы, что рожденному в мае человеку в июне никак не может исполниться сколько-то там лет и именно четыре месяца, не могли сдвинуть ее с этой таинственной цифры (которая к тому же, как она уверяла, приснилась ей в полнолуние). О том, что именно ей приснилось, соседка Софья молчала, утверждая, что вещие сны пересказу не подлежат, иначе они не только не сбываются, но и могут навредить тому, кого они касаются. Софья, которая в своем зяте души не чаяла — и такое иногда случается в бердских семьях, — от слов соседки отмахивалась, мол, не верит во всякую ерунду, но, дождавшись, когда она уйдет, обязательно читала две молитвы: одну за здоровье зятя, вторую — за то, чтобы Вардануш и дальше держала язык за зубами.

— Иисус Христос, пусть она никому про свой сон не проговорится! — молила она, подняв глаза к небу и подробно осеняя себя крестом.

И неизменно добавляла, скосив взгляд вбок и боязливо сложив на груди руки таким образом, чтобы прикрыть те места, к которым прикасалась троеперстием:

— А если вдруг захочет проговориться — пусть у нее отнимется язык!

С годами Софью стало раздражать назойливое простодушие Вардануш и ее привычка везде и всюду совать свой нос. Правда, недовольство она тщательно скрывала, донимаемая чувством вины, которое испытывала перед этой, в общем, безобидной женщиной, единственным прегрешением которой было ее непотопляемое желание причинить добро всем и каждому.

— Не забывай, сколько всего она сделала для твоей семьи! — напоминала она себе всякий раз, завидев торопящуюся куда-то Вардануш. Она научилась по выражению лица и походке соседки определять, когда та спешила на помощь: взгляд прищурен и смотрит дулом заряженного пистолета, руки по-куриному растопырены, а остро торчащие локти ходят вперед-назад, придавая скорости и уверенности шагу и одновременно сигнализируя прохожим — расступись! С возрастом Вардануш высохла и осунулась, но не согнулась, а наоборот — вытянулась кормовой мачтой и налилась нездоровым румянцем — донимало высокое давление. Игнорируя советы врачей, она лечилась корешками и настоями, которые сама же заваривала и настаивала на кизилровке. Похоронив мать, она стала совсем чудаковатой, мало с кем общалась, могла днями не выходить из дому. Впрочем, одну ее никогда не оставляли — кто-нибудь из соседей обязательно заглядывал, чтобы убедиться, что все в порядке. Софья дважды в неделю носила ей хлеб, отварное мясо, немного тушеных овощей и крохотную головку козьего сыра, но поручиться, что она все это съедает, не могла. Умудряясь не терять живости и бодрости духа, Вардануш таяла на

глазах. Казалось, если поставить ее напротив дневного света, он беспрепятственно пройдет сквозь нее. «И даже тень отбрасывать не станет», — озабоченно думала Софья, окидывая жалостливым взглядом истончившуюся до прозрачности кожу соседки, выступающий рисунок вен и капилляров. Косая Вардануш, проследив за ее взглядом, улыбалась щербатым ртом: «Красиво, да?» «Красиво», — со вздохом соглашалась Софья. «Как Васик?» — обязательно интересовалась Вардануш. Имя Василисы бердцы, чтоб не ломать языки, переделали на свой лад. «Хорошо», — оживлялась Софья, готовая говорить о своих детях всегда, и обстоятельно рассказывала о дочери и сыновьях.

«А как Баграт?» — аккуратно выпрашивала Вардануш.

— Не начинай опять про свой сон!

Вардануш протирала сухонькими ладонями лицо. Смотрела отрешенно, сквозь. Старость растушевала ее когда-то рыжие волосы блеклой медью, обесцветила глаза, придав ее облику выражение горькой обреченности.

«Все мы когда-то умрем», — думала Софья, с облегчением покидая дом соседки. Визиты к ней давались с большим трудом.

— Будто в склепе побывала, — жаловалась она потом Бениамину.

Убежденность людей в том, что Баграт проживет сто с лишним лет, объяснялась местным преданием, гласившим, что, если человеку удастся дотянуть до своего тридцатилетия, обманув смерть семь раз,

жизни ему отпущено будет в два раза больше, чем остальным. Судя по тому, сколько раз удавалось водить смерть за нос Баграту, жить ему предписано было столько же, сколько библейскому патриарху Ною, который, если верить Священному Писанию, совсем немного не дотянул до своего тысячелетия.

Родился Баграт еле живым — мало того что шел вперед ножками, да еще так туго обмотался пуповиной, что акушерке пришлось кромсать ее как попало, лишь бы не дать младенцу задохнуться. К пяти годам он переболел всеми болячками, которые только могут подцепить дети. От кори и ветрянки чуть богу душу не отдал. Два раза тонул в речке, глубина которой приходилась взрослому человеку по колено. Падал с дерева вниз головой, выбил два передних зуба, спасибо, что обошлось без сотрясения. Чуть не погиб в крохотном, величиной с блюдце, болоте, которых в окрестностях Берда испокон веку не водилось и лишь однажды, после неслыханно дождливого сентября, тем не менее случилось. Опрокинул на себя таз с горячим инжирным вареньем. Едва оправившись от ожогов — тяжело отравился баклажанной икрой. Главное, ели ее всей семьей, включая замшелого, дышащего на ладан прадеда, а отравился только он. В седьмом классе Баграта сбил грузовик. В десятом, на выпускном школьном вечере, ударило током так, что на всю жизнь остался глубокий темно-алый рубец, тянувшийся от указательного пальца к предплечью. Армейскую службу он проходил на суровом горном перевале. Землянку, в которой находился, накрыло снежной лавиной. Пока солдаты откапывали его с этого конца завала, он выбрался с другого —

живой и почти невредимый, с обмороженными пальцами левой ноги и сломанной ключицей. От перевода в безопасную военную часть отказался, дослужил оставшийся год на высоте, в последний день подхватил какой-то вирус и слег с тяжелейшей пневмонией, из-за чего домой вернулся спустя месяц после дембеля, бледно-прозрачной тенью. Навестившая его Косая Вардануш рассказывала всем, что бедный мальчик, очевидно, не жилец.

— Видели бы вы его проваленные глаза и торчащие ребра! — причитала она, скорбно опустив уголки рта и колотя себя в грудь костлявым кулаком.

Именно тогда люди и вспомнили о предании и принялись утверждать, что, если Баграту удастся продержаться до тридцатилетия, дальше с ним ничего плохого уже не случится.

— Главное — доживи, бала-джан! — повторял каждый встречный, похлопывая Баграта по худющему, остро выпирающему не вбок, а вперед плечу. Тот слабо улыбался и обещал не подвести. И слово свое, на удивление, сдержал. Потихоньку пошел на поправку, стал ездить на подработки в Ереван, а потом и вовсе перебрался туда — учиться на зубного техника. Вернулся высоченным и крепким красавцем, и даже легкая хромота, которую он приобрел после ампутации обмороженных пальцев, выглядела не недостатком, а скорее дополнительным штрихом к его обаятельному облику.

Девицы на выданье все как одна сохли по нему, но заводить отношения не спешили. Да и Баграт особо не стремился, из суеверного страха оставить какую-нибудь бедняжку молодой вдовой. «Вот как

стукнет тридцать — так и отправим сватов в дом той девушки, которую одобришь», — подшучивал он над встревоженной матерью. Тамара вздыхала и, перебирая в голове беды, через которые суждено было пройти ее первенцу, молила лишь о его здоровье. А женится он или нет — дело двадцатое, жив — и на том спасибо.

Может, материнские молитвы достигли небес, а может, сама смерть, удрученная многочисленными неудачами, махнула рукой и отступила, или же — почему нет? — древнее предание вступило в силу, но с того дня, как Баграту исполнилось тридцать лет, в судьбе его наконец-то настало благословенное затишье. Специалистом он оказался отличным, так что на нехватку работы и денег не жаловался, более того — содержал мать и помогал младшей сестре, вышедшей замуж за нищего лицейского преподавателя. Здоровье его вконец выправилось: если не принимать в расчет несколько незначительных простуд, до конца своих дней он никогда больше не болел. И семейная его жизнь устроилась на редкость счастливо. Они с Василисой оказались идеальной парой и совпадали не только благодарным отношением к жизни, но даже внешне были очень похожи: оба рослые, говорливые и улыбчивые, с лучистыми желто-карими глазами и выющимися в крупный локон тяжелыми волосами. Тамара сначала расстроилась, узнав, на ком остановил выбор ее сын (виданное ли дело — при таком количестве незамужних кандидаток предпочесть разведенную с ребенком), но сноху приняла, а спустя время, узнав ее лучше, искренне пугалась, когда представляла, что Баграт мог сделать иной выбор.

Спустя полтора года Василиса родила близняшек, и крохотные, как две капли похожие на бабушку девочки наполнили сердце свекрови ощущением безграничного, ни с чем не сравнимого счастья. Она наконец-то позволила себе выдохнуть и радоваться без оглядки, не беспокоясь за сына.

И казалось, что ничего плохого не должно больше случиться. Но судьба решила по-своему. На пятый год рождения близняшек одного шебутного мальчишку понесло через дорогу, под колеса проезжающей машины, которая, резко вильнув в сторону, съехала с проезжей части и, пробив перила моста, сорвалась в реку. За рулем машины сидел Баграт, а мальчишкой оказался старший внук Симона.

В утро летнего солнцестояния страдающая бессонницей Софья застала Косую Вардануш плачущей во дворе своего дома. Она не сразу ее заметила, потому что та сидела на скамейке под тутовым деревом, заслоняющим ее широким шишковатым стволом. Время было раннее, невыспавшаяся после беспокойной ночи Софья вышла на веранду — посидеть в предрассветной тишине. Она устроилась в кресле, накинула на ноги плед, сложила на груди руки таким образом, будто убаюкивала себя. Иногда, измученная бессонницей, она засыпала так, и Бениамин старался не шуметь, собираясь на работу. Он наспех завтракал и, осторожно прикрыв за собой дверь, уходил, поцеловав жену в легкие волосы. От этого поцелуя она обыкновенно и просыпалась, но глаза не открывала и ждала, когда скрипнет, захлопываясь, калитка. И лишь тогда Софья поднималась и, выпив свой утренний кофе,

принималась за домашние дела. Вот и в то несчастное утро, умаянная бессонной ночью, она вышла на веранду в надежде хоть немного поспать. Расположившись удобно в кресле и укутав ноги теплым пледом — июнь хоть и был по-летнему жарким, но ночью убавлял зной и ощутимо прохолаживал воздух, она закрыла глаза и сразу же открыла их — встревоженная чьими-то горестными всхлипами. Вардануш обнаружилась на скамейке. Она сидела, сильно сгорбившись, уронив руки на колени, и плакала, не утирая мокрого лица. Беспреданно текущие слезы оставляли на ее прозрачных, подернутых морщинами щеках розовые полосы, раздражая истончившуюся, почти бумажную кожу.

— Что случилось, Вардо-джан? — перепугалась Софья.

Соседка зарылась лицом в ладони, горестно выдохнула:

— Сон плохой приснился, Софо-джан. О твоей семье.

Софья мгновенно перепугалась. Села рядом, потребовала пересказать сон. Вардануш покачала головой — не могу, иначе сбудется. Воде рассказала, печной золе рассказала, под петушиный крик рассказала — все равно этого петуха на убой, замучил горланить. А вот тебе не стану, и не проси...

И, поднявшись со скамейки, она устремилась к калитке, приговаривая сквозь всхлипы: «Пойду я лучше отсюда, зря пришла, пойду».

— Ты бы хоть намекнула, кого сон касался. Может, я бы смогла уберечь! — взмолилась Софья. Но Вардануш безмолвствовала.

— И зачем тогда приходила?! — зло крикнула ей в спину Софья. Вардануш сникла плечами, опустила голову, но оборачиваться не стала.

Уснуть, конечно, Софья не смогла. Сбегала в часовню, поставила свечи. Вернувшись, несмотря на раннее время, обзвонила детей, удостоверилась, что все у них в порядке, попросила беречь себя. Близнецы отшутились, Василиса, позевывая, отчитала шепотом — рядом спали девочки: «Мам, ну как ты можешь верить во всякую чушь?!»

— Так то не я, то Вардануш, — заоправдывалась Софья.

— Нашла кого слушать! Дурочку!

— И то верно, дочка, — обрадовалась Софья и, успокоенная, пошла накрывать стол к завтраку.

К полудню Баграта не стало.

Едва справили сорок дней, Василиса засоби-
ралась с детьми в Ереван. Бывший муж, получив приглашение в Королевский филармонический ор-
кестр, перебрался в Лондон, оставив ей свою квар-
тиру. На мольбы родных не уезжать она ответила
твердым отказом — было невыносимо оставаться
в городке, который напоминал о тяжелой утрате.
Софья, понадеявшись, что это может удержать
дочь, и попросив не проговориться братьям и отцу,
рассказала, что Симон все эти годы тайно ей по-
могал.

— Дочка, видишь, как много людей тебя здесь
любят. Я, папа, братья. Даже Симон, хоть и незри-
мо, был рядом. Деньги через Вардануш передавал.
На тебя. На коляску для близняшек. И на могиль-
ный камень Баграта... — перечисляла она, загибая
пальцы.

— Мама, не надо, — тихо попросила Василиса, и Софья впервые заметила, до чего она похожа на Бениамина: выражением лица, жестами и даже тем, как скользнула, словно ударила, тяжелым взглядом и, будто бы опомнившись и пощадив, спешно отвела глаза.

Потом, уже после переезда дочери, когда Софья по своему обыкновению сидела на веранде и, прислушиваясь к звукам просыпающейся природы, пыталась вздремнуть, в ее памяти всплыл тот старый разговор с Косой Вардануш о вещем сне, о котором нельзя никому рассказывать, иначе Баграг проживет меньше отпущенного ему срока.

— Неужели проговорила? — сквозь вязкий сон подумала Софья, но сразу же отогнала эту мысль — если даже проговорила, судьбу человека разве этим можно изменить?

Что касается бердцев, они много раз, цокая языком и удрученно качая головой, обсуждали причудливые узоры, которые рисует на полотне жизни провидение. Никто из них не сомневался, что приключившаяся много лет назад недолгая связь Симона и Софьи была задумана для того, чтобы однажды, вычурно переплетаясь судьбами, прийти к подобному горькому финалу. Но никому из них в голову не приходило усмотреть в том горьком финале хоть малейшее осуждение небес. Какое может быть осуждение, когда именно из таких печальных, радостных и полных страдания дней и складывается вся человеческая жизнь.

РИСУНКИ



В третьей аптеке тоже не оказалось берушей. Провизор, полная девушка с круглыми детскими щеками и едва заметным пушком над верхней губой, виновато развела руками — вчера закончились.

— С каких это пор армяне полюбили беруши? — не стала скрывать раздражения Сусанна.

— Не то чтобы полюбили, просто поставляют крохотными партиями. Вот и разлетаются.

— Так заказывайте больше!

— Заказываем. А толку? Все равно привозят в лучшем случае с десяток упаковок.

Сусанну подмывало выпалить колкость, но она прикусила язык — уж за поставки точно не провизорше держать ответ! И все же, выйдя из аптеки, она со злорадством подумала о ее полноте и усах. Совсем еще молодая, но успела заработать проблемы с гормонами. К сорока годам превратится в расплывшуюся, страдающую одышкой потливую

квашню. Хорошо, если замужнюю. Благоверный небось станет волочиться за каждой юбкой и изменять жене при первой возможности. Хотя поводов для ревности давать будет мало: сам-то, поди, не Ален Делон. Алены Делоны на таких толстухах не женятся.

Буря, бушующая в Аравийской пустыне, подхваченная ураганным ветром, достигла юга Армении. Солнце раскалило добела крыши домов. Нестерпимо жаркий воздух (казалось — чиркни спичкой, и он мгновенно загорится) царапал небо. Песок лез из всех щелей, раздражая свирепой настойчивостью. Придорожные кафе убрали с открытых веранд столики, иначе песчаная крупа умудрялась испортить блюдо за то короткое время, пока официант нес его клиенту. В закрытых помещениях было чуть легче из-за постоянно работающих вентиляторов. Столы приходилось протирать каждые пять минут, еду подавать под крышкой, а любые напитки — в штофах. Кофе же приносили в узкогорлой джезве. Люди разливали его по чашкам и, обжигаясь, мгновенно выпивали, проклиная непродыхаемую летнюю жару.

Сусанна зашла в первое попавшееся кафе, купила бутылку ледяной воды и слойку с лимонным кремом. Слойку съела там же, а воду взяла с собой. Идти было недалеко, но по самому пеклу, от которого не спасали ни платки, ни зонты. Она прихлебывала из бутылки частыми глотками, чтобы не допустить обезвоживания — в противном случае дико разболится голова. К тому времени, когда дошла до дома, остатки воды нагрелись до тошнотворной теплоты. Пришлось вылить их в раковину,

а бутылку задвинуть в дальний угол шкафчика под мойкой: иначе свекровь, обнаружив ее, скривится в кислой гримасе — опять потратила деньги на ерунду! Обычно Сусанна отмалчивалась, чтобы не доводить до скандала, но иногда отвечала с откровенной грубостью — не ваше собачье дело, на что хочу, на то и трачу свои деньги! Свекровь разевала рот, будто гармонь до упора растягивала, и заводила свою привычную песню про невестку-деревенщину, непонятно за какие грехи доставшуюся ее непутевому сыну. Сусанна словно того и ждала: встав в боевую позицию, она принималась с меткостью игрока в теннис отражать нападки, стараясь ударить побольней. Свекровь, понимая, что не справляется, пыталась брать громкостью, но быстро выдыхалась и, оглушительно хлопнув дверью, уходила к соседке — изливать душу. Сусанна же, накапав себе полчашки валерьянки и переведя дыхание, принималась за работу. Предварительно распахнув окна, она натягивала на продолговатые деревянные рамы шелковую ткань, подкладывала под нее трафареты с узором, наводила тонкий контур закрепителем и, дав ему подсохнуть, раскрашивала специальными красками. Расписанные гранатами, абрикосами и глиняными кувшинами платки с большой охотой приобретали туристы, коих в Эчмиадзине, где находился Кафедральный собор Армянской апостольской церкви, в любое время года было вдосталь. Деньгами от продажи платков и кормилась семья: свекровь, две дочери и муж, заработавший себе тяжелую болезнь позвоночника.

Под мастерскую Сусанна определила крохотную угловую комнатку, в которой свекровь

раньше хранила всякий ненужный хлам. Сменив витражную дверь на плотную дубовую — чтобы запах краски не пробирался в остальные комнаты, она проводила там дни напролет. Каждые два часа делала небольшие передышки, чтобы дать отойти онемевшей руке. Перекусывала чем-нибудь незначительным, выпивала чашечку кофе, выкуривала сигарету-другую — и снова возвращалась к работе. Едкий закрепитель жег лицо и отравлял легкие бензинными парами, но Сусанна, игнорируя головокружение и резь в глазах, продолжала рисовать. Если не брать в расчет копеечную пенсию свекрови и редкие заработки мужа, ее работа являлась единственным источником дохода семьи.

Львиная доля росписи приходилась на конец осени и зиму, когда туристов было сравнительно мало и можно было порисовать впрок. В апреле Сусанна вынуждена была прерываться из-за разыгравшейся аллергии. Оставшись без привычного занятия, она раздражалась, скандалила со свекровью, была излишне требовательна к учащимся в начальной школе дочерям, которым математика давалась со скрипом. Но больше остальных доставалось мужу, вынужденному выслушивать ее нескончаемые жалобы на ухудшившееся здоровье и беспросветные будни. Накрутив себя упреками и претензиями до предела, она могла больно ударить его словом, обозвав бесхребетной скотиной или же нахлебником. Он мрачнел, отмалчивался. Иногда, не вытерпев, бросал в сердцах: ты же видишь, я делаю все, что могу. Тогда она, засовестившись, умолкала. Он не упрекал ее, но с каждым разом тускнел и делался молчаливее. Редкая возможность выйти

на работу превращалась для него в праздник — он тогда старался задерживаться в автомастерской, где нашел себе подработку, допоздна, чтобы вернуться к тому времени, когда жена уже спала. Однако он ее любил и, если она уезжала, отчаянно по ней скучал. Он был единственным, кто знал и понимал ее, как никто другой.

Перебравшись в Эчмиадзин двадцать с лишним лет назад, Сусанна так и не смогла привыкнуть к его климату. Нестерпимо жаркие лета и промозглые, пробирающие до костей бесснежные зимние ветра доводили до отчаяния и нагоняли тоску. Здоровье тоже не особо радовало: аллергия, которой она страдала с детства, с годами превратилась в настоящее испытание, и сезон цветения приходилось проводить взаперти. Сусанна непрестанно кашляла и чихала и расчесывала до крови покрытые коркой экземы подколенные ямки и сгибы локтей. Лекарства и строгая диета не помогали, выезды на море и лечение в санаториях тоже облегчения не приносили, а порой даже усиливали симптомы. К середине мая аллергия наконец отступала, чтобы, напоминая о себе сухим раздражающим кашлем и высыпаниями, вернуться к следующей весне новыми тяжелыми приступами.

Песчаная буря Аравийской пустыни превратила Араратскую долину в настоящее пекло. Зной прокатывался скрипучим колесом по ссохшимся дорогам, поднимая клубы пыли и пустынного песка. Аисты, покинув гнезда, ютились под крышами домов. Окрепшие птенцы, к тому времени научившиеся уверенно летать, отказывались сами добывать питье, вынуждая родителей таскать из птичьих

поилок в клювах воду. В оконные щели, шурша ядовитой змеей, пробиралась жара. Молчали вороны — вестники дождей, попрятались по подвалам, заключив временное перемирие, дворовые псы и коты.

Девочки благоразумно были отправлены к проживающей в Боржоми двоюродной тете. Свекровь скоро должна была присоединиться к ним. Муж чуть ли не сутками пропадал на работе, но особых денег не приносил. И Сусанна вынуждена была, преодолевая чудовищную жару, разрисовывать платки и разносить их по частным лавочкам. Работала в тяжелом от влаги кимоно, обмотав голову мокрым платком.

Она с детства не выносила посторонних звуков, потому завела привычку не только спать, но и работать в берушах. Закупалась ими по возможности впрок, хранила чуть ли не в каждой комнате квартиры. Но знойный август, видимо, внес коррективы в доставку медицинских средств, потому вот уже вторую неделю она не могла купить новых берушей. Ругая себя за то, что неосмотрительно выкинула старые, Сусанна, вернувшись домой, первым делом взялась мастерить беруши по собственному методу, придуманному много лет назад: растопила на водяной бане пчелиный воск, перемешала его с небольшим количеством парафина и ватными комочками, убрала в холодильник, чтобы дать им схватиться. Самодельные беруши сильно уступали в качестве покупным, но хоть как-то спасали от шума, который она физически не умела переносить.

Если пройти Садовую улицу до середины и встать к Хали-Кару спиной, слева от себя, в крохотном отростке дороги, можно обнаружить три необычных строения, сильно отличающихся от остальных жилищ. Одно из этих строений смахивает на полуразрушенный и кое-как восстановленный скворечник — с лежащим на боку подгнившим частоколом, заколоченной некрашеными досками верандой и запыленными окнами. Нужно сильно постараться, чтобы разглядеть фасад дома, почти полностью скрытый непомерно разросшимся одичалым садом. Второй дом представляет собой бессмысленное нагромождение пристроек. Северную сторону забора подпирают колючие кусты ежевики, на которых, если как следует приглядеться, можно и зимой обнаружить подмороженные сладчайшие ягоды. Правда, каждую такую ягоду кусты уступают с боем, исцарапав руки до крови. Противоположную сторону венчают пики воткнутой в землю кольев, за которые, цепляясь, поднимается в полный рост зеленая фасоль. Там же можно различить стебли кукурузы с туго спеленутыми валиками рыжеволосых початков. Задний двор обнесен, словно загон, сеткой-рабицей, за которой обитает домашняя птица: куры, цесарки, индюки, гуси. Калитка в любое время суток заперта на основательный засов — неслыханное для этих мест явление. Не только запертой калиткой, но и всем своим мрачным видом — бестолковой архитектурой, замкнутым пустующим двором и наглухо задвинутыми ставнями — этот дом требует обходить его стороной. Гости там редки и чаще всего случайны.

Третье строение сочетает в себе качества двух предыдущих: оно отталкивающе нелюдимо и безнадежно запущено. Забившись в дальний угол косой улочки, оно прячется от праздных взглядов за диковинным, собранным из всякого подручного материала глухим забором. Иногда, устав от шумных игр, детвора забегает сюда на недолгое время, чтобы с присущей ей безрассудной тягой к разрушению попытаться отколупать какую-нибудь деталь того забора: заржавелую дверцу допотопной машины, днища прохудившихся медных чанов, лотки лопат и ненужную, натасканную со свалки арматуру. Потерпев неудачу, она убегает, гогоча во все горло и свистя. Как только многоногий топот утихает, дверь одноэтажного смурного дома приоткрывается и оттуда выскальзывает высокий и худущий седовласый мужчина. Выйдя на улицу, он какое-то время стучит молотком по забору, выпрямляя гнутые детворой углы разномастных деталей, а потом торопливо уходит в дом, вытирая потные руки о засаленные бока брюк. Приподнятый край выцветшей, не стиранной годами шторки, из-за которой все это время пристально наблюдали за мужчиной, с облегчением опускается. Пройдя в темную прихожую в грязных башмаках, мужчина тщательно запирает за собой дверь. И битый молчу, смахивающий на плохо сколоченный сарай дом погружается в привычное безмолвие.

Спустя годы, оборачиваясь на свое детство, Су-санна все больше убеждалась в том, что в любом человеческом поселении, не имеет значения — захолустная это деревенька и огромный город, обязательно найдется проклятое место, этаким бермуд-

ский треугольник, где уровень гнуса, сумасшествия и грязи превышает обычный в разы. Мимо подобного места хочется пройти как можно скорее, задержав дыхание и опустив глаза. Именно так поступают люди, обнаружив на дороге искалеченный проехавшей машиной труп животного. Поборов подступившую к горлу тошноту и запретив себе сочувствовать, они торопливо отворачиваются и тут же занимают свое внимание каким-нибудь пустяком, перебивая горькое послевкусие. По той же причине сложный, многожды изученный именитыми учеными инстинкт самосохранения мгновенно срабатывал на том пятачке Садовой улицы, который можно было обнаружить по левую от себя сторону, если встать на полпути к Хали-Кару спиной. Местные обходили его стороной, приезжие же, учуяв царящую там гнетущую атмосферу, старались как можно скорее его покинуть.

Первый дом того пятачка принадлежал одинокой безымянной женщине. Имя у нее, конечно же, было, но все ее так и звали — Безымянная. Третий дом принадлежал репатриантам, брату и сестре. А в доме со множеством бестолковых пристроек проживала семья Сусанны: отец, мать, младший брат и бабушка с двумя незамужними великовозрастными дочерьми. В народе этот крохотный отросток Садовой улицы называли проклятым местом и делали вид, что на карте мира его не существует.

Спален в доме было три. В двух ночевали тетки, а в третьей — бабушка с обоими внуками. Ее спальня была самой просторной, но выходила окнами на

задний двор, так что беспокойный птичий гомон будил Сусанну в самую рань. Подправив край одеяла трехлетнего брата — спали дети валетом на узкой панцирной кровати, она зарывалась головой под душную подушку и несколько бесконечных минут пыталась уснуть. Промаявшись и смирившись с тем, что сон безвозвратно улетучился, она выбиралась из-под подушки, ложилась на бок с таким расчетом, чтобы не видеть спящей бабушки, и сквозь узкий просвет между шторами наблюдала, как, уступая просыпающемуся солнцу, пятится к краю неба ночная темь. Во дворе с претензией кулдыкали индюки, квохтали куры, выводил самовлюбленные рулады петух. Где-то, протяжно мыча, звала хозяйку на дойку корова, ей обеспокоенно вторили козы. Наконец порыв сквозняка пускал в комнату колечко сладкого печного дыма. Сусанна мгновенно расцветала — это означало, что мама проснулась и поставила чайник. С превеликой осторожностью поднявшись с постели, она забирала одежду и, ступая по широким половицам так, чтобы те не скрипнули, направлялась к выходу. Край зрения выхватывал контуры тела бабушки: полуоткрытый впалый рот, сложенные на большом животе руки, задранный подол ночной рубашки, узловатые пальцы ног, страшные, покрытые грубой коркой подошвы. Сусанну подмывало распрямить сбившееся одеяло и накрыть ее с головой, чтобы она своим безобразным видом не пугала проснувшегося внука, но девочка опасалась, что разбудит ее, а этого очень не хотелось. Когда бабушка спала, она не произносила ни слова. А на свете не было ничего желаннее ее молчания.

Говорила она без умолку, мерным монотонным голосом. Если не прислушиваться, казалось, что дождь по подоконнику стучит. От ее голоса клонило в сон. Сусанна, чтоб не клевать носом, представляла лето, ледяной ручей, скачущего по стенам солнечного зайчика. Мечтала научиться спать с открытыми глазами. Но бабушке важно было находиться в центре всеобщего внимания, потому, переводя взгляд с одного собеседника на другого, она ревниво следила, чтобы ее слушали. Это была жалобная песнь о том, как трудно ей живется среди неблагодарных родственников, как они не ценят всего, что она для них сделала, как не повезло ей с невесткой, сыном, дочерями, но особенно — с покойным мужем, который приговорил ее к мучительному вдовьему одиночеству. Внукам она претензий не предъявляла, но изводила укорами, подозревая в нелюбви и в недостаточном почтении. Повзрослев, Сусанна узнала о бабушке много такого, о чем хотелось сразу же забыть. Будучи невероятно скандальной особой, та умудрилась испортить отношения со всеми близкими. Дома по любому поводу устраивала истерики, а потом демонстративно объявляла, что идет на чердак — вешаться. Дети облепляли ее гроздьями, но она упрямо поднималась на чердак, отцепляя от себя то одного, то другого ребенка, запиралась там и сидела часами, прислушиваясь к безутешному плачу, раздающемуся из-под двери. Сусанне хотелось биться головой о стену, когда она представляла распластанных на верхних ступеньках лестницы троих маленьких детей — своего отца и двух теток, обливающихся слезами и умоляющих бабушку не убивать себя.

Мальчик со временем, раскусив мать, прекратил обращать внимание на ее выходки, а вот обе девочки навсегда остались заложницами ее чудовищного характера. Они выросли безвольными, глубоко израненными и болезненно привязанными к ней созданиями, никогда не помышляли о замужестве и всю жизнь преданно ей прислуживали, потакая малейшим капризам. Впрочем, даже своей покладистостью и преданностью они не смогли добиться ее благосклонного отношения и вынуждены были выслушивать бесконечный поток жалоб и упреков. С сыном у матери сложились крайне непростые отношения. Смекнув, что скандалами и шантажом его не подчинить, она избрала другую тактику: сетуя на свое слабое здоровье и бестолковость дочерей, взвалила на него всю заботу о хозяйстве. Первым делом она впрягла его в многолетнее бессмысленное строительство, требуя делать бесконечные пристройки к дому. Потом, жалуясь на нищету — а нищета была беспросветной, — заставила превратить все пространство вокруг дома в огород. Отныне сын вынужден был проводить свободное от работы в колхозе время на собственном хозяйстве. Отца он плохо помнил, тот умер от странной вялотекущей болезни, многие годы подтачивавшей его здоровье. Мать использовала факт его раннего ухода как дополнительный аргумент и не уставала напоминать сыну о том, что он единственный мужчина в семье и потому обязан нести ответственность за нее и своих сестер до конца жизни. Сын безропотно подчинялся, но свою линию гнуть не забывал. Когда, вопреки недовольству матери, он вознамерился жениться, она пригрозила, что отравит его

жену крысиным ядом. Выйдя из себя, он погнал ее на чердак и запер там, заявив, что у нее два выхода — повеситься или же смириться с его решением. Спустя час, уступив слезным мольбам сестер, он ее оттуда выпустил. Присмирившая мать, не поднимая на него глаз, заявила, что дает согласие на свадьбу. Но унижения она, конечно же, не забыла и всю свою злобу направила на молодую невестку, развязав против нее непримиримую войну. Будучи девушкой бессловесной, невестка терпела нападки свекрови, надеясь, что та, не встретивши сопротивления, со временем уgomонится. Однако надеждам ее не суждено было сбыться — молчание оборачивалось дополнительным раздражителем, с каждым разом с еще большей силой распаляя свекровь. Слабые попытки дать отпор тоже терпели поражение — несколько раз грубо проехавшись по невестке, свекровь навсегда отбила у нее желание ввязываться в спор. Сусанне было четыре года, когда доведенная до крайнего отчаяния мать решила на страшное. Купив у старьевщика бутылъ жавелевой воды, которой отбеливали постельное белье, она, запершись в бане, выпила ее, чтобы свести счеты с жизнью. К счастью, ее сразу же вывернуло, но кислота успела обжечь пищевод. Выписавшись из больницы тяжелобольным человеком, она отказалась возвращаться к мужу, но тот уверил ее, что никто больше не посмеет ее обидеть. Обещав накопить денег на новое жилье и со временем съехать, он заколотил закут в торце дома и перебрался с женой туда, отгородившись тем самым от матери и разорвав с ней общение. Дети большую часть дня проводили с родителями,

и только на ночь бабушка забирала их к себе — в крохотном закуте им негде было спать. На расспросы матери, после больницы не переступившей порог большого дома, Сусанна отвечала, что обращаются с ними хорошо и беспокоиться ей не о чем. Обращались с ними действительно хорошо: тетушки в племянниках души не чаяли. Будучи на все руки мастерицами, они обшивали-обвязывали Сусанну и ее брата, а по субботам пекли на дровяной печи сали¹ — любимое их лакомство. Если бы не бесконечный бубнеж бабушки и напряженные взаимоотношения взрослых, маленькая Сусанна, скорее всего, много позже стала бы догадываться, что с ее семьей что-то не так. Сравнивать ей было не с кем — дальше кривого отростка улицы ей выходить не разрешалось, с другими детьми она тоже не общалась — бабушка настояла, чтобы ее не отдавали в детский сад. А жизнь соседей, которую она наблюдала из-за забора, не особо отличалась от жизни их собственной семьи.

Репатрианты, брат и сестра, вернувшиеся из разрушенной войной Европы в советскую Армению с мечтой обрести на родине предков приют, оказались заложниками страшного времени, когда, вслед за задвинувшимся железным занавесом, каждого приезжего из-за границы стали приравнивать к предателю и врагу народа. Они вынуждены были перебраться из Еревана в глухую провинцию, чтобы, затерявшись там, уберечься от преследований, но от леденящего душу страха уберечься не смогли. Он и свел их с ума, заперев в стенах дома,

¹ Сали — сладкая деревенская выпечка.

ставшего для них одновременно и тюрьмой, и единственным местом, где они ощущали себя в безопасности. Выбирались они оттуда преимущественно по ночам, чтобы, порывшись на городской свалке, раздобыть что-нибудь из одежды или утвари. Иногда к ним заезжал старьевщик и выменивал одно барахло на другое, норовя оставить чего-нибудь из еды. Но они упорно отказывались, и он прекратил предлагать им съестное, догадавшись: они боятся, что их отравят. Кормились они с огорода, ухаживать за которым толком так и не научились. Жили не просто бедно, а в крайней, невообразимой, неопрятной нищете. После того как сестра попала в больницу с сильным кровотечением, праздные бабы стали распускать о них грязные слухи, от которых мужики раздраженно отмахивались. Но даже санитарка, уверявшая, что никакого выкидыша не было, не убедила баб в обратном. Дурной и тяжкий дух витал над домом отшельников, нагоняя тоску и отравляя воздух.

Сусанна в раннем детстве отчего-то завела привычку играть с этим домом в гляделки: взобравшись на подоконник, она наблюдала за ним в надежде, что он хоть малейшим движением — шевелением края засаленной шторки или скрипом двери — даст о себе знать. Но дом всегда переигрывал ее. В любое время суток, не считая бегающей по двору птицы, он выглядел совершенно необитаемым, и единственное, что в нем менялось, — это неумолимо ветшающий из года в год жалкий облик. Птицы, кстати, очень скоро не стало. Однажды, играя с домом в гляделки, Сусанна заметила, как бабушка, подойдя к забору соседей, кинула несколько горстей

зерна в гущу кур. В тот же день они испустили дух. А бабушка, торжествуя, сбегала в санэпидстанцию и рассказала, что у соседей от какой-то неведомой болезни мрут куры и что нужно с этим что-то делать, иначе они перезаразят остальную птицу. Непонятно, что больше напугало отшельников — визит работников санэпидстанции или же взявшийся откуда-то мор, но они никогда больше не предпринимали попыток завести домашнюю птицу и перебивались скудным урожаем с собственного участка да раздобытыми в базарной мусорке подгнившими овощами-фруктами. Сусанна не осмелилась никому о случившемся рассказать, но именно с того дня и стала догадываться, что с бабушкой что-то не так. Попытку самоубийства матери она не запомнила, хотя должна была — ведь случилась она позже истории с отравлением кур. Необъяснимым образом забылся и переезд родителей в закут, но Сусанна отчетливо помнила, как помогала отцу собрать нехитрые пожитки матери в узелок. Она забыла, как измученную рвотой мать увозили в больницу, а вот картина, как она, прижимая к груди завернутую в газетный обрывок бутыл с жавелевой водой, направляется к бане, до сих пор стояла перед глазами. Сразу за переездом родителей в памяти Сусанны зиял огромный провал, вынырнув из которого, она обнаруживала себя в наполненной непонятными звуками крошечной ночи. Проснувшись, она повернулась на бок, прижалась щекой к ступне брата — он дернул ногой и захихикал сквозь сон, и прикрыла глаза. И сразу же их широко открыла, сообразив, что звуки ей не приснились. Вглядевшись в темноту, она различила силуэт бабушки.

Та сидела на краю кровати и, мерно раскачиваясь, произносила страшные и гадкие слова. Обзывая свою невестку продажной тварью, гнилью, проституткой и сукой, она проклинала ее до седьмого колена, желая вечных страданий в геенне огненной. «Чтоб ты жрала яд целую бесконечность, чтоб он выжег тебе все кишки, чтоб мясо гнило прямо на тебе и отваливалось смердящими кусками, чтоб глаза твои выедали могильные черви, а кости твои обглодали бродячие собаки...» Сусанна бы закричала, чтобы заткнуть ее, но не смогла — вместо крика из горла вырвался придушенный хрип. Перепугавшись, что может навлечь на себя гнев, она затолкала край одеяла в рот и притихла. Бабушка умолкла и подалась вперед, напряженно прислушиваясь к тишине, потом продолжила с прерванного места свой монолог. Давясь горячими слезами, Сусанна неслышно заскулила. Ее пугали не проклятия бабушки, а то, с какой иступленностью и нескрываемым наслаждением та исторгала из себя этот чудовищный поток мерзостей, смакуя и будто бы упиваясь каждым словом. Во всем этом чудилась какая-то глубинная, неизъяснимая и отталкивающая потусторонняя сила. Казалось — в горле бабушки открылся портал в мир темных душ, и они, наконец-то высвободившись, выпархивали оттуда, наполняя пространство смрадным многозевным звучанием. Хотелось умереть, чтобы не знать и не видеть происходящего.

Угомонилась бабушка, лишь когда стали звонко перекликаться первые петухи. Но даже проваливаясь в сон, она продолжала шептать проклятия. Сусанна старалась не шевелиться. Каким-то

звериным, свойственным только детям чутьем она уже догадалась, что приговорена выслушивать этот страшный монолог каждую ночь. Она не расскажет о нем матери с отцом, чтобы не расстраивать их. Она не расскажет маленькому брату, чтобы не пугать его. Она не расскажет теткам, чтобы те не предали ее. Все, что она может сделать, чтобы защитить свою семью, — это, не выдавая себя, дожидаться того часа, когда бабушка, наконец-то выговорившись, провалится в сон. Потому что, если Сусанна уснет раньше, бабушка, выпустив когти и разгладив черные крылья, полетит убивать ее родных. И начнет она, конечно, с ненавистной невестки. Сусанна в этом ни капельки не сомневалась.

Семья четырнадцатилетней Ананки — три брата, две сестры, мать с отцом, бабушки, прабабка и дед — не пережила тифа, эпидемия которого случилась в деревнях северо-восточной Армении летом 1937 года. Вынырнув из многодневного горячечного бреда, Ананка с огромным усилием разлепила глаза. Чудовищно хотелось пить, но дозваться до кого-либо она не смогла. Обессиленная, она снова впала в беспамятство. Вернул ее к жизни густой рой мух, облепивший лицо и руки. Тяжелый дух нечистот и гниющей плоти мгновенно проник в ноздри. С усилием перевернувшись на живот, она поползла, цепляясь прозрачными пальцами за края мебели. Ползла целую вечность, теряя сознание и чудом приходя в себя. Она ни о чем не думала и никого не оплакивала. Единственное, что ее беспокоило, — это тяжеленная входная дверь,

которую нужно было как-то исхитриться открыть: ее в последнее время заклинивало, дед все обещал заняться, но не успел. Добравшись наконец до прихожей, Ананка какое-то время лежала, унимая сердцебиение. Дыхание вырывалось из груди стесканными всхлипами, ранило горло. До отчаяния хотелось пить. Собравшись с силами, она толкнула дверь, однако та не поддавалась. Тогда она попыталась приподняться на локте, чтобы навалиться на нее плечом, но потерпела неудачу. Смирившись с тем, что выбраться не удастся, она легла на порог, прижавшись лицом к щели под дверью, попыталась вдохнуть прохладный ночной воздух — но закашлялась и потеряла сознание.

Очнулась Ананка уже во дворе. Ее вынесли и положили на деревянную скамью, на которой, луща кукурузу или же штопая прохудившееся белье, любили проводить вечера женщины ее семьи. Шел дождь — ласковый, июньский, шелестел над ней листьями-сердечками тутовник. Она разинула рот, ловя крупные дождевые капли. Уронила руку, нащупала стебелек травы, с усилием выдернула его из земли, пожевала, но проглотить не смогла.

— Ананка-джан, очнулась? — склонился над ней смутно знакомый пожилой мужчина. Потребовалось несколько секунд, прежде чем она узнала в нем соседа. За время болезни тот сильно сдал и выглядел теперь почти стариком.

— Кто-нибудь... выжил? — прошептала она. Он покачал головой.

— Только ты выжила, Ананка-джан. Из моих — младший сын. Ну и я.

Она прикрыла глаза.

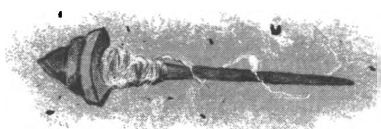
— Хорошо.

Он нащупал ее пульс, покачал головой. Сложил вдоль тела тоненькие руки-веревочки. Лил теплый летний дождь, смывая с ее отощавшего тела следы болезни. Пока она спала, сосед с сыном вынесли из дома умерших, свалили в телегу, повезли на кладбище — всех похоронят потом в нескольких больших могилах. Соседа не станет через три года — уйдет от разрыва сердца. Сын не вернется с войны. Все, что останется Ананке, — четыре письма-треугольничка, в последнем из которых она обнаружит тоненькую проволоку, свернутую в колечко. «Жаль, что не успели пожениться до войны. Поцеловал бы хоть тебя». Ананка убрала письма в сундук, где хранила всякую дорогую сердцу мелочь, сбереженную после родных: четки деда, веретено прабабки, кулон матери, натянутую на пальцы хлопковую салфеточку, на которой старшая сестра вышивала гроздь винограда... Она хранила письма до той поры, пока пустующий дом соседей не купили репатрианты. В тот день, когда они туда вселились, она вынесла письма во двор и сожгла, а свернутую в тоненькое колечко проволоку схоронила в огороде. К тому времени она совсем замкнулась в себе — если не считать редких походов к врачам, почти не покидала дома, не откликалась на свое имя, игнорировала расспросы, притворяясь, что не слышит. Кормилась с огорода, который, невзирая на ее безалаберное отношение, исправно приносил урожай. Плодоносил одичалый, непомерно разросшийся сад. Обвешивались крупными терпко-сладкими плодами айва и гранат. К концу осени она приволакивала мешок фруктов и грецких

орехов соседям-отшельникам и оставляла под их забором. Они его забирали ночью — Ананка была единственной, у кого они что-то брали. Живущие в дальней деревне родственники иногда передавали с оказией мед и топленое масло. В благодарность она отсылала им воздушные, в причудливый узор, салфетки и скатерти, которые вязала простой швейной иглой. Постепенно люди перестали называть ее по имени, обходясь местоимением и опасливым кивком головы. Потом и вовсе принялись звать Безымянной. Недолгое время к ней ходил мужчина, но потом перестал, а на расспросы отвечал, что не готов жить с полоумной женщиной, которая моется в лучшем случае раз в год. С его уходом окончательно оборвалась связь Безымянной с внешним миром. Он и так был ей без особой надобности, а теперь и вовсе перестал существовать.

Однако словоохотливые, склонные к преувеличению бердские хозяйки не оставляли ее в покое. Они слагали легенды о клубах пыли и нагромождениях хлама в ее доме. Некоторые из них даже утверждали, что этот не прибираемый годами мусор приобрел разум и ведет теперь отдельное, не подчиняющееся законам миропорядка существование. Еще они не сомневались, что дом Безымянной заполнен голосами безутешных духов, которые и свели ее с ума. И, пожалуй, в этом они не ошибались. Безымянная не просто сошла с ума, она стала олицетворением безумия. Случилось это после того, как она родила. Крохотная слабенькая девочка прожила совсем недолго и к утру испустила дух. Безымянная обмыла ее и, завернув в косынку, заперла в сундуке, где хранила памятные вещи родных. Когда

знакомый запах гниющей плоти заполнил дом, она вырыла яму в том конце огорода, где схоронила проволочное кольцо, и закопала там сундук со всем его содержимым. Единственное, что она себе оставила, — прабабкино веретено. Завернув в ветошь,



она вынесла его той же ночью из дому, баюкала словно младенца и, напевая колыбельную, бесцельно бродила по спя-

щему Берду. Вернулась под утро с пустыми руками, напрочь позабыв не только о том, где оставила веретено, но и о самом его существовании.

С того дня время остановилось, словно растворилось с последней выпавшей песчинкой песочных часов. Дом постепенно разрушался: сгнил и обвалился частокол, прохудилась крыша, рухнули перила веранды. Безымянная разобрала в гостиной пол и заколотила досками веранду, загородив путь дневному свету, сама же переселилась в прихожую, куда перетащила жестяную печь и кое-что из кухонной утвари. С годами одичалый сад подобрался вплотную к дому, а ветви деревьев, выдавив стекла годами не мытых окон, проникли внутрь, прорастая, словно вены, в мебель, потолок и стены. Карниз обвалившейся крыши облепили гнезда ласточек, в подвалах поселилось большое семейство крыс, на чердаке жили полчища летучих мышей. Дом отсырел, покрылся плесенью и пах, словно умирающий от тяжелого недуга человек, но Безымянную это совсем не беспокоило — она давно уже обитала в том измерении, где не существовало ни печали, ни сожалений.

Если позволяла погода, она выходила во двор, устраивалась на скамейке, на которой любили проводить время женщины ее семьи, и часами вывязывала швейной иглой скатерти и салфетки. Проголодавшись, откладывала в сторону рукоделие, уходила в сад и, сорвав какой-нибудь плод или же собрав пучок зелени, неряшливо ела, подтирая залосненным рукавом уголки рта. Устав от вязания, сидела, ссутулившись и вперившись бесцельным взглядом куда-то в пространство, скатывала грязь с невытой шеи и растирала катышки в пальцах.

Если Сусанне надоедало играть в гляделки с домом отшельников, она переключала свое внимание на Безымянную и наблюдала за ней. Сумасшедшая не корбила ее и не пугала. Она не испытывала к ней ничего, кроме живого детского интереса. Сусанна была слишком мала, чтобы различить ясное от двусмысленного, а обыденное — от неприглядного. Мир ее заселяли одинаково страдающие, израненные существа, и других она просто не знала. Мать часто рвало кровью, и, чтобы как-то унять жжение в горле, она, морщась, глотала ложку другую подсолнечного масла. С годами она стала сильно прихрамывать, потому старалась не передвигаться и держала все необходимое на расстоянии вытянутой руки. Сусанна несколько раз на дню выносила за ней горшок и, опорожнив его, тщательно мыла из шланга, из которого поливали огород. Отец надрывался на работе, еле сводя концы с концами. Разговоров о новом жилье он больше не заводил, да и мать ничего уже не ждала — каждый из них доживал свой горький век, смирившись с тем, что просвета никогда уже не будет. Младший

брат, счастье и отдохновение души, рос тихим и ласковым, болезненно привязанным к Сусанне ребенком. Но до шести лет он не говорил, ограничиваясь жестами и односложными словами, чем безмерно расстраивал сестру. Тетки превратились в две прозрачные печальные тени, спали, ели, дышали почти в унисон. Изредка, если этого не видела бабушка, они принимались ронять слезы, но спроси у них, что именно они оплакивают, они не смогли бы объяснить. В их поведении была некая закономерность, которую Сусанна заметила не сразу, а заметив — много раз убеждалась в правдивости своих наблюдений. Инициатором любого действия всегда была младшая тетка, а старшая слепо повторяла за ней. Когда младшая, обедая, тянулась за новым куском хлеба, старшая делала то же самое, если даже не доела предыдущего куска. Если младшая направлялась к нужнику, старшая следовала за ней и терпеливо ждала под дверью, а потом, справившись со своими делами, торопилась за сестрой, чтобы успеть ополоснуть руки до того, как та отойдет от рукомойника. Проснувшись раньше младшей, она не выходила до той поры, пока не скрипнет дверь ее комнаты. Сусанна как-то заглянула к ней — старшая тетка сидела на стуле, сложив на коленях руки, и сосредоточенно ждала. Кровать была аккуратно застелена, форточка распахнута, край простенькой шторы, поддетый сквозняком, то поднимался вверх, то ложился на ее плечо, но тетушка не шевелилась. При виде племянницы она слабо улыбнулась и подозвала ее рукой. «Пойдем?» — спросила Сусанна, подставив лоб для поцелуя. Но та покачала головой — ты

иди, я потом. Младшая тетка поведения старшей не замечала или же замечала, но ничего странного в нем не видела, потому попытки разорвать это замкнутое на себе существование не предпринимала. Да и как она могла это сделать, если обе сестры выросли в болезненной зависимости от властной матери и другой жизни просто не знали...

Дни маленькой Сусанны превратились в бесконечный созерцательный процесс. Она часами наблюдала этот диковинный, почти босховский мир, не ощущая его откровенной неприглядности и не стараясь придумать ему оправдания.

Ночи же ее были наполнены леденящими душу шепотами и звуками, от которых невозможно было загородиться или спастись. Спустя годы они обернутся самым большим ее кошмаром — любой посторонний шум будет выбивать ее из колеи. А пока она засыпает почти под утро, дождавшись, когда умолкает бабушка. Сон ее беспокоен и недолог и обрывается шумной возней, которую еще засветло поднимает во дворе неугомонная домашняя птица.

Сусанне было семь лет, когда ее отдали в первый класс новой, возведенной из оранжевого туфа трехэтажной школы, до которой нужно было добираться целых полчаса по незнакомому ей городку. Она проходила всю дорогу, вертя шеей и радостно глаза по сторонам. Для ребенка, никогда прежде не покидавшего пределы крохотного отростка Садовой улицы, подобное путешествие каждый раз оборачивалось целым праздником, посещением огромного волшебного края, о существовании

которого она всегда смутно догадывалась и теперь наконец-то убедилась. Все в этом неизведанном мире: мощенные брусчаткой узкие улочки, впряженные в телеги задумчивые мулы, мохнатые ослики, глядящие печальными глазами, не поделившие какую-то ерунду соседки, исступленно ругающиеся через забор, дымящие в трубки старики, визгливые дети, бородатые смуглые мужчины — радовало и наполняло ее жизнь новым, прекрасным смыслом. Сусанна предавалась привычному созерцательному процессу с особым рвением и тщательностью, собирая новые впечатления, словно красивые камушки, чтобы потом, уже дома, подолгу их вспоминать и разглядывать.

Однако если к наблюдению за этим прекрасным миром она была готова, то сосуществовать с ним не умела. Школа для нее обернулась огромным испытанием. Со многими привычными для сверстников предметами она там столкнулась впервые: книжки, чернильницы, перьевые ручки, карандаши и точилки, карты, плакаты, мел, которым нужно было писать на доске. Старинный скрипучий граммофон, заведенный на уроке музыки учительницей, умилил ее до слез — она не понимала, как из этого странного предмета можно выудить мелодию. Пронзительный школьный звонок, раздающийся внезапно, ужасно ее пугал — она могла от неожиданности вскрикнуть или даже подскочить за партой, доводя до визгливого хохота одноклассников. Она не знала игр, в которые они играли, не имела представления, как с ними себя вести, не понимала их шуток и не умела ответить впопад на вопрос. Ощущая свою беспомощность, она запинаясь, наливалась

слезами, замыкалась в себе. Почувяв ее незащищенность, дети стали нещадно третировать ее, подтрунивали и вертели пальцем у виска, а она не знала даже, как поступать, потому что не умела за себя постоять. Ее дергали за косы и пачкали чернилами платье, подставляли ножку, вырывали из рук матерчатую сумку, в которой она носила школьные принадлежности, дразнили чудачкой и бестолковщиной. Она возвращалась домой, ложилась лицом в подушку и не дышала до упора. Жаловаться было некому — отец задерживался в колхозе допоздна или вовсе не приходил — в сезон уборки урожая они работали сутками, мать постоянно болела, тетки были беспомощны, брат мал. А бабушка была последним человеком, к которому Сусанна обратилась бы за помощью. Вдоволь наревевшись, она переодевалась в домашнее, отмывала по возможности от пятен школьное платье, заново заплетала косы и, пообедав, садилась делать уроки. Учеба ей давалась с удивительной легкостью, по всем предметам она получала круглые пятерки, тетрадки содержала в идеальной чистоте — ни помарок, ни чернильных пятен. Дождавшись, когда бабушка уснет, она мгновенно проваливалась в сон, чтобы, проснувшись от привычного клекота индюшек и наскоро позавтракав, отправиться изучать большой прекрасный мир. Привычное наблюдение мира успокаивало и утешало ее, однако всякий раз, приближаясь к школе, она невольно замедляла шаг и съеживалась от страха — впереди были непростые безрадостные часы, и нужно было их как-то пережить.

К гуманитарным дисциплинам Симон относился свысока: на его скоропалительный юношеский взгляд, они, в отличие от точных наук, строились на бездоказательных предположениях и вымысле, потому внятным образом (кроме бессмысленных эмоциональных всплесков) устройство мира объяснить не могли. Занятия литературой он терпел, сжав зубы, обществоведение откровенно игнорировал, историю же вовсе презирал, считая пристанищем шарлатанов и сказочников. Пока учительница, развесив карты средневековой Европы, рассказывала про Столетнюю войну или Крестовые походы, он отчаянно скучал и поминутно выглядывал в окно. Октябрь бережно прореживал зелень деревьев, пах фруктовой спелостью и ласковыми дождями, заигравшись, с шумом распахивал форточки и наполнял помещения соленым воздухом ущелья. Учиться было тягостно, а учиться нелюбимым предметам — тем паче. Симон упорно отводил взгляд от висящих на стене исторических карт, по которым водила указкой учительница, и, вытянув шею, наблюдал жизнь за окном. Если его приглашали к доске, он сразу же объявлял, что урока не учил. Каждый вызов к директору превращал в целое представление — долго, по-старчески вздыхая, вылезал из-за парты, плелся к выходу из класса, подволакивая ноги и корча уморительные гримасы. Его отчитывали, но двоек не ставили и выходки терпели — он был лучшим учеником по точным наукам и иногда даже заменял приболевших преподавателей начальных и средних классов.

Однажды, маясь на очередном занятии по истории, Симон увидел, как детвора загоняла в угол

двора девочку. Внимание его привлекло не само событие — в конце концов, везде есть угнетатели и угнетаемые, учись обороняться, иначе затопчут, — а то, с какой безропотной приговоренностью та девочка шла на заклятие. Она не реагировала на тычки и не прикрывалась руками, а когда кто-то из преследователей, широко размахнувшись, толкнул ее в плечо, она, хоть и видела его намерение, не сделала попытки увернуться. Казалось — если бы обидчик, не рассчитав направления удара, промахнулся бы и растянулся на земле, она бы первая кинулась его поднимать.

Он не заметил, как оказался во дворе. Когда настиг детей, они уже успели обступить девочку плотным кольцом и, вырвав из рук сумку, закинуть ее за забор. Безошибочно вычислив заводилу — кривоzubого и ушастого, жутко веснушчатого мальчика, Симон подхватил его за шиворот, оторвал от земли и, потряхнув им, словно погремушкой — мальчик от неожиданности клецнул зубами и прикусил язык, — поставил на место.

— Н-н-н-н-ну-у-у? — надвинулся он на детвору, закатывая рукава рубашки. — Кто еще хочет обидеть мою сестру?

Заводила тоненько заскулил — от обиды и страха, и первый бросился наутек. Детвора припустила за ним. Остались только две девочки — та, которую обижали, и вторая, которая, метнувшись за вышвырнутой за забор сумкой, вернулась и вручила ее почему-то Симону.

— Отдай ей! — велел Симон.

Девочка протянула сумку Сусанне.

— Я ее не обижала, — выпалила она, смотря на Симона во все глаза.

— Она меня не обижала, — подтвердила Сусанна, — она говорила, чтобы меня оставили в покое. Но никто ее не слушал.

— Молодец, — лениво похвалил Симон вторую девочку и, моментально потеряв к обеим интерес, направился в школу.

Выросшей в затворничестве и привыкшей рассчитывать только на себя Сусанне сложно было представить, что кто-то посторонний может заступиться за нее. Никто и никогда не пытался ее защитить. Родители были замкнуты на себе, тетки бессловесны. Ошеломленная произошедшим, она поплелась домой, обещая себе после, когда разделается с уроками, подумать над тем, что случилось. Вторая девочка шла рядом, поддевая коленом громоздкий, с гнутыми углами и истрепанной ручкой, явно мужской портфель.

— Я и не знала, что у тебя такой взрослый брат, — полуспросила-полуутвердила она, пропуская Сусанну первой в школьные ворота.

— Он мне не брат. Он мне вообще никто.

Вторая девочка удивленно вздернула тоненькие брови, но сразу же махнула рукой — у нее были более важные темы для разговора.

— А это правда, что ваша соседка Безымянная ночами превращается в волка и съедает людей? — с опаской спросила она.

Сусанна фыркнула.

— Не говори глупостей!

Так они с Меланьей и подружились.

К шестнадцати годам в жизни Сусанны многое изменилось. Умерла старшая тетка — уснула и не проснулась. Младшая, выйдя из своей спальни и не дождавшись ее, заподозрила неладное и заглянула к сестре, а та давно уже не дышала. Сусанну поразила не внезапность произошедшего и даже не его необратимость. Ее ошеломила испачканная мочой и экскрементами постель старшей тетушки — удивительной чистюли и любительницы порядка. Смерть, вдоволь поглумившись над покойной, предстала перед живыми в той неприглядной откровенности, на которую способны, пожалуй, только умалишенные люди. Она оказалась омерзительнее всего, что Сусанна знала и наблюдала раньше.

Похороны прошли под морозящим ноябрьским дождем. Народу было совсем мало — несколько знакомых отца и родители Меланьи. Бабушка стояла в изголовье могильной ямы и, обхватив себя крест-накрест руками, раскачивалась в такт собственному монологу. Сусанна не прислушивалась — давно научилась пропускать ее слова мимо ушей. Она не отрывала взгляда от лица лежащей в гробу тетки, думая о том, до чего оно стало неузнаваемым. «Это точно она?» — будто прочитав ее мысли, прошептал ей на ухо брат. Она прижалась щекой к его плечу, вздохнула. За последний год он сильно вытянулся, обогнав ее в росте, раздался в плечах, охрип голосом. Он приобнял ее и, пытаясь утешить, неуклюже похлопал по спине. Она собиралась шепнуть ему, что все в порядке, но прикусила язык, заметив одинокий силуэт поодаль. Приглядевшись, она узнала дурочку Вардануш.

Для ноября она была совсем легко одета — тонкое ситцевое платье, ботинки на босу ногу. Платье, намочнув от дождя, облепило ее худенькую фигуру, а платок, которым она неумело обвязала голову, поминутно сползал на лоб. Она терпеливо поправляла его, напряженно вглядываясь в даль, словно ожидая чьего-то появления. Сусанна проследила за ее взглядом, но никого не увидела.



Как только гроб коснулся дна ямы, бабушка завывала глухим утробным воем и вцепилась ногтями себе в лицо. Младшая тетушка, которая все это время поддерживала ее под локоть, попыталась отвести ее руки, но потерпела неудачу. И провожающие вынуждены были оторопело наблюдать, как старая безумная женщина, выкри-

кивая сквозь вой страшные проклятия, раздирает ногтями дряблую кожу лица. Могильщики, так и не дождавшись, что родные кинут на крышку гроба по горсти земли, принялись закапывать могилу. Сусанна отошла в сторону, чтобы не видеть бабушки — она знала ее лучше, чем кто-либо другой, потому воспринимала учиненное ею представление с безразличным безразличием. Кроме нежно любимого брата и родителей Меланы, относящихся к ней с искренней теплотой, не было в жиденькой толпе провожающих людей, которые вызывали бы у нее хоть каплю сочувствия или даже жалости. Все они: что мрачный и небритый, прикуривающий одну папиросу от другой отец, что полусогнутая и бледная мать, наконец-то сподобившаяся покинуть свой

закут, что младшая тетушка — пожалуй, единственный более-менее вменяемый, но абсолютно безучастный к кому-либо, кроме собственной матери, человек — превратились для нее в совершенно чужих людей. Не сказать что Сусанна их не любила, но она не испытывала к ним никакой привязанности, и, умри кто-нибудь из них завтра, она бы не проронила и слезинки.

Отойдя в сторону, она приготовилась ждать, пока могильщики закончат свое дело. Стремительно холодало, влажный воздух пробирал до костей. Сусанна плотно запахнула пальто, подышала на озябшие пальцы, пытаясь согреть их своим дыханием. Вспомнила о Вардануш, искала ее глазами. Та обнаружилась в другом конце кладбища. Запрокинув голову, она смотрела вверх и мерными круговыми движениями водила кистями. Приглядевшись, Сусанна различила в ее руках небольшой продолговатый предмет. От острого духа ущелья, резко накрывшего кладбище, зашипало в носу и зарябило в глазах. Вардануш чихнула несколько раз, а потом резко отвела в сторону руку, будто оборвала что-то.

Стаскивая с шеи шарф, Сусанна направилась к ней.

— Накинь на плечи, простынешь!

Не дожидаясь ответа, она принялась укутывать Вардануш, но сразу же отдернула руку. Приложила ладонь к ее лбу.

— Да у тебя жар! Тебе нужно лечь в постель.

— Я всегда такая, — ответила Вардануш и расплылась в глупой, в долю мгновения испортившей ее красоту улыбке. Сусанна оторопела. Никогда

прежде она не наблюдала такой молниеносной перемены: было такое ощущение, будто Вардануш, скоморошничая, сменила нарядную карнавальную маску на уродливую.

Вернув ей шарф, Вардануш направилась к выходу с кладбища. Мокрый подол липнул к ее голым коленям, мешая ходить, платок упорно сползал на глаза. Она неловко поправляла его тыльной стороной кисти, не выпуская темного предмета, который крепко сжимала в пальцах. Сусанну подмывало догнать ее и посмотреть, что такое она держит в руке, но она передумала. Что еще может носить с собой эта безобидная дуручка! Несомненно, какую-нибудь заведомую ерунду.

В освободившейся комнате старшей тетки теперь жил брат. Невзирая на протесты бабушки, требующей, чтобы выждали положенный для траура срок, Сусанна настояла, чтобы он туда переехал. Она теперь не боялась бабушку и могла даже прикрикнуть на нее. Она никого теперь не боялась — ночи, проведенные под поток ругани и проклятий, не обезволили ее, а напротив — сделали сильнее.

Первый бунт случился, когда ей едва исполнилось восемь лет. Беспokoясь, что брат может нечаянно проснуться среди ночи и испугаться бабушки, она, не спрашивая ни у кого позволения, перетаскала на кухню лежащий в прихожей палас и, застелив его простынею и шерстяным одеялом, соорудила новое спальное место. На изумленные расспросы тетюшек ответила, что они с братом не

умещаются на кровати (что было истинной правдой) и ей не удастся выспаться. Когда вернувшаяся из магазина бабушка, рассерженная самодеятельностью внучки, попыталась перетащить палас обратно, Сусанна устроила настоящую истерику с визгом и слезами в три ручья. Успешно перекричав ее, она для пущей остротки свалилась во вполне правдоподобный обморок (пригодился годами наработанный навык деланого сна), в котором благополучно пребывала достаточно долгое время, пока тетушки, несуразно суетясь, пытались привести ее в чувство. Брат, перепуганный происходящим, забился под кухонный стол, жалобно скулил и не соглашался оттуда вылезать. Сусанна пробралась к нему, обняла, шепнула на ухо, что все это для его же блага. «Ты ведь веришь мне?» Он мгновенно успокоился. Вечером она его уложила, сидела рядом, держа за руку, пока он не уснул. Ночью несколько раз поднималась, чтобы убедиться, что все с ним в порядке. Бабушка провожала ее тяжелым взглядом, не прерывая привычного потока сквернословия. Очерченные блеклым лунным светом, выступали из мрака поганый провал ее рта и нависший над верхней губой крючковатый нос. Когда внучка в очередной раз пошла проведать брата, она пробормотала ей вслед, достаточно громко, чтобы та услышала: «Будь ты проклята, сучье отродье». Сусанна даже бровью не повела. Забравшись в постель и со вкусом растянувшись, она внятно, чеканя каждое слово, проговорила: «Я не боюсь тебя больше, ведьма!» И добавила, не давая бабушке опомниться: «И никогда больше бояться не буду!»

Она ее действительно не боялась. Страх улету-чился, уступив место необъяснимому тревожному состоянию. В теле стало тесно и неопратно, казалось — там поселилась новая девочка, которая, в отличие от прежней задумчиво-созерцательной Сусанны, умеет лишь злиться и скандалить. Отчего-то ныли подмышки и тянуло в низу живота, левая грудь чуть припухла и невыносимо болела, а лоб обсыпало мелкими прыщиками. Изменился даже запах пота — стал каким-то звериным, острым и мускусным. Сусанна не понимала, что с ней происходит, но умудрялась извлекать пользу даже из такого своего состояния. Раздражение с тревогой необъяснимым образом подпитывали ее и придавали уверенности. Она действительно была из того рода непреодолимых людей, которые умели выживать при любых обстоятельствах. Брат, к сожалению, был слеплен из другого теста. Сусанна расстраивалась, распознавая в нем черты своих безвольных тетушек, и ясно осознавала, что ни на кого, кроме как на нее, он рассчитывать не может. Именно потому, набравшись решимости, она отделила его из спальни. Она не сомневалась — образ обезумевшей, исторгающей непотребную ругань бабушки ранит его до глубины души. Она пыталась защитить его, как умела. Она старалась изо всех сил.

Болезненное состояние тем временем не отступало, донимали головные боли и тошнота. Не вытерпев, Сусанна нажаловалась Меланье, с которой они теперь были неразлейвода. Мать Меланьи, прознав о ее плохом самочувствии, отвела ее к соседке, работающей терапевтом. Та, послушав

сердце и легкие девочки и не найдя ничего опасного, списала все на грядущие возрастные перемены.

— Не преждевременно? Девятый год пошел!

— Так южная кровь, раннее созревание. У моей сестры месячные вообще в семь с половиной лет случились!

Мать Меланьи, поразмыслив, усадила девочек напротив и рассказала все про взросление. Девочки, смущенно переглядываясь, пофыркали, но выводы свои сделали. А Сусанна наконец-то выдохнула с облегчением, убедившись, что происходящее с ней в порядке вещей.

Первые регулы случились намного раньше, чем у других сверстниц. Сусанна заметно замедлилась в росте и потихоньку стала наливаясь ранней, еще полудетской, но вполне уже явственной женственностью. К пятнадцати годам, полностью оформившись, она превратилась в настоящую красавицу. Уже в зрелом возрасте, подробно рассматривая «Рождение Венеры» Боттичелли, она с удовлетворением отмечала, с кого именно списывала ее внешность природа. Но сейчас, в своем отрочестве, ничего, кроме изумления и беспокойства из-за повышенного интереса мужчин к своей персоне, она не испытывала. Она подолгу изучала свое отражение в зеркале, поворачиваясь так и этак, и не понимала, что в нем такого примечательного. Ни миндалевидные, желто-медового оттенка глаза, ни тонкий овал лица, ни высокие скулы или ямочка на подбородке — не вызывали у нее хотя бы мало-мальского удовлетворения. И даже густые, слегка выющиеся, редчайшего золотистого оттенка волосы не казались ей чем-то невиданным. Она бы давно их остригла, но, уступив

просьбам брата, не делала этого и ходила с двумя длинными косами, закинув одну на грудь, а другую оставляя болтаться на спине.

Кого Сусанна действительно считала красавицей, так это Меланью. Та была абсолютной ее противоположностью: крохотная, миниатюрная, черноглазая, шустрая и деятельная, словно головастик, заполучивший в личное распоряжение чистую дождевую лужу. Всюду она поспевала раньше своей подруги и даже, будучи невыдающихся способностей ученицей, умудрялась опережать ее в учебе. В отличие от прямолинейной и бесхитростной Сусанны, готовящейся к каждому занятию, словно к экзамену, верткая и сообразительная Меланья разработала свой собственный метод: она учила только то, что считала главным, оставляя без внимания второстепенное, а на уроках, имитируя высокую заинтересованность в предмете, донимала учителей бесконечными расспросами, требуя пояснений и уточнений. Подобное мельтешение очень скоро возымело действие — к доске ее вызывали редко, пока она без запинки тараторила выученное, выводили в журнале отличную оценку и, не дав досказать, отправляли за парту. «Садись, Мелоян, ты и так все знаешь!»

— Как это у тебя получается?! — каждый раз восхищалась Сусанна.

Меланья с напускной важностью задирала нос и закатывала глаза:

— Талант!

И девочки, уронив голову на сгиб локтя, бесшумно хихикали, стараясь не вздрагивать плечами, чтоб не привлекать к себе внимания учителя.

За годы тесной дружбы Меланья стала для Сусанны не просто подругой. Она заменяла собой всю ее семью, осязаемого присутствия которой ей так не хватало в жизни. Она была ей всем: матерью, теткой, отцом и даже дедом, которого Сусанна никогда не знала.

Когда влюбленный в Сусанну одноклассник, тот самый кривоzubый ушастый мальчик Каро, выросший в выдающегося лоботряса, принялся изводить ее неуклюжими ухаживаниями, Меланья объявила ему настоящую войну. Пока растерянная Сусанна отбивалась от ухажера, подруга, сжав крохотные кулачки, налетала на него расвирепевшим воробушком. «Да уйди ты с дороги!» — мычал контуженный ее криком и мельтешением влюбленный остолоп, стараясь отодвинуть ее в сторону. Меланья обычно просто наскакивала на него, но однажды, когда Каро, не вытерпев, отвесил ей подзатыльник, она, оскорбившись, недолго думая, подпрыгнула и вцепилась зубами ему в предплечье. Пока тот выл и пытался схватить Меланью за косу, Сусанна подбежала сбоку и треснула его по голове тяжелым портфелем подруги. Каро клацнул зубами, совсем по-детски всхлипнул и сполз по стенке.

— В следующий раз мы тебя уьем, понял? — тяжело дыша, нависла над ним Меланья. Тот скосил на нее потемневший глаз, пощупал шишку на голове, скривился от боли.

— Дуры!

— Ослина! — не осталась в долгу Меланья и, пнув обидчика носком туфли, направилась к подруге, отряхивая подол школьного фартука.

Возвращались девочки после школы всегда одной и той же дорогой: сначала к строящемуся кинотеатру, потом, по кривой и вверх — к небольшой, с пятачок, центральной городской площади. Мимо, нахваливая свой товар, катили тележки мясник и зеленщик. Бегали мальчики, продающие газеты. Стучал в своем закуте молотком сапожник. «Ножницы-ножи, пилы-косы, бритвы-спицы наточу!» — делая многозначительные паузы, протяжно звал точильщик старый Аво, лениво подгоняя ослика. Тот покорно тащил тележку, на которой, закрепленный кожными ремнями, висился точильный станок с ножным приводом. Если какая-нибудь хозяйка нуждалась в услуге старого Аво, она подзывала его к своему дому. И, пока тот резво работал, не забывая поливать водой точильный камень, она подкармливала ослика морковкой или же каким другим лакомством. «Ешь, горемыка, надорвался небось тяжести таскать!» — приговаривала она, преисполненная сочувствия к бессловесной животинке. «А я, можно подумать, не надорвался!» — сварливился старый Аво. «Ничего, ты себе за деньги еды купишь», — отрезала хозяйка, расплачиваясь за работу мелочью.

«Ве-е-тошь и ста-а-рье, ста-а-рье и ве-е-тошь куплю!» — с проникновенностью муэдзина, призывающего правоверных к молитве, звал старьевщик. «Мацун-масло-сыр!» — пыталась перекричать его молочница, но быстро сдавалась и стучала половником по бидону, в котором развозила головки брынзы в крутом рассоле.

Сусанна любила разноголосье родного городка и не уставала любоваться каждой его деталью. Она

могла подолгу разглядывать не замеченную ранее искусную резьбу на бортике балкона или же разлапистый фикус в глиняном горшке, который вынесли во двор — подышать. Меланья ждала минуту-другую, потом принималась поторапливать подругу — снова застыла, пошли уже! Застыла, ага, со смешком соглашалась Сусанна, прибавляя шаг.

Добравшись до скособоченной городской площади, девушки прощались и расходились по сторонам: Меланья, свернув налево и пройдя за здание суда, направлялась к себе на Мирную улицу, а Сусанна, миновав низкорослый забор дома быта, шла вверх по Садовой улице.

Именно там, в самом начале Садовой улицы, в один из ясных апрельских дней Симон и увидел ее. Она, скользнув по нему безразличным взглядом, прошла мимо, растирая пальцем засохшее чернильное пятнышко на ладони. Он, ошеломленный ее совершенно взрослой, нездешней красотой, стоял какое-то время, глупо вытаращившись, а потом, резко развернувшись, заторопился за ней.

Он недавно вернулся в Берд, бросив на втором курсе учебу на архитектурном факультете. Устроился на стройку помощником мастера. Как раз сейчас вышел из управления, куда явился с поручением от прораба — «Сынок, ты в городе учился, вежливые слова знаешь, сходи, передай этим идиотам, что камня, обещанного на начало месяца, до сих пор не дождались!»

В строительное управление Симон явился в пыльной робе, грязных башмаках и с твердым намерением вернуться на стройку с победой. Однако,

оказавшись в приемной начальника, один на один с гримзоподобной монументальной секретаршей, клацающей сосисочными пальцами по клавишам печатной машинки, стушевался. В кабинет начальника, выразительно смерив уничижающим взглядом, она посетителя не пустила. Воинственно выпрямив спину — блузка на ее непомерной груди натянулась до упора и грозилась выстрелить пуговицами, через губу осведомилась, с каким делом он явился. Симон, не смея поднять на нее глаза, доложил армейской скороговоркой.

— Ты чей будешь? — пожевав губами, наконец спросила она.

— Авоянц Гургена.

— Старший?

— Старший.

Секретарша пошевелила густыми бровями. По дряблему ее лицу скользнула тень участия, но, затерявшись в жирных складках, мгновенно угасла.

— Свободен, — скомандовала она и сделала круговой жест рукой, показывая, что можно идти.

Симон робко поинтересовался:

— Вы передадите мою просьбу?

Она выразительно лязгнула рычажком печатной машинки.

— Посмотрим!

У Симона было ощущение, что его оплевали. По-хорошему, нужно было подвинуть монументальную гримзу и пройти в кабинет. Но решимости на это ему не хватило. Обзывая себя трусом и идиотом, он вышел из управления, обдумывая объяснение, с которым явится к прорабу. Дойдя до края

площади, столкнулся с Сусанной и, ошеломленный ее красотой, последовал за ней, стараясь держаться на таком расстоянии, чтобы она не подумала, будто ее преследуют.

Она шла по кромке улицы, обходя лужи, закинутая за плечо растрепанная коса переливалась янтарным золотом, невзрачное школьное платье и грубые, растянутые на коленках хлопковые чулки не портили, а наоборот, подчеркивали ладную ее фигуру и стройные, идеальной лепки, икры. Апрельское солнце выглянуло на недолгий миг из марева наливающихся душной влагой облаков и, запутавшись в ее волосах, медленно угасло, успев озарить ее притушенно-робким сиянием. «Если прищуриться, она, наверное, и без солнца замерцает», — подумал Симон.

Он проследовал за ней до дома, но подойти не решился. Следующим утром, опрятно одетый, в хлопковой клетчатой рубашке и тщательно отутюженных брюках, дожидался ее возле забора дома Безымянной. Когда Сусанна поравнялась с ним, он поздоровался и сразу же представился. А потом попросил позволения сопроводить ее до школы. Она собиралась отказать, но, растерявшись, вместо того чтобы покачать головой, кивнула. Не мешкая он забрал у нее сумку с учебниками, повесил себе на плечо.

— Пошли?

— Вообще-то я хотела отказать! — очнулась от оцепенения Сусанна.

— Поздно, — рассмеялся он. Смех ему удивительным образом шел, и она, невольно улыбнувшись, согласилась — так и быть.

На площади она махнула рукой в направлении Мирной улицы:

— Нужно подождать.

— Что ж, подождем.

Заметив подругу, беседующую с незнакомым молодым человеком, Меланья вздернула брови и замедлила шаг. Возможно, решила она, это ее родственник, о котором она не знала. Но, подойдя ближе, она мгновенно узнала юношу, который много лет назад защитил Сусанну от одноклассников. Меланья тогда приросла от испуга к земле и не смогла, как другие дети, пуститься наутек. Очнувшись, она соврала, что просила не трогать ее. Сусанна не стала ее выдавать и пролепетала, что она действительно ее защищала. Это и стало причиной их мгновенно завязавшейся дружбы. Одна из девочек прониклась благодарностью к другой за то, что та не стала изобличать ее во лжи. А вторая просто обрадовалась возможности приобрести подругу.

Тем же вечером матери Сусанны резко стало плохо. К приезду скорой она почти не дышала. Уложить ее на носилки не удалось — в лежачем положении ее непрерывно рвало. Ее перенесли в машину и кое-как усадили. Сусанна расположилась рядом, обхватила ее руками, прижалась губами к ее бледному, в ледяных каплях пота, виску. В реанимационную палату ее не пустили, но уходить она отказалась и осталась ждать в приемной. Позже к ней присоединился отец. Она взяла его тяжелую, пахнущую набрякшей землей и лошадиным навозом натруженную руку в свою, развернула, погла-

дила каждую трещинку, каждую мозоль, легонько подергала за кривой, переломанный в двух местах и неправильно сросшийся мизинец. Он поцеловал ее, тяжело вздохнул. Оба при этом не проронили ни слова, но Сусанна не сомневалась — никогда прежде они не были так близки и откровенны друг с другом.

Под утро их впустили в палату, чтобы дать возможность попрощаться. Мать уже уходила, измученная кровавой рвотой и нестерпимой болью в желудке. Дочь свою она не узнала, а вот мужу улыбнулась — слабой мимолетней улыбкой, и даже попыталась коснуться его, но не смогла пошевелить рукой. Сусанна не замечала ни ее агонии, ни того, как она, задыхаясь, хватается бледными губами воздух и сучит пятками по застиранной простыне. Единственное, что она видела, — это удивительно ясную улыбку, на недолгий миг озарившую ее искаженное болью лицо, и склонившегося над ней мужа, считавшего эту улыбку знаком благословения.

Она потом долго не могла простить себе того, как умудрилась, детально и прилежно изучая окружающий ущербный и тягостный мир, проглядеть то пронзительное чувство любви, которое пронесли сквозь нелегкую свою жизнь два этих несчастных человека. Именно тогда, наблюдая за тем, как угасающая в нестерпимых страданиях мать не отводит взгляда от лица мужа и даже пытается подбодрить его улыбкой, она с ужасом осознала ту огромную цену, которую заплатили ее родители, вынужденные пожертвовать ради своей любви буквально всем, и в том числе — собственными детьми.

На похороны Сусанна не пошла, не было ее и за поминальным столом. Пока семья находилась на кладбище, она прибралась в закуте. Сложив все, что осталось после матери, на деревянный топчан и накрыв жалкую стопку простыней, она зло расплакалась, убедившись, как мало у нее было вещей: пара заношенных туфель, шерстяное штопаное платье, побитый молью жакет, халат, на котором сохранилась лишь одна костяная пуговица, остальные, по мере того как ломались, мать заменяла на простые крючки. Сусанна аккуратно отрезала и забрала себе эту единственную, стертую почти до прозрачности шербатую пуговицу. Одежду отца она тщательно постирала, смывая дух тлена и смерти, и вывесила сушиться во дворе. Дверь закута заколотила шиферными гвоздями. Постелила в комнате брата, перетащив туда с веранды тахту, на которой бабушка любила проводить вечера. Ножки и спинку тахты попортил дровоточец, но это не имело значения, главное, чтоб было на чем отцу переночевать, потом что-нибудь придумают.

На поминки Сусанна не вышла, к еде не притронулась, только помогла тетушке перемыть посуду. За столом стояла гробовая тишина, молчала даже бабушка, не упускающая возможности пожаловаться на нелегкую свою долю, лишь отец без конца плакал, не стыдясь и не пряча слез. Сын иногда гладил его по плечу и приговаривал: «Ну пап!» «Да?» — с готовностью откликался тот и продолжал плакать, утирая большой и плоской ладонью глаза. Обессиленный рыданиями, он безропотно улегся на тахту, но следующим утром, перед тем как уйти на работу, вооружившись ломиком

и молотком, вытянул все гвозди из двери закута и аккуратно их выпрямил. А потом перенес туда все свои нехитрые пожитки. Поднятая шумом Сусанна спросила у него с обидой, зачем он это делает. «Не могу я видеть свою мать, дочка», — ответил он.

«Можно подумать, я могу», — подумала Сусанна, но говорить ничего не стала, только попросила хотя бы позавтракать с ней и братом.

— Бабушка просыпается поздно, так что ты с ней не столкнешься.

— Как скажешь.

С того дня они завели себе привычку завтракать вместе. Вскорости к ним присоединилась тетушка, сидела за столом тихо, попыток вступить в разговор не делала, но внимательно слушала, неизменно кивая в знак согласия, если говорил ее брат. Сусанна догадывалась, что она хочет о чем-то его спросить, но не решается. Она не поторапливала тетушку и не задавала наводящих вопросов, поскольку отлично ее знала. Любой лишний жест или оброненное некстати слово могли напугать ее, потому следовало оставить ее в покое. И тогда она, набравшись решимости, сама бы спросила.

Однажды, наконец, этот день настал. Тетушка, смущенно наматывая на палец край скатерти и не решаясь поднять на своего брата глаза, спросила едва слышным шепотом:

— Может, ты хочешь, чтобы я что-то особенное для тебя приготовила?

— Испеки мне, пожалуйста, багардж, — ответил отец, ничуть не удивившись вопросу. Сусанне даже показалось, что он не сомневался, о чем его спросят, потому заранее придумал ответ.

— На сметане? — уточнила заметно осмелевшим голосом тетушка.

— А есть сметана?

— Есть, я немного приберегла. Как раз на порцию багарджа хватит.

— Спасибо.

— Было бы за что!

И тетушка, поднявшись из-за стола, с несвойственной для нее стремительностью направилась к двери. Но, дойдя до нее, она резко развернулась и пошла обратно, бормоча себе под нос: «Чего это я рванула, потом, когда уйдете, поставлю тесто».

Сусанна, стараясь не привлекать к себе внимания, осторожно переглянула с братом, сидящим по правую руку от нее. Тот вздернул брови и повел плечом. Это был самый долгий разговор, который они когда-либо слышали от тетушки. Обычно она ограничивалась односложными фразами или вообще молчала, теперь же не просто решилась на целый диалог, так еще, проходя мимо брата, погладила его по волосам. Это был счастливейший из завтраков, на котором они когда-либо присутствовали.

Со стола всегда убирала тетушка. Сусанна под предлогом мойки посуды выпроваживала мужчин, сама же покидала дом, выждав несколько минут. Она не хотела, чтобы отец с братом раньше времени увидели ее с Симоном. Вот окончит школу, тогда и познакомит их.

Мгновенно засияв при виде возлюбленного, преданно поджидающего ее за домом Безымянной, она вручала ему сумку с учебниками и спрашивала срывающимся от счастья голосом:

— Скучал?

— Скучал, — неизменно отвечал он.

Они успели распланировать будущее и всё уже о нем знали: поступать Сусанна будет в педагогический институт — на факультет начального образования. В августе, перед отъездом в город, они помолвятся. Симон, подзаработав немного денег, восстановится на архитектурном. Если все удачно сложится, следующим летом они сыграют свадьбу и, как семья, получат комнату в семейном общежитии. Отучившись, вернутся в Берд. Родят троих детей — двоих мальчиков и девочку. Имена сыновей выберет Сусанна, девочку же назовут Тэйминэ — в память о матери Симона. Жить будут сто лет и умрут обязательно в один день.

Слух о том, что у Сусанны появился жених, быстро разлетелся по школе. Снедаемый ревностью, твердолобый Каро попытался вызвать соперника на разборку, но был подвинут снисходительным «ширинку застегни, герой». К Сусанне он больше не цеплялся, но не сводил с нее тяжелого взгляда, а еще, проходя мимо, норовил прикоснуться к ней. Она брезгливо отстранялась, но терпела — ждать осталось недолго, скоро все закончится. Меланья уговаривала ее пожаловаться Симону, но она отмахивалась — походит и отстанет, что с дурака взять.

Выпускные экзамены обе подруги сдали на отлично. Утром 20 июня Сусанна собралась в школу — получать аттестат. Так как сбор учеников назначили на 11 утра, Симон ее не сопровождал — он давно уже был на стройке. Выйдя на Садовую улицу,

она сразу заметила припаркованный на противоположной стороне дороги новенький светло-голубой «москвич». Автомобили в Берде были большой редкостью, потому она замедлила шаг, чтобы получше его разглядеть. За рулем курил смутно знакомый молодой мужчина, но Сусанна, как ни силилась, не смогла вспомнить, где его видела. Поравнявшись с машиной, она чуть наклонилась, чтобы рассмотреть салон. В ту же секунду «москвич» взвыл мотором, резко подал вперед и встал наискось, закрыв ей путь. С шумом распахнулись задние дверцы, оттуда выскочили двое мужчин — Сусанна еще успела удивиться, почему их не заметила, ну не прятались же они на самом деле на заднем сиденье. Они налетели на нее и, скрутив, поволокли в машину. Она попыталась вырваться, и ей это почти удалось, но один из них двинул ее локтем под ребра, и она, охнув, обмякла. Пришла в себя почти сразу же, но время было упущено — ее успели затащить внутрь, и машина, хлопнув дверцами, рванула с места. Сусанна взвыла от ужаса и, вывернувшись из рук скрутивших ее мужчин, резко подалась вперед и вцепилась зубами в плечо водителя.

— Угмоните ее! — крикнул он, и она сразу же его узнала — это был двоюродный брат Каро — он недавно заходил в школу под предлогом проведать его, а на самом деле, видимо, чтобы увидеть и запомнить ее. «Отпустите меня!» — закричала она неузнаваемым, страшным голосом, и тогда один из похитителей, схватив за косы и заставив откинуться на спинку сиденья, зашипел ей в лицо: — Вот довезем куда надо и тогда отпустим.

Ее привезли в какой-то дом на окраине деревни Айгепар, заперли в пустом погребѣ. Она попыталась выбраться, но окошко было слишком узким, а выбить дверь не хватило сил. К вечеру появился Каро — она потом уже узнала, что он не сразу поехал, чтобы не навлекать на себя подозрений. Явился в школу, видел, как беспокоилась на торжественной церемонии Меланья, как она, забрав аттестат подруги, побежала к ней домой, чтобы разузнать, почему ее не было на вручении.

Каро зашел в погреб и с порога объявил, что она теперь от него никуда не денется, потому что он ее похитил. Сусанна метнула в него единственным, что нашла на полках — глиняной крышкой от караса. Уже потом она сообразила, что нужно было расколотить эту крышку и ранить похитителя осколком, а еще лучше — вскрыть себе вены, как раз к вечеру вся кровь бы вытекла и она бы благополучно умерла. Но в заточении все ее мысли были не о смерти, а о Симоне — она не сомневалась, что он ее найдет и спасет. Или, может быть, додумывала она, виня себя в том, что не все сделала для своего спасения, может, нужно было притвориться, что она совсем не против быть женой Каро, обнять, дать себя поцеловать, усыпить бдительность и, улучив минуту, бежать? Выскочить во двор, добраться до ближайшего жилья, попросить помощи. Или стукнуть его чем-то тяжелым — она по сотому разу восстанавливала в памяти тот злосчастный погреб, его узкие пустые деревянные полки, крохотное, шириной в две детские ладони, окошко, неровный земляной пол, одинокую глиняную крышку, позабытую в самом углу, — ясно было, что они загодя вынесли все,

чтобы у нее не было возможности вырваться оттуда или хотя бы защитить себя...

— Пойдем в дом, я белье чистое постелил, — сказал он и потянул ее за руку. Она толкнула его в грудь, он вздернул бровь и нехорошо улыбнулся, тогда она вцепилась ему в лицо ногтями, а он повалил ее на холодный земляной пол, и она, как ни вырывалась и ни отбивалась, не смогла его перебороть.

Ночью наконец приехал Симон с какими-то парнями, ворвался в дом, она вышла к нему с разбитой скулой и искусанными губами и шепнула, смотря куда-то вбок: «Ты опоздал». Он повалил Каро на пол и избивал ногами, тот сначала сопротивлялся, потом свернулся гусеницей и прикрыл голову руками. Терпел, сцепив зубы, не стонал. Потом Симона оттащили, и он, задыхаясь от бессильной ярости, велел ей собираться, но она покачала головой и повторила, в этот раз громче: «Ты опоздал!»

— Мне плевать, что здесь было, поехали, я на тебе женюсь, — выдохнул он. Она слушала, упрямо отводя взгляд, вынуждая его нагибаться и заглядывать ей в глаза, и за тот короткий миг, что он это проделывал, она безошибочным женским чутьем уловила в его голосе именно ту интонацию неуверенности и страха, которую с болью ждала, и догадалась — эта ноша ему не по плечу. Ему не справиться с неизбежными сплетнями и шепотами о том, что он вынужден был взять в жены порченную, изгаженную чужим мужиком девушку.

— Ты опоздал! — закричала она с такой силой, что казалось — это не она, а небеса разверзлись и исторгли из себя тысячеголосый страшный

крик. — Ты опоздал! — кричала она, осознавая, что не родить им двух мальчиков и девочку, не прожить счастливо сто лет и не умереть в один день... Она так и не посмотрела на него, но видела краем глаза, как уводили его друзья, как он, безропотно подчинившись, покинул дом первым, как последний уходящий закрыл за собой дверь — тщательно, до щелчка. Она кричала и кричала, захлебываясь собственным беспросветным горем, и умолкла, когда Каро, тряхнув ее за плечи, попросил: не нужно, не кричи. И лишь тогда она, наконец, умолкла.

Она ушла в ту же ночь. Каро не остановил ее, потому что не сомневался, что никуда теперь она от него не денется. Она добралась до дома к рассвету, хотела заглянуть в закут к отцу, но передумала — какой смысл его будить, утром поговорят. По той же причине не стала будить брата с тетушкой. Затопила баню, тщательно вымылась, немилосердно натирая себя мочалкой и дегтярным мылом.

Бабушка ждала ее на веранде. Сидела на тахте, широко расставив отечные ноги и опершись на колени локтями — большой живот висел между ног тяжелым бесформенным мешком, глаза — темные, беспощадные — смотрели прямо, не мигая.

— Зачем ты вернулась? — спросила она скрипучим, неожиданно бесцветным голосом.

— А зачем я должна жить с тем, кого не люблю? — вопросом на вопрос ответила Сусанна, закручивая и выжимая тугую прядь волос.

Бабушка откинулась на спинку тахты, выдохнула, раздражаясь ее непонятливости.

— Об отце с братом ты, конечно, не подумала. Как им с таким бесчестьем теперь жить? Брат твой, малолетний дурак, весь день рыскал по городу с ножом в кармане. Ну найдет он его, ну убьет, а дальше что? Хочешь, чтобы его посадили в тюрьму? И что ты от этого выиграешь?

Сердце Сусанны мгновенно переполнилось беспросветным чернильным отчаянием. Захотелось разбежаться и раскроить себе голову о косяк двери. Бабушка, словно прочитав ее мысли, обернулась к двери, цокнула языком, перевела взгляд на нее.

— Случившегося не исправишь, — каркнула она. — Возвращайся к тому, кто тебя похитил. Никому ты теперь, кроме него, не нужна.

— Ты, должно быть, довольна, — совладав с дрожью в голосе, прошептала Сусанна.

— Чем это я должна быть довольна?

— Тем, что твои проклятия наконец достигли цели. Ты же этого хотела?

Бабушка подалась вперед, снова облокотилась на колени. Глухо рассмеялась.

— Иди спать.

— За что ты всех нас так ненавидишь? — нагнувшись к ней, Сусанна и, не дождавшись ответа, зашипела: — Нужно было задушить тебя подушкой, когда ты спала. Жаль, я раньше не подумалась.

Бабушка снова глухо рассмеялась.

— Иди спать, полоумная.

Утром Сусанна объявила семье, что сбежала по собственному желанию. Поскольку все сбежения отца ушли на могильный камень для

матери, она не захотела вовлекать его в новые траты. Теперь они спокойно могут обойтись без свадебных хлопот. Заверив всех, что счастлива и беспокоиться не о чем, она принялась собирать вещи. Днем за ней заехал Каро — в сопровождении матери, старшего брата и того самого жидкоусого племянника, водителя машины, на которой ее увезли. Накрыли скромный стол, посидели, выпили за счастье молодых. Бабушка к ним не вышла и с внучкой не попрощалась. Через три дня она умерла. Сусанна ее похороны тоже пропустила, взяв на себя готовку для поминального стола. Позже она узнала, что после ее отъезда бабушка в свою комнату не заходила и ночевала на той подпорченной древоточцем тахте. Там она и умерла от сердечного приступа, окруженная демонами и духами, терзающими ее на протяжении всей ее жизни и наконец-то заполучившими ее в безвозвратное свое распоряжение.

За шесть лет замужества мягкое и впечатлительное сердце Сусанны огрубело и превратилось в камень. Она так и не простила мужу случившегося. Все эти годы она планомерно превращала его жизнь в ад, совершенно не задумываясь над тем, что, измываясь над ним, сама черствеет душой. Изводила умеючи, с неиссякаемой энергией и удовольствием: придумывала обидные прозвища, дерзила и не упускала малейшего повода, чтобы, устроив выволочку, дуться неделями. Рожать она не собиралась, потому, осторожно разузнав у соседки о способах предохранения от беременности,

тайком от него пила крутой отвар кориандра и спринцевалась подкисленной уксусом водой.

Спала она, как прежде, мало и чутко, вскакивала от любого шума. В полусне ей мерещилось бормотание бабушки, и она потом долго ворочалась в постели, проклиная старуху, не оставляющую ее в покое даже после смерти.

Связь с Меланьей быстро оборвалась — та поступила в университет и редко выбиралась домой. Да и по приезде особо не стремилась увидеться с подругой, придумывая всякие отговорки на ее приглашения зайти в гости. Спустя время Сусанна от той же соседки узнала, что она собралась замуж за Симона.

— Крутилась все это время возле него, якобы утешала, ну и охмурила, — не щадя ее чувств, пустилась в сплетни та. Сусанна прислушалась к разлившемуся в сердце молчанию, пожала плечами — ну и черт с ней.

Она ушла от мужа, когда измученный Каро сам ее об этом попросил. К тому времени отец сошелся с вдовой, одинокой женщиной, и перебрался жить к ней. Брата недавно забрали в армию, и тетушка осталась совсем одна. Возвращению племянницы она была несказанно рада и подготовила к ее приезду бывшую комнату бабушки. Но Сусанна жить там отказалась. Тогда тетушка сама переселилась туда, уступив ей свою комнату. На том и порешили.

Первым делом Сусанна заглянула в родительский закут. Вещи матери лежали той же аккуратной стопкой на топчане. Она схоронила их в саду. Пригласила рабочих и попросила разобрать закут, а на немой вопрос тетушки ответила исчерпываю-

щим «не хочу, чтобы хоть что-то напоминало мне о горьком прошлом».

Устроилась на работу нянечкой в ясли, преданно возилась с детьми, находя в общении с ними отдохновение. Несколько раз, не понимая, зачем ей это нужно, заглядывала к Безымянной и, с сожалением убедившись в ее безумии, уходила. Попыток завести разговор с отшельниками не делала, чтобы не пугать их. Но иногда, словно в далеком детстве, играла с их домом в гляделки, ожидая какого-то знака. Не дождавшись, со вздохом отводила глаза. Мир, в котором она обитала, снова скукожился до крохотного беспросветного пятка, и она все чаще задумывалась над тем, что все ее попытки выбраться оттуда заранее были обречены на провал. Какой смысл надеяться на спасение там, где того спасения изначально не было predetermined Богом.

Весть о гибели брата настигла Сусанну на работе. Телеграфистка Марус сама принесла телеграмму, не оставив ее на следующий день почтальону. Сусанна несколько раз перечитала составленное казенным слогом сообщение о сорвавшемся в пропасть грузовике и героической гибели целого мотострелкового отделения.

— Как можно героически погибнуть в грузовике, который сорвался в пропасть? — спросила она. Марус, все это время простоявшая рядом и не сводившая с нее взгляда, отобрала телеграмму и протянула ей стакан воды — пей. Сусанна безропотно выпила и, вернув ей пустой стакан, ушла домой как была — в белом нянечкином халате и

легких туфлях на босу ногу. Ее догнали, накинули на плечи пальто, вручили сапоги. Она прижала их к груди и пошла дальше, не замечая снежной крупы, летящей в лицо. К весне они получили намертво запаянный свинцовый гроб. Сусанна представила, как военные выскоблили из рухнувшего в пропасть и сгоревшего дотла грузовика обугленные останки несчастных солдат и, разделив на тринадцать приблизительных частей, отослали по домам. Она прижалась щекой к крышке гроба, пытаясь ощутить присутствие брата, горько усмехнулась — да какая разница, чьи там останки, какая разница!

На похоронах враз постаревший и осунувшийся отец безутешно рыдал, вздрагивая ссутуленными плечами и утирая лицо насквозь промокшим платком. Сусанна стояла рядом и не могла выдавить из себя хоть слезинки. Симона она заметила, когда они уже покидали кладбище. Тот хотел подойти, но она не дала ему этого сделать, выставив в протестном жесте руку.

Он пришел на следующий день, беспрепятственно проник в погруженный в траур дом, вычислил комнату Сусанны, зашел без стука. Она лежала, отвернувшись к стене. Любимые братом роскошные золотистые волосы она коротко остригла в день, когда получила известие о его гибели. Симон лег рядом, приобнял ее, зарылся лицом в безжалостно обкорнанные мягкие кудри, горестно расплакался. Она повернулась к нему, протерла ладонью слезы — ну чего ты!

Он поцеловал ее в сухие горячие глаза, она его — в губы. Это был первый их поцелуй.

Песчаная буря, накрывшая душным облаком Араратскую долину, угомонилась к началу августа и отступила, оставив после себя наметенные ветром выгорелые пики крохотных, по щиколотку, барханов, окаймляющих причудливым кружевом границы фермерских хозяйств. Коммунальные службы, в преддверии сезона дождей, обстукивали водосточные желоба и карнизы крыш, вытряхивая оттуда песчаные и мусорные закупорки. Город постепенно избавлялся от сонного оцепенения, возвращаясь к жизни. На праздник Успения его вновь заполонили туристы и верующие, приехавшие на праздничную литургию и обряд освящения винограда.

Утро началось со значительного скандала. Заглянув в одну из сувенирных лавок, Сусанна обнаружила, что цену на шелковые платки удвоили, не предупредив ее об этом. Она отдавала их за достаточно малые деньги с условием, чтобы как можно скорее разошлись — временем и возможностью ждать покупателей, готовых оставлять за ее работы необдуманно большие деньги, она не располагала. Хозяйка магазина, бесцеремонная крикливая особа, попыталась вытеснить рассерженную Сусанну из крохотного душного зальчика в подсобное помещение, подальше от польских туристов, разглядывающих выложенные на стеклянных витринах сувениры. Но та не далась и принялась обвинять ее в мошенничестве в присутствии обомлевших европейцев, поспешивших сразу же покинуть помещение. Хозяйка, расстроенная подобным оборотом, налетела на Сусанну, обзывая ее неблагодарной дурой. Та в долгу не осталась и подняла ответный

хай. Вдоволь поскандалив, потребовала деньги за проданные платки.

— И непроданные отдай! — велела она, яростно пересчитывая купюры.

— Зачем?

— Найду кому сдать. А ты торгуй теперь этим барахлом, — кивнула она с пренебрежением на акkuratные ряды четок, крохотных каменных хачкаров и серебряных нательных крестов.

Лицо хозяйки мгновенно вытянулось.

— Бога бы побоялась!

Сусанна запихнула в сумку платки, сердито застегнула молнию. Вышла, не удостоив ее ответом. Кому-кому, но не нечестной торговке ее Богом попрекать!

Платки она оставила в ювелирном магазинчике. Хозяин — высоченный, седобородый и темнобровый ювелир, отчаянно напоминающий Шона Коннери, ей ужасно нравился. Судя по восхищенным взглядам, которыми он ее провожал, она тоже была ему небезразлична. Сусанна осторожно навела о нем справки, узнала, что женат, имеет двоих сыновей. Старший успел переехать в Россию и обзавестись семьей, а недавно забрал к себе мать, чтобы она помогла с новорожденным ребенком. Отец с младшим сыном остались одни, правда, ненадолго — жена к концу осени собиралась возвращаться. Отец мастерил удивительной красоты серебряные украшения, сын помогал ему, а еще заменял за прилавком продавщицу, которой нужно было несколько раз на дню ненадолго отлучаться,

чтобы провести прикованную к постели мать. История с продавщицей тронула Сусанну. Ювелир, похоже, был порядочным и сердобольным человеком. Другой бы давно нашел себе нового работника, а этот не стал от нее избавляться. Сусанна не сомневалась, что, окажись на его месте, поступила бы ровно наоборот. Много лет назад она запретила себе поддаваться чувствам и никогда больше не терзалась сомнениями при выборе между трезвым расчетом и состраданием. Хладнокровие ее граничило с откровенным пренебрежением, отстраненность — с равнодушием. Муж иногда подтрунивал, что из нее получился бы отличный сотрудник спецслужб. «Ты бы разорила свое ведомство, потому что оно вынуждено было бы тебе выписывать бесконечные премии за образцовую службу!» Сусанну его шутки не задевали, она была достаточно честным человеком, чтобы признавать свои недостатки. И довольно безразличным, чтобы не страдать от угрызений совести.

К ювелиру она заглянула еще в начале лета. Девочки рылись в сундуке, нашли ее шкатулку со старомодной бижутерией, обвесились пластмассовыми бусами и браслетами, нашарили на самом дне костяную шербатую пуговицу. Счастье, что не выкинули, а принесли ее Сусанне. Та убрала ее в кармашек сумки, а на следующий день, на обратном пути домой, зашла в мастерскую.

— Это единственная память о моей матери. И я бы хотела превратить ее в украшение, — объяснила она ювелиру. Тот аккуратно, двумя пальцами, взял с ее ладони пуговицу.

— И что бы вы хотели, чтобы я из нее сделал?

— Кольцо или кулон. На ваше усмотрение. Я полностью полагаюсь на ваш вкус, — ответила она — и улыбнулась.

Улыбка ей очень шла. Она подчеркивала каждую морщинку, каждую складочку ее лица, но не добавляла возраста, а удивительным образом убавляла. Сусанна отлично знала об этом свойстве своей улыбки и всегда пускала ее в дело, когда старалась понравиться мужчинам. Впрочем, особых усилий для этого не требовалось: она, как и прежде, была хороша собой и в свои сорок восемь выглядела значительно моложе. Красота ее с годами стала сдержанной и вдумчивой, притушила живой блеск глаз и заострила черты лица, волосы потемнели и заметно поседели на висках, но даже седина странным образом убавляла ей возраст: казалось, она заключила со временем договор и оно щадило ее, замедляясь в необратимом своем течении.

В назначенный день хозяина в магазинчике не оказалось. Сусанна огорчилась, однако виду не подала. Продавщица торжественно вынесла бархатную коробочку, но не стала ее открывать. Вместо этого, поставив ее на витрину, она сделала приглашающий жест рукой — давайте сами. Сусанна раскрыла коробочку и не смогла сдержать возгласа восхищения: ювелир сделал невозможное, превратив старую костяную пуговицу в настоящее произведение искусства. Он покрыл ее лаком и украсил едва различимыми прожилками серебра. Там, где раньше были стертые почти до прозрачности дырочки, теперь красовались три барочные жемчужины, заключенные в воздушную оправу. Края же пуговицы обрамлял неровный кант из черного

серебра, придающий всей конструкции сдержанное благородство.

Сусанна надела кольцо, отвела руку в сторону и залюбовалась им. Невзирая на внушительные размеры, оно было удивительно легким и почти не ощущалось на пальце.

— Будто родилась с ним, — призналась она. Девушка аж подпрыгнула от счастья.

— Ой, как хорошо! Вы не представляете, как он мучился. Голову сломал, пока окончательный вариант утвердил. Их же штук восемь было!

— Кого штук восемь было? — оторвалась от созерцания кольца Сусанна.

— Вариантов! Сам извелся и нас извел, выбирая. Очень хотел угодить вам!

Миловидное лицо продавщицы светилось неподдельной радостью, на щеках выступил нежный персиковый румянец. Сусанна представила, как она несколько раз на дню прибегает домой, переодевает бездвижную мать, растирая и обрабатывая тело от пролежней, кормит ее, терпеливо поддакивая недовольному ворчанью, замачивает грязное белье, чтоб вечером постирать и вывесить, и снова, задыхаясь, несется на работу.

— Вы замужем? — спросила она.

Девушка замотала головой — нет.

— Я бы хотела, чтобы жена моего брата была такой, как вы.

Слова вылетели раньше, чем Сусанна успела спохватиться. Она поспешно стянула кольцо, спрятала его в коробочку и не прощаясь выскочила из магазина.

В утро скандала, покинув сувенирную лавочку, она первым делом направилась к торговым павильонам, раздумывая, у кого оставить забранные платки. Ювелир курил, прислонившись плечом к дверному косяку мастерской, и прихлебывал из чашечки остывший кофе. Она выставила руку и пошевелила пальцами, горделиво демонстрируя кольцо. Он рассмеялся и, будто бы готовясь выпить за ее здоровье, поднял чашечку выше головы.

— Нальете и мне? — попросила она.

— Конечно!

Сусанна зашла в мастерскую, оглядела небольшое, обставленное разномастным оборудованием, густо пропахшее лимонной кислотой, серой и жженым воском помещение, чихнула несколько раз.

— Запах, к сожалению, не выветривается, — извиняющимся тоном пояснил ювелир и вытащил из-под стола деревянный, обитый вылинявшим велюром табурет, — садитесь.

— Это аллергия, — вздохнула она, уселась и, пока он варил кофе, неожиданно для себя, пригорюнившись, выложила ему все: про утренний скандал, про то, как тяжело приходится работать, чтобы прокормить семью, про вечно недовольную свекровь и мужа, страдающего дикими болями в позвоночнике.

— Что врачи говорят?

— Случай сложный, оперировать не берутся. Советуют везти в Москву. А это немыслимые для нас деньги.

— Представляю!

Она украдкой любовалась тем, как он медленно, стараясь не расплескать, переливает из узкогорлой

джезвы в чашечку кофе, как открывает баночку с песочным печеньем, как высвобождает на заставленном инструментами столе угол и протирает его влажной салфеткой.

Заполучив свою порцию кофе, она поблагодарила и завершила, что выпьет и сразу же уйдет, чтобы не отрывать его от работы. Он запротестовал: «Не спешите, я с вами отдыхаю. Лучше покажите свои работы».

Она передала ему сумку. Он вытащил несколько платков, развернул, придирчиво разглядел, похвалил.

— Сами придумывали рисунок?

— Нет. Шаблоны достались мне... на память.

— От кого? Впрочем, это не важно. А давайте вы оставите платки у нас, мы, думаю, быстро их продадим.

Сусанна стала отнекиваться, но он ее оборвал:

— Это повод видаться с вами чаще.

Она смутилась. Попыталась допить одним глотком кофе, подавилась гущей, закашлялась. Он налил ей воды, постучал по спине. Она ойкнула — не рассчитав силы, он ударил сильнее, чем собирался.

— Это от страха! — заоправдывался он, и она успокаивающе замахала руками — все в порядке.

До дома идти было далеко, но Сусанна решила прогуляться. Она шла, стараясь держаться тени, и думала о том, как мало в ее жизни было любви. У матери был отец, у отца — мать. Потом у него появилась другая женщина, с которой он счастливо прожил до самой своей смерти. У тетушек

была бабушка. Младшая тетушка пережила ее на несколько лет и умерла от пустяковой простуды. Врачи не могли взять в толк, как такое могло случиться, но Сусанна знала — она ушла не из-за болезни, а потому, что лишилась смысла своего существования. Два главных человека ее жизни — мать и старшая сестра — покоились в земле, и она последовала за ними, воспользовавшись первым подвернувшимся случаем.

Брат, единственный, кто по-настоящему любил Сусанну, рожден был не для жизни. Она это знала и оберегала его, как умела. Но спасти не смогла.

У нее была подруга, но она ее предала. У нее был любимый человек, с которым она собиралась прожить сто лет и умереть в один день, однако он ее бросил. Сусанна так и не простила его, но и особенно зла не держала. Она не то чтобы верила в судьбу, но не сомневалась, что написанного на лбу не изменить. Ей, наверное, суждено было расстаться с Симоном, а потом, спустя шесть лет, снова сойтись, чтобы, прожив с ним под одной крышей почти год, разбежаться, теперь уже навсегда.

Она его действительно любила, каким-то израненным оголтелым чувством. Летела с работы домой на всех парах, чтобы успеть к его приходу накрыть стол. Не отходила от него ни на шаг, обнимала, держала за руки, гладила и целовала. Даже мылись они всегда вместе, она обожала его голое тело, красивые плечи, сильные крепкие руки, широкие уверенные ступни. Они были идеальными любовниками, совпадающими, словно детали безупречно сконструированного устройства. Там, где у нее был выдох, у него был вдох, где ей было

душно, его бил озноб. Сосуществование было единственно возможным для них состоянием, врозь им казалось, что они задыхаются.

Симон перебрался к ней сразу же после похорон брата. Меланья рыдала и скандалила, не давала ему собрать вещи, а когда поняла, что его не удержать, легла на порог. Он перешагнул через нее и вышел. Детей за четыре года брака у них не случилось, любви — тоже. Симон уже заводил какие-то мимолетные связи на стороне, доводя жену до отчаяния. С ее чувствами он особо не церемонился. Женился потому, что переспали — влюбленная в него Меланья сделала все, чтобы привязать его к себе. По большому счету, он не обещал ее любить и не считал себя чем-то ей обязанным. Она очень старалась быть ему хорошей женой, но достучаться до его сердца так и не смогла. Отношения, вполне возможно, укрепили бы дети, но забеременеть ей не удалось. Сусанна была уверена, что причина кроется в ней. Нет, она не проклинала бывшую подругу и никогда не желала ей зла, но и не сомневалась, что каждому, абсолютно каждому суждено заплатить сообразную своему проступку цену. Меланья ее предала, и ценой ее предательства стала бездетная и безрадостная семейная жизнь.

Спустя годы, оборачиваясь на счастливое время, прожитое с Симоном, Сусанна все больше убеждалась, что своим возвращением он спас ее от безумия, в которое она неизбежно бы скатилась, оставшись в отцовском доме. После смерти брата она почти разучилась спать, вздрагивала от любого шума и проводила ночи в безуспешных попытках хотя бы задремать. Разбудить ее могло что угодно:

капли дождя, стучащие по подоконнику, уханье совы, умиротворяющее пение сверчков, наводящее сон даже на ночных обитателей мира. Сусанна смастерила себе ватные затычки для ушей, однако толку от них было мало. Она завела привычку лежать на левом боку, лицом к стене, потому что, если оборачивалась к окну, в складках штор ей чудился силуэт бабушки и ее бесконечный отвратительный шепот. Часто, оказавшись между сном и явью, она обнаруживала себя запертой в том самом погребе и, проснувшись, яростно рыдала, заново переживая случившееся и не понимая, как выкарабкаться из той пучины, в которую ее ввергла жизнь.

Симон обернулся для нее настоящим спасением — с ним она научилась засыпать. Первое время, тщетно проворочавшись с боку на бок, она уходила из комнаты, чтобы не будить его. Но он сразу же поднимался и шел ее искать. Она заваривала чай с мятой, и они пили его, устроившись на тахте. Она сворачивалась под его рукой калачиком, он гладил ее по волосам и вел неспешную беседу на отвлеченные темы.

Однажды она призналась ему, что никогда не умела рисовать, но всегда хотела. На следующий же день он купил карандаши, краски и альбомы, и теперь, когда ей не спалось, они рисовали. Точнее, он рисовал, она же достаточно коряво пыталась повторять за ним, а потом, отложив в сторону карандаш, с замиранием сердца наблюдала, как он перерисовывает кухонную утварь, с поразительной достоверностью передавая каждую выемку и щербинку, каждую, казалось, незначительную деталь. Он объяснял ей технику рисунка, но

она качала головой — ты же видишь, мне это не дано. Тогда он стал выводить контур, а ей поручал раскрашивать карандашами и акварелью. Она старательно водила кистью, вдыхая в бесплотные гранатовые зерна и половинки абрикосов жизнь. Спустя годы, когда она вынуждена будет взвалить на себя заботу о семье, она достанет те натюрморты, которые он для нее рисовал, и перенесет узор на шелковую ткань. Первые работы получатся беспомощными, словно сделанными ребенком, но она, вспоминая уроки Симона, будет очень стараться и постепенно наберется мастерства. Платки ее станут расходиться с удивительной быстротой, потому что она окажется из тех людей, которые не просто чувствуют, но и умеют передать цвет. Часто, рисуя, она будет водить рукой по воздуху. Со стороны будет казаться, что она выдергивает, словно мастерица, ткущая ковер, нити разноцветной пряжи и переносит их в единственно верном порядке на шелк.

Симон не просто обогрел ей душу. Он обладал редким утешительным качеством, свойственным только детям и старцам: в его присутствии странным образом отступали призраки прошлого, и порой достаточно было одного его прикосновения, чтобы успокоилось сердце и развеялась тревога.

— Из тебя, наверное, получился бы хороший доктор. Жаль, что ты не пошел на него учиться, — как-то шепнула ему Сусанна.

Он пожал плечами:

— В некотором роде из меня действительно получился доктор, только лечу я не людей, а дома. — И поморщился — до чего же пафосно прозвучало!

К тому времени, освоив ремесло каменщика, он потихоньку брался за заказы. Работал медленно, но на совесть, деньги зарабатывал приличные, потому планировал через год-другой, поднаторев, урезать свою ставку в строительном управлении наполовину и вплотную заняться частными заказами.

— Первым делом перестроим твой дом, — обещал он Сусанне. Она воспротивилась — первым делом мы построим другое жилище и съедем отсюда.

Они успели заново распланировать свое будущее, без колебаний забрав туда все, о чем раньше мечталось: трое детей, большой уютный дом, сто счастливых лет.

— В этот раз все обязательно будет по-другому, — не сомневался он. Она не спорила, но с беременностью не торопилась — нужно было дожидаться развода, который Меланья ему не давала.

Столкнулись они в магазине. Сусанна не сразу узнала бывшую подругу — та сильно осунулась и подурнела. Услышав ее нерешительное приветствие, вздернула брови, но до ответа не снизошла. Прошла мимо, отметив про себя, до чего ей не к лицу переживания. Одних людей горе наполняет бережным светом, прибавив облику жертвенности и тихой печали, а над другими откровенно глумится, обездушивая и иссушая черты. С Меланьей было именно так: когда-то живое, светящееся радостью ее лицо осунулось, глаза потухли, а плотно сжатые губы окаймляли тревожные скобки морщин. Изменилась даже фигура — она будто бы

убавилась в своем и без того небольшом росте и скособочилась — ходила, выставив вперед левое плечо и склонив голову, и выглядела скорее вдовой, чем брошенной женой. Заговорить с Сусанной на людях она не решилась, но последовала за ней, стараясь держаться на расстоянии, и осмелилась подойти лишь тогда, когда та свернула с Садовой улицы к своему дому. Там она ее догнала и, вцепившись в ремешок сумки, потянула на себя.

— Сусо!

Сусанна обернулась.

— Послушай меня, — зачастила Меланья, опасаясь, что та не даст ей договорить. — Ты, наверное, думаешь, что я тебя предала. Я бы сама, окажись на твоём месте, так бы думала. Но я этого не делала. Я люблю тебя и всегда любила...

Сусанна собиралась уже одернуть ее, но увидела, как отворилась дверь дома Безымянной и та вышла оттуда, держа на вытянутых руках какой-то грязный, завернутый в тряпье сверток. Выражение ее лица, обычно рассеянно-безразличное, сейчас было сосредоточенно-устремленным: казалось, она наконец-то обдумала и приняла важное решение и теперь торопится его осуществить.

— Можешь покороче? — грубо оборвала Меланью Сусанна.

Та запнулась, сбита с толку, судорожно вздохнула. Ремешок чужой сумки она так и не выпустила, стояла, крепко сжимая его в пальцах и не замечая, как впивается ногтями себе в ладонь.

— Ты, наверное, не поверишь и будешь права... — начала она, но сразу же перебила себя: — Нет, не то. Сейчас. Я быстро. Помнишь, однажды

в школе тебя защитил парень из старших классов? Мы прижали тебя к забору, он выскочил из...

— Помню. И?

Безымянная шла вдоль поваленного частокола, едва слышно напевая под нос заунывное. Сусанна, отметив странность ее походки, пригляделась и заметила, что та старается идти таким образом, чтобы не наступать на цветущие кустики осота и пастушьей сумки, растущие беспорядочно по всему ее двору. Меланья, проследив за ее взглядом, теперь тоже заметила Безымянную и, не задумываясь над тем, почему так поступает, встала таким образом, чтобы оказаться между ней и Сусанной.

— Так вот, — продолжила она с прерванного места, — тем парнем, который отбил тебя, был Симон. Вы с ним этого не знаете, а я — знаю. Кажется, я его с того дня и полюбила. Я его, наверное, всегда любила. Я бы никогда не причинила тебе вреда, потому что он души в тебе не чаял. Я любила все, что он любил. И всегда делала все, чтобы он был счастлив. И если бы не случилось той истории с... похищением, я бы никогда... Я просто была бы рядом, помогала бы тебе. Грелась бы вами. Возможно, вышла бы за кого-нибудь замуж, а может быть — нет. Но я бы никогда...

— Ты женила его на себе! — выкрикнула, словно ударила, Сусанна.

Меланья съежилась.

— Не я, так кто-то другой. Отпусти его, пожалуйста. Посмотри, какая ты красавица, любого пальцем поманишь — и он будет твоим. Оставь Симона мне, я не смогу без него жить. Я без него умираю.

Сусанна попыталась разжать ее пальцы, чтобы высвободить ремешок своей сумки, но Меланья не поддавалась. Тогда она приблизилась лицом к ее лицу, выговорила, выплевывая каждое слово:

— Ну так сдохни, раз не можешь без него жить!

В ту же секунду поравнявшаяся с ними Безымьянная широко размахнулась и с необъяснимой для своего тщедушного сложения силой кинула в них сверток. Перелетев через поваленный часток и настигнув Меланью, он угодил в ее спину и свалился на землю, подняв облачко пыли. Тряпье разлетелось, обнаружив под собой чугунный утюг. Меланья резко выгнулась и, выпустив наконец ремешок сумки Сусанны, рухнула на колени. Поэтому, как она смертельно побледнела, как тяжело, с всхлипами задышала и утробно завывала, было ясно — ей невыносимо больно.

Сусанна выбежала на Садовую улицу, чтобы остановить попутку. Объяснив водителю случившееся, метнулась обратно, намереваясь вывести Меланью — в узкий отросток их улочки машина бы не протиснулась. Застала она ее лежащей на земле. Безымьянная, подняв утюг, стояла над ней с таким решительным и беспощадным видом, будто собиралась разmozжить ей голову.

— Не смей! — закричала Сусанна. — Отойди от нее! Слышишь, ты, полоумная! Отойди!

Безымьянная, растерянно моргнув, обернулась к ней, сникая лицом. Перешагнув через свою жертву, она поплелась к дому, прижимая к груди утюг. Сусанна схватила с обочины камень, кинула со злостью в нее, однако промахнулась. Угодив в стену,

камень отскочил и затерялся в зарослях одичалого сада.

— Пошли, машина ждет, — велела она Меланье. Помогать подниматься ей не стала — из страха сделать больно и из чувства брезгливости. Произошедшее странным образом не добавило участия к бывшей подруге, а наоборот — отвернуло от нее навсегда. Она с беспощадной ясностью, наконец, осознала, что не желает иметь ничего общего ни с ней, ни со своими безумными соседями, ни с домом, наполненным горькими воспоминаниями и тенями мертвых, ни с городом, где родилась и выросла, но с которым так и не смогла сродниться. Нет и не может быть у нее здесь будущего. Никто ее не спасет и не защитит. Бежать, бежать отсюда как можно скорее!

Уехала она сразу же, как продала дом и всю утварь — ничего брать с собой не пожелала. Смертельно обиженный Симон, не смилившийся с ее решением, не стал даже прощаться с ней. В память о нем она сохранила рисунки. Рисунки Симона и старая костяная пуговица матери — вот и все, что она забрала с собой из прошлого.

Другая жизнь оказалась совсем не легкой, но Сусанна утешала себя мыслью, что теперь это не навязанная судьбой история, а ее собственный выбор. Она прожила много лет в любовной связи с женатым мужчиной, расставшись с ним, встречалась с владельцем комиссионных магазинов, коих после развала Союза в Армении расплодилось множество. Замуж вышла поздно — почти в сорок лет. Муж оказался замечательным человеком, души в ней не чаял, но серьезно за-

болел — дала о себе знать тяжелая юношеская травма.

Возможно, стоит завести роман с ювелиром, думала Сусанна, роясь в сумке в поисках ключа. Она еще полна сил, никому ничем не обязана, одна тянет ляжку за семью... Сколько еще ей отпущено лет? Желания отдавать и отдаваться? Ощущать себя полноценной и чувственной женщиной, а не нянькой полуинвалида, для которого каждое движение — боль?! Она заслужила еще одно, пусть и мимолетное, счастье и не собирается в нем себе отказывать!

Наконец-то найдя ключ, она отперла дверь и шагнула в прихожую.

Муж лежал на полу, неловко подвернув под себя руку. Лицо его — мертвенно-бледное, искаженное болью — сковала гримаса страдания. Плотнo сжатые губы посинели, на лбу блестели крупные капли пота.

Сусанна кинулась к телефону — вызванивать скорую. Испугавшись, что муж потерял сознание, попыталась привести его в чувство, но он глухо застонал и открыл глаза. Она ужаснулась тому, что не может различить его зрачков — глаза его были невообразимой, бездонной черноты.

— Потерпи, миленький, сейчас, — запричитала она.

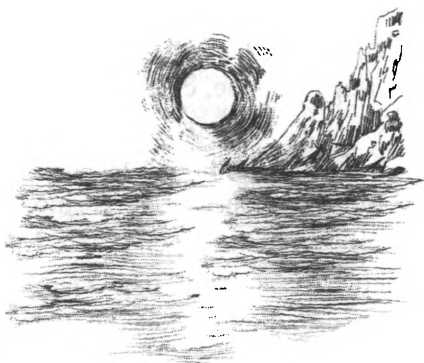
Он с видимым усилием разлепил губы и прошептал: «Все хорошо, Сусик-джан, не так уж и больно». И улыбнулся — мимолетной, удивительно легкой, светящейся улыбкой.

Она вспомнила другую такую же улыбку — и разрыдалась — тяжелыми и ясными слезами.

Обмануть судьбу не удалось, спрятаться от нее — тоже. Прошное никуда не делось, оно всегда было рядом и останется с ней навсегда.

Она легла рядом с мужем, прижалась щекой к его плечу. Зашептала, убаюкивая боль — ш-ш-ш, ш-ш-ш. С облегчением выдохнула, услышав приближающийся вой сирены скорой помощи. Но даже тогда, когда машина, истошно взывая, заехала во двор, она не пошевелилась. Она лежала, уткнувшись в плечо мужа, и заговаривала боль — ш-ш-ш, ш-ш-ш.

МОРЕ



Симону собственные похороны решительно не нравились: суетно, шумно, много бестолковой скорби. Невестки аж глаза выплакали. Можно подумать, кто-то их об этом просил.

Назойливый запах камфары раздражал до одури. Если бы мог — сунул бы голову под кран. Вырвать бы старой Катинке позвоночник за неумную энергию и неуместные советы. До ста лет дожила, а мозгов так и не набралась. Сама не помрет и другим уйти со спокойной душой не даст!

Опять же наушники. Целого состояния стоили. Спрашивается — зачем их у мальчика (запамятовал, как зовут) отнимали? Ходит вон кругами, гроб прадеда ненавидящими глазами сверлит. Только при чем здесь прадед? Если бы знал, что своими ушами оскорбит эстетические чувства всего семейства, каким-нибудь другим способом бы представился! Синие уши их, видите ли, коробят. На свои посмотрите!

Меланья опять же. Развела салон Анны Шерер, собрала вокруг себя всех его пассий, устроила посиделки с вином. Скупиться не стала, пустила остатки прошлогоднего красного — густого и вязкого, словно фруктовый взвар. Лето выдалось правильное — в меру жаркое, с нечастыми, но обильными дождями, мускат уродился волшебный, аж жаль было срывать. Получилось не вино, а эликсир бессмертия. Берегли, как могли. Видно, для того, чтобы последнее на бабий треп ушло. Главное — расселись вокруг, устроили четыре свадьбы и одни похороны. Не уgomонились, пока не перемыли ему все косточки. Симон не знал — смеяться или плакать. Послушать их — он каждую спас. Где он там кого спасал? Сам, как мог, спасался. Если бы не они, ну и еще десяток-другой мимолетных, ничего не значащих связей — рехнулся бы с концами. А так благодаря женщинам и жил. Плыл от одной к другой, словно от пирса к пирсу. Пристанет, передохнет, наберет побольше воздуха в легкие — и пускается дальше.

Младшая невестка подала последний кувшин вина с жареным сыром. Приготовила, как он любил — обваляла в сухарях, обжарила, не давая распуститься, на сильном огне, обсыпала мятой, наложила в отдельную миску острой аджики. Симон знал — она для него старалась. В память о нем. Меланья, молодец, все верно истолковала, погладила ее по щеке, поблагодарила. Младшая невестка всегда по-особенному к нему относилась. Она выросла без отца и души в нем не чаяла, да и он к ней относился с родительской нежностью: хорошая девочка, милая. Чем-то Элизу напоми-

нает — такая же робкая и преданная, с личиком-сердечком: острый подбородок, круглые щеки. Что удивительно — имеет ту же привычку наматывать на палец прядь волос и задумчиво ее дергать. Симон как-то попросил ее спеть — понадеялся, что и голос у нее такой, как у Элизы. Но невестка наотрез отказалась — не умею, а позориться перед вами не хочу. Симон настаивать не стал, но аккуратно навел справки — вдруг она Элизе родней приходится. Оказалось — действительно приходится, с материнской стороны. Оттуда и сходство. Получается, что младший сын нашел себе женщину по вкусу отца. Чудны твои дела, Господи.

Приободренный открытием, Симон стал приглядываться к двум другим невесткам — вдруг они тоже чем-то напоминают его пассий. Ничего общего не нашел, только расстроился, обнаружив за средней некрасивую привычку почесываться и зевать, не прикрыв рот рукой. Старшая же сильно смахивала на Меланью — такая же деятельная, говорливая и беспокойная. Провода подключить — будет лампочкой светиться. Стало быть, старший сын, не давая себе отчета, выбрал жену, похожую на мать. А младший, не зря что семимесячным родился — говорят, рожденные раньше срока дети чувствительнее обычных, — выбрал сторону отца. Элиза ведь, пожалуй, была единственной из пассий (Симон поморщился: до чего же дрянное слово! — и исправил себя: из любимых), к кому он бы ушел. Но она сделать ему этого не дала — не захотела причинять Меланье боль. Ей причинишь боль, ага. Она сама кому угодно ее причинит и сверху еще добавит, чтобы мало не показалось!

Элиза случилась в жизни Симона, когда он решил уже завязать со связями на стороне: возраст не тот, да и за ум пора браться — вон, уже внуки пошли, старшему недавно три годика исполнилось, второй на подходе. Он даже устроил символические проводы бесшабашной своей жизни — закатил большой пир с друзьями, на котором они упились до положения риз и не смогли самостоятельно добраться до дома. Развозил их в три приема сильно нетрезвый хозяин кабака (единственный, кто пропускал тосты, объясняя это тем, что на работе в полный рост не пьет, иначе потеряет авторитет в глазах персонала).

— Это кого ты персоналом называешь? Двух колченогих бабок и официанта, который поднос в сохранности до стола не может донести? — полюбопытствовал Симон.

— Про слепого мангальщика забыл, — подсказали ему, давась от смеха.

Следующее утро обернулось для Симона пыткой: с какой-то радости ныл копчик и немилосердно раскалывалась голова. Вдобавок не на шутку разошедшаяся Меланья зудела о деньгах, «которые он бестолково тратит на друзей-пропойц, когда дом просит ремонта и пора бы мебель обновить».

— Ладно голова, а копчик-то чего ноет? — дождавшись крохотной паузы в бесконечном словопотоке жены, вклинился Симон.

Меланья беспомощно заморгала — она всегда теряла нить разговора, когда ее прерывали, и Симон, пользуясь этим, часто сбивал с толку жену неожиданным вопросом, с нескрываемым удоволь-

ствием наблюдая, как она пытается переключиться с одной темы на другую.

— Шарнирами задымилась? — поспешно прокомментировал он ее замешательство, отлично зная, что времени на маневр мало: Меланья молниеносно впадала в ступор, но с той же скоростью из него выбиралась, полная могучих сил и несокрушимых аргументов. Ответ воспоследовал такой, что Симон пожалел, что вообще дал о себе знать. Меланья нависла над ним, уперла руки в боки и выпалила со злорадством:

— Хочешь знать, почему копчик болит? А это дружки тебя уронили, когда в дом заносили!

— В смысле — уронили?

— А в самом что ни на есть прямом! Выволокли из машины, шмякнули в лужу, подняли. — Меланья, демонстрируя, как это было, присогнула ноги, наклонилась, подняла невидимую ношу, выпучилась от напряжения, пошла, пошатываясь и вихляя тощим задом, — донесли до входной двери, и-и-и-и! — Здесь она выпрямилась в полный рост, подняла руку над головой и резко ее уронила, победно возвестив: — Грохнули копчиком на порог, прямо на его выступающий край!

Симон невольно зажмурился. Ответать не стал, да и что тут ответишь. Напряг плечи и спину, осторожно сел, стараясь не вертеть шеей, чтоб не расплескать горячую жижу в голове. Первым делом доковылял, кривясь от боли, до шкафчика со спиртными напитками, опрокинул стопочку тутовки, унимая похмелье. Далее, вклинившись в пчелиное жужжание жены и введя ее на несколько счастливых секунд в очередной ступор, поинтере-

совался, где мазь от ушибов. И, пока самолично ее наносил (Меланья наотрез отказалась), он думал, что случившееся — своего рода знак, свидетельствующий о том, что пора заканчивать с пьянками и гулянками. Здоровье уже не то и кости тоже: копчиком раньше можно было гвозди заколачивать, а теперь даже на порог без последствий не уронишь. Да и голова явно прохудилась, не то что в молодости, когда выпьешь ведро вина и проснешься с ощущением, будто тебя заново сотворили.

Элиза случилась в самом эпицентре Симоновых терзаний, когда он разумом уже понимал, что жить нужно начинать по-другому, но душой с перспективой аскезы не смирился. Она взяла его сердце в свои руки, осияла бережным и ясным теплом — и ушла, оставив о себе воспоминания, гревшие его всю жизнь.

Он так и не смирился с тем, что не сможет ее больше обнять. Отчаянно по ней скучал. Искал аромат ее тела — терпковато-медовый, дурманный. Любовь — это запах, как-то в разговоре признался он теру Маттеосу. Тот кивнул, соглашаясь, потом со смущенной улыбкой добавил: вам, конечно, лучше знать. По настоянию Симона, не выдавая, откуда прознал о ее голосе, тер Маттеос прослушал Элизу и оценил ее дар. Они потом долгие годы, пока она не посадила связки, устраивали после воскресной службы небольшие концерты для прихожан. Элиза, как в жизни, в пении тоже оставалась на вторых ролях: несколько тактов чутко прислушивалась к голосу тера Маттеоса и только потом деликатно вступала сама, оттеняя его глубокий бархатный вокал своим бережно-матовым.

Симон много раз приходил послушать их, наблюдал с тоской, как меняет ее возраст, как она снова оплывает в полнотелую, дородную женщину, как кутается в широкие балахонистые кардиганы и, отрастив в длинный хвост волосы, наматывает их на палец, скрывая волнение во время выступления. Он так и не смог ее разлюбить.

Тера Маттеоса Симон знал еще подростком. Он был одноклассником Василисы, дочери Симона и Софьи, поступил с ней в музыкальное училище, она — на дирижерско-хоровое отделение, он — на эстрадно-джазовое, но за несколько недель до выпускных экзаменов бросил учебу и ушел в послушники, перечеркнув тем самым большое будущее, которое ему пророчили. Ходили слухи, что сам Константин Орбелян отговаривал его от такого решения, приглашая в свой оркестр, однако тщетно. Симон в душу к нему с расспросами не лез, но предполагал, что уход в священнослужители спровоцировало какое-то сильное волнение, с которым тот не справился. Тер Маттеос сам косвенно это подтвердил, обмолвившись однажды, что музыка, подобно математике, считающейся королевой наук, является высшей формой искусства.

— Это голос Бога, понимаете? Именно через музыку Он и общается с людьми. Так какой смысл множить немножимое и заглушать его своими жалкими голосами? Какой смысл оспаривать Абсолют? Не лучше ли просто Ему служить?

Симон хотел было возразить, что служение тоже бывает разным, но не стал. Он не сомневался, что именно голос Элизы привел его к ней. И если в том

голосе присутствовал Божий глас, значит, встретиться им предназначено было небесами.

Мужики хмуро курили, перебрасываясь куцыми фразами. Илия ушел на задний двор и, удостоверившись, что рядом никого нет, разрыдался, безутешно и горько, совсем по-детски размазывая по щекам слезы.

— Разве бывшему менту положено плакать? — шепнул ему на ухо Симон.

Илия судорожно вздохнул, вытащил из кармана мятый клетчатый платок, высморкался. Постоял, прислонившись лбом к прохладной стене. Сделал несколько медленных выдохов, унимая сердцебиение, отправил под язык таблетку валидола и вернулся к мужикам. Те притворились, что не замечают его заплаканных глаз и растерянного вида, загладели о чем-то несущественном, постороннем. Илия махнул рукой — не нужно, ребята, зачем вы так, и снова расплакался — теперь уже не пряча слез и не стесняясь их.

— Совсем дурак? — рассердился на него Симон.

Илия, будто услышав его слова, выпалил сквозь рыдания: «Хорошо, что он раньше меня умер. Иначе испортил бы мне похороны своими шуточками». Мужики хохотнули, а у Симона отлегло от сердца.

Они подружились после истории с Бениамином. Именно Илия дежурил в ту ночь, когда их заперли в разных камерах. За пятнадцать дней отсидки Симон многое передумал. И хоть и хорохорился и ругался с Бено через стенку, но выводы свои сделал и зарекся впредь заводить романы с замужними женщинами. После, когда Бениамин вернулся из

Казахстана и зажил одной семьей с Софьей, попыток встретиться и поговорить не предпринимал — да и что тут скажешь, не извиняться же! Но, когда у Бено случился инфаркт, навестил его в больнице. Посидел рядом, помолчал. Пакет с передачей, собранный Меланьей, держал на коленях, не зная, куда поставить.

— Так и уйдешь с ним? — прервал затянувшееся молчание Бено.

Симон не помнил, что именно ему в тот день говорил, но покидал больницу с ощущением, будто наконец-то отцепили от ноги гирю, которую он вынужден был все эти годы за собой тащить.

Коротенькая и яркая история любви с Софьей оставила ему богатое наследство: дочь Василису, кстати, единственную девочку в семье Симона и единственную родившую дочерей — в роду ни одной больше девочки не случилось, и даже правнуки все уродились пацанами. И Илию. С Василисой спустя годы Симону удалось установить родственное общение, чему они оба были рады. С Илией же сложилась настоящая мужская дружба — бесхитростная и верная, словно нерушимая клятва. Лишь однажды она подверглась испытанию, незначительному и нелепому, однако выстояла и от этого стала надежней и крепче.

Случилось это во время отпуска, который друзья в кои веки решили провести вместе, без жен и детей. Раздобыли путевки, выбрались в Пицунду. Илия, при всей своей неоспоримо кавказской внешности, предполагающей разнузданное поведение бабника, был до зубовного скрежета верным семьянином. Симон отнесся бы к этому с

пониманием, если бы не жена друга: более уродливой женщины он в своей жизни не встречал. Просто мрак и беспросветность, крошечная безысходность. На такой только в помешательстве жениться. Раскинув мозгами, Симон решил сделать другу подарок. Нашел ему в Пицунде женщину невозможной красоты: сдобная, с ямочками на щеках и задорно торчащими грудями пятого размера, затянутыми в тесный лифчик. Как выразился Илия — не женщина, а подушка на утином пуху. Переспать, правда, с ней не решился, постеснялся, но промотал все отпускные деньги — дарил бессмысленные букеты, водил в рестораны, купил дорогое платье и чешские босоножки на высокой танкетке.

Симон пытался заставить его одуматься, но безуспешно. Махнув рукой, сам с ней переспал — не пропадать же добру. В постели она оказалась ни рыба ни мясо. Когда он перевернул ее на живот, оскорбилась и выползла из-под него, невзирая на пышные формы, юрким ужом. «Своими выходками вы оскорбляете во мне порядочную советскую женщину!» — «Какими выходками?» — опешил Симон. Оказалось — она имеет в виду позу. Поза на спине не унижала в ней советское достоинство, а вот на животе — оскорбляла.

О том, что переспал с ней, Симон Илии говорить не стал, но тот догадался. Дулся какое-то время, потом, слава богу, отошел.

Сейчас, наблюдая за плачущим, безвозвратно одряхлевшим другом, так и не познавшим ни одной другой женщины, кроме своей страшной, как беззвездная ночь, Эрмины, Симон думал только об

одном — зря он все-таки не переспал с той женщиной из Пицунды.

— Тебе она точно была бы в радость, Илия, — шепнул он другу и взмыл ввысь.

Мать свою Симон почти не помнил, хотя должен был — она умерла, когда ему было четыре года. Простыла, подхватила воспаление легких. Война, нищета — в больнице даже простых лекарств не водилось, что уж говорить о дефицитном пенициллине. Не спасли. Единственное, что осталось в памяти Симона, — ее мягкий, наводящий дрему голос. Она рассказывала ему сказки, которые он, к своей досаде, забыл, но смутно припоминал, когда сильно болел. В горячечном бреду ему чудилось, что его обступают диковинные существа — орлы с львиными гривами, когтистые рыбы, зубастые олени, слепые крылатые старухи, — и, заключив его в душные свои объятия, несут к прохладному морю. Он отчетливо слышал голос матери, звучащий шелестом морских волн, однако как ни силился, не мог ее разглядеть.

Кроме голоса, он запомнил вкус козьего сыра, который она варила. Отодвинув крышку глиняного караса, он вылавливал из рассола небольшую, величиной с яблоко, мягкую сырную головку, разрывал ее пополам и ел — просто так, без ничего, не замечая настойчиво подсовываемой горбушки хлеба или же горячего от солнца, пахнущего огородной зеленью помидора. Упорно отодвигая от себя то и другое, он смаковал сыр, вылизывая первым делом нежно-тягучую мякоть серединки и оставляя

на потом упругую, плотно-глянцевую оболочку. Шум морских волн, недорассказанные сказки и сливочный вкус козьего сыра — вот и все, что Симон знал о своей матери.

Вырастил его дядя, отец Марины. Собственный отец, вернувшись с войны, женился на другой женщине, которая невзлюбила пасынка всей душой. В новом браке у отца родились еще два сына, но их мать сделала все возможное, чтобы они не общались с Симоном. Вот и на похороны они не пришли, хотя он их ждал. «Не по-людски все это, не по-человечески», — думал он, разыскивая в толпе провожающих своих единокровных братьев и расстраиваясь — не за себя, а за них.

Сильвию на похоронах сопровождал старший внук. Хороший получился мальчик, умный, красивый. Не зря его называли именем деда — выдался его копией. Сильвия души в нем не чает, расцветает в каждый его приезд. Молодежь сейчас совсем другая, не поймешь, чем живет, что любит. Уткнувшись в свои гаджеты и молчат. Внук Сильвии такой же: нацепит наушники, смотрит непонятное, кажется — ни до чего ему нет дела. А вот надо же, не бросил бабушку, пришел с ней на похороны. Вырос правильным человеком, с сердцем и душой. Пролетая над ними, Симон погладил обоих по волосам. Сильвия, словно ощутив его касание, задрала голову, рассеянно улыбнулась. Она единственная провожала его так, как он хотел — с легким, переполненным радостью сердцем. Она единственная догадывалась, как ему сейчас хорошо.

Сусанна стояла в сторонке, поджав губы и сложив на груди руки. Симон знал — она его так и не простила. Он и сам себя не простил. Не мог забыть ее — тоненькую, беспомощную, с кровоподтеком на губе. Поблекнувшую, будто выкачали свет. Нужно было забрать ее с собой, но он прошляпил, не сдюжил, испугался. Ничтожество.

Когда она объявила о своем решении уехать, вместо того чтобы последовать за ней, малодушно обиделся. Задели ее слова, брошенные с горечью: «Никто меня здесь не спасет и не защитит». Она была права — ни на кого, и тем более на него, она надеяться не могла. Однажды он от нее уже отрекся. Второй же раз отрекся, когда отпустил ее одну в большой мир.

После ее отъезда он жил один. Пил — беспорочно и черно, на износ. Вытащила его Меланья. Стала навещать его каждый день, не корила, не прятала спиртное. Стирала-готовила, обтирала тело — мыться он наотрез отказывался. Заботой его и взяла. Они снова сошлись, и она сразу же забеременела. Симон догадывался, что случилось это потому, что Сусанна его отпустила. Раз отпустила, значит, разлюбила. Сердце ныло, когда представлял, что кто-то другой обнимает ее и ласкает. Ни с кем ему не было так хорошо, как с ней.

Ему стоило огромных усилий снова спуститься вниз, чтобы коснуться губами ее лба. Она ощутила прикосновение, сняла с лица одуванчиковый пух, подула, возвращая его ветру. Она давно уже была старухой — потемневшей, морщинистой, насквозь нездоровой — с надорванным сердцем и больными руками. Но он видел ее такой, какой

она была полвека назад — ослепительной красавицей с янтарными косами, которые она, спасаясь от жары, закалывала шпильками в высокую корону.

Он так и не узнал, что одну из своих дочерей она назвала именем его матери — Тэйминэ.

Над могилой Косой Вардануш вытянулась в полный рост осока. Жаркое солнце иссушило ее почти до прозрачности, и она глухо шелестела, подхваченная полуденным ветром. Симон расстроился — так и не выбрался на кладбище, чтобы выкосить траву, а ведь собирался! Как же получилось, что запамätовал?

Смерть Вардануш стала неожиданностью для всех. Она была из тех безобидных юродивых, которые со временем превращаются в неотделимую часть жизни любого городка и любого ее жителя. К ней относились ровно так, как относились к смене времен года или морозящему дождю: она была данностью, с которой можно было только смириться.

Смерть ее стала притчей во языцех. Люди не могли взять в толк, зачем ей нужно было выбирать-ся к озеру Цили, до которого на машине в хорошую погоду ехать было почти час. Хватилась ее Софья, когда пришла в очередной раз навестить соседку. В доме стояла гулкая тишина, окно спальни было широко распахнуто, а в изголовье кровати сидел нахохленный грязный голубь. Софья, суеверно перекрестившись, вышла и плотно прикрыла за собой дверь — влетевший в дом голубь всегда к плохим вестям. Звать Вардануш побоялась, молча

заглядывала во все комнаты, ища ее глазами. Не обнаружив нигде, вернулась в спальню. Голубь к тому времени улетел, оставив на покрывале крохотное перышко.

В изножье кровати лежали незамеченные Софьей аккуратная стопка смёртного и мятый конверт. Она заглянула туда и ахнула, обнаружив никому не нужную купюру в пятьдесят советских рублей и записку, написанную мелким почерком матери Вардануш: «Положите дочь рядом со мной».

Поиски ничего не дали, но кто-то из бердцев вспомнил, что видел, в каком направлении Вардануш покидала городок, а один из пастухов рассказал, что застал ее на краю поля: она сидела в тени, сняв туфли, и ела землянику. На вопрос, куда идет, ответила, что на озеро. На берегу озера Цили ее и нашли. Вернее — не ее, а одежду, которую она, сняв, сложила и придавила камнем. Поиски ничего не дали, они и не могли дать — озеро было глубоководным и водоворотливым, в какой из омутов оно затянуло Вардануш и когда намеревалось вернуть ее несчастное тело миру, — никто не знал. Закопали смёртное и конверт с деньгами под надгробным камнем матери, выбили на нем имя Вардануш и сразу же забыли о ней. Лишь Симон о ней помнил, и иногда ходил на могилу — выкосить осоку и закутить в поминальной чаше крупичицы желтого ладана. Но в этот раз уже не успел.

Когда похоронная процессия добралась до кладбища, Симон уже парил над макушкой Хали-Кара.

Оттуда он и наблюдал за тем, как прощались с ним дети и внуки, как плакал Илия, мелко вздрагивая плечами.

Софья положила в гроб подаренную им нить искусственного жемчуга. Элиза — флакон духов. Сильвия — кулон. Сусанна — свернутые рисунки. Меланья же, сняв с пальца стертое обручальное кольцо, надела ему на мизинец и обещала вскорости присоединиться к нему.

— Женщина, дай хоть немного отдохнуть от тебя, — проворчал Симон.

Море пришло, когда тер Маттеос, сбиваясь на джазовые мелизмы, принялся нараспев читать молитву за упокой души. Оно стремительно поднялось со дна ущелья и затопило мир до самых небес. Запахло остро и солено — нагретым на солнце берегом, водорослевым духом, молчанием рыб, жижистой тиной.

«Так оно действительно существует», — подумал Симон с ликованием. Он позволил волнам подхватить себя и даже попытался плыть по течению, но не смог — что-то держало его за ногу. Он с изумлением разглядел тонкую золотистую нить, один конец которой плотным кольцом обхватил его щиколотку, а другой тянулся куда-то вниз, к краю кладбища, и исчезал за надгробными памятниками. Симон набрал полные легкие воздуха, нырнул, пытаясь отвязать нить, и внезапно увидел себя десятилетним мальчиком. Он стоял возле калитки и разглядывал крохотную трехлетнюю девочку. Она тянула сквозь перекладыны тоненькую ручку и просила: «Отдай мне эту штуку». Симон повертел продолговатый деревянный предмет, который

нашел в кустах. «Не отдам», — ответил он, вредничая, хотя предмет ему был совсем без надобности. Она посмотрела на него исподлобья совершенно взрослым взглядом и вздохнула: «Отдашь». Он нырнул ниже, чтобы разглядеть, что такое держит в руках, — и сразу же понял. Это было потемневшее от времени деревянное веретено. «Веретено Безымянной», — догадался он, хотя ничего о той истории не знал. Он протянул веретено девочке, она взяла его и улыбнулась, и он сразу же ее узнал.

— Ты готов? — спросила она.

В памяти отчетливо зазвучал голос матери, рассказывающий о море, которое случается в жизни человека дважды — когда он приходит в этот мир и когда его покидает.

— Ты готов? — повторила вопрос девочка.

— Да, — подумал он.

Она легонько дернула веретеном. Нить, привязанная к его щиколотке, оборвалась и разлетелась множеством светящихся искр, которые, подхваченные убывающей волной, недолго мерцали, а потом растворились в безвозвратной морской глубине, но этого Симон уже не видел.

СОДЕРЖАНИЕ

Проводы	4
Кулон	12
Духи	106
Жемчуг	193
Рисунки	257
Море	333

Литературно-художественное издание
эдеби-көркемдік баспа
Серия «Люди, которые всегда со мной»



НАРИНЭ АБГАРЯН

СИМОН

Ведущий редактор *Ирина Епифанова*
Художественный редактор *Юлия Межова*
Технический редактор *Валентина Беляева*
Компьютерная верстка *Ольги Савельевой*
Корректор *Валентина Леснова*

Подписано в печать 14.12.2020.
Формат 84 x 108 ¹/₃₂. Усл. печ. л. 18,48.
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Гарнитура *Literatyma*
Доп. тираж 5000 экз. Заказ № 11209.

Произведено в Российской Федерации
Изготовлено в 2021 г.

Изготовитель: ООО «Издательство АСТ»
129085, Российская Федерация, г. Москва,
Звездный бульвар, д. 21, стр. 1,
комн. 705, пом. I, этаж 7
Наш электронный адрес: WWW.AST.RU
Интернет-магазин: book24.ru

Адрес места осуществления деятельности
по изготовлению продукции:
123112, Москва,
Пресненская набережная, дом 6, строение 2.
Деловой комплекс «Империя», 14, 15 этаж

Общероссийский классификатор продукции
ОК-034-2014 (КПЕС 2008);
58.11.1 - книги, брошюры печатные

Өндіруші: ЖШҚ «АСТ баспасы»
129085, Мәскеу қ., Звёздный бульвары, 21-үй, 1-құрылыс,
705-бөлме, I жай, 7-қабат
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru

Интернет-магазин: www.book24.kz
Интернет-дүкен: www.book24.kz
Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
Қазақстан Республикасындағы импорттаушы
«РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибьютор и представитель по приему претензий
на продукцию в республике Казахстан:

ТОО «РДЦ-Алматы»
Қазақстан Республикасында дистрибьютор
және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының
өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш.,
3«а», литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 2 51 59 89,90,91,92

Факс: 8 (727) 251 58 12, вн. 107;

E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Тауар белгісі: «АСТ» Өндірілген жылы: 2021
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.
Өндірген мемлекет: Ресей

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, Россия, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

В маленьком армянском городке умирает каменщик Симон. Он прожил долгую жизнь, пользовался уважением горожан, но при этом был известен бесчисленными амурными похождениями. Чтобы проводить его в последний путь, в доме Симона собираются все женщины, которых он когда-то любил. И у каждой из них — своя история.

Как и все книги Наринэ Абгарян, этот роман трагикомичен и полон мудрой доброты. И, как и все книги Наринэ Абгарян, он о любви.

*«Не бывает случайных встреч. Каждая чему-то нас учит.
Не бывает случайных расставаний.
Каждое забирает крупицу нашей души.
Всякая горесть делает нас сильнее. Иначе не бывает.
Всякая радость ничего не просит. Она остается с нами навсегда».*

ISBN 978-5-17-127547-1



9 785171 275471

www.ast.ru | www.book24.ru

 www.astrel-spb.ru

 [vk.com/izdatelstvoast](https://twitter.com/izdatelstvoast)
 [instagram.com/izdatelstvoast](https://www.instagram.com/izdatelstvoast)
 [facebook.com/izdatelstvoast](https://www.facebook.com/izdatelstvoast)
 ok.ru/izdatelstvoast